

Исхак Машбаш

---

Собрание сочинений в двадцати томах

# Исхак МАШБАШ

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

ОАО «Полиграф-Юг»  
Майкоп  
2015

# Исхак МАШБАШ

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ  
**ТОМ XVI**

ОАО «Полиграф-Юг»  
Майкоп  
2015

УДК  
ББК  
М

**Машбаш И. Ш.**

М 00      Собрание сочинений в двадцати томах. Том шестнадцатый. Метельные годы. Исторический роман. – Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2015. – 336 с.

В собрание сочинений вошли стихотворения, поэмы, романы, публицистика Исхака Машбаша, народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреата Государственных премий СССР, России, Адыгеи, Российской литературной премии М. А. Шолохова.

## МЕТЕЛЬНЫЕ ГОДЫ

---

Исторический роман

ISBN 978-5-7992-0833-2  
ISBN 978-5-7992-0000-0

© Машбаш И. Ш., 2015

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Шел последний месяц весны.

Уже отцвели абрикосы и алыча, а бело-розовый цвет яблонь и груш только входил в силу, предвещая грядущее лето.

Шел последний месяц весны, и был он беспокойным, неровным: то припечет солнце, то заморосит прохладный дождь, то спустится с гор сиверкий ветер, а то вдруг подует с востока горячий суховей.

Вот и сегодня стоял беспокойный день. Знойный ветер срывал со старой груши цветы и заносил их лепестки в раскрытые окна школы. Белые лепестки кружились под потолком, опускались на черные парты. Мальчишки и девчонки сидели тихо, но слушали не учителя математики, а взволнованный гул весны, тревожно-радостное пение пчел и поглядывали на дальний лес за окном, который уже налился буйной зеленью.

Пожилой учитель сначала увлеченно объяснял новый материал, а потом вдруг сказал:

— Нарынова Зурет, о чем я тут вам говорил? Повтори, пожалуйста.

Зурет растерялась от неожиданности и не сразу встала. Оправила платье, взвихренную челку на лбу. Вздогнули ее тонкие и размашистые брови, вспыхнула искорка тревоги в черных глазах.

В руке Зурет была зажата записка, которую сунул ей на перемене Кагазежев Касей. Он из десятого класса, в этом году заканчивает школу.

Зурет вдруг почудилось, будто учитель увидел эту записку, понял, о чем она. Дрожью пробежал по ее телу

страх и стыд. Светлое, еще по-детски чистое и свежее лицо Зурет вспыхнуло.

Сокрушенно покачал головой учитель, с ласковой укоризной сказал:

— Я так и знал, что не слушала объяснения... Да и все вы, мои уважаемые ученики, не слушали меня, а зря. Ох, зря! Что упустите в девятом, того уже не наверстаете в десятом, и вообще, что упустил сегодня, того никогда не вернешь. Никогда! Так что уж лучше послушайте меня внимательно.

Села Зурет, а ей казалось, словно она все еще стоит у всех на виду, словно все узнали о записке... Куда же деть злополучную бумажку? А этот Касей — шалопай. Да и она сама — тоже хороша! Надо было швырнуть ему обратно это «послание». Ведь она, и не читая, знает, что там написано!

Разгорячилась Зурет, а когда немного поостыла, подумала так: разве Касей сделал что-нибудь плохое? Нет, ничего плохого не сделал. Никогда он ей ничего плохого не делал. Она даже не слышала, чтобы он грубо с кем-нибудь разговаривал, над кем-нибудь насмешничал, а что написал записку — так он не один, многие пишут разные записки девочкам. А может быть, это записка от Аскера? Может быть, Аскер просто попросил Касея передать записку Зурет? От этой мысли стало приятно. Улыбнулась она, опять вспыхнули щеки, но теперь уже не от страха и стыда, а от радости...

Раздался звонок.

Ребята рванулись во двор — с шумом, с гамом, наперегонки, а Мурат выскочил прямо в окно.

Учитель, которого чуть не сбили с ног дюжие ребята и резвые девчонки, смеялся:

— Вон что делает с вами весна! Вон как она вас кружит!

А Зурет так и сидела за партой. Ждала, пока все уйдут из класса, хотела прочитать записку, которая жгла пальцы.

Две девчонки вертели у доски и, кажется, не собирались уходить на улицу. Мурат заглядывал в окно, косился на Зурет, посмеивался.

Не дадут прочитать записку. Откуда он взялся, этот Касей? Будь он неладен!

Зурет быстро вышла во двор, направилась к зарослям желтой акации и там, оглядевшись кругом, развернула записку.

«Зурет, я не стану много говорить, скажу коротко: люблю тебя. Знаю, что, кроме меня, у нас много ребят, но меня не равняй с ними. И не думай, что записку я написал сгоряча. Эти два заветных слова я хотел тебе сказать давно. Если ты скажешь «нет», — это для меня еще не будет отказом. Я не отступлюсь от тебя никогда. Помни это. Кагазежев Касей».

У нее закружилась голова. Нестерпимым жаром занялось лицо от стыда и обиды. Был бы Касей сейчас рядом, она бросилась бы на него, все лицо испарала бы в кровь, била бы его изо всех сил — таким оскорбительным показалось ей его письмо.

Всплакалась, словно утолила жажду. Успокоилась и вышла из-за куста. У нее над головой — высокое синее небо. Такое яркое, тревожно-зовущее. Ветер гнал по нему белые облачка. Зурет чудилось, она сама — одно из них...

Посередине двора у турника собрались парни из старших классов, показывали свое уменье девочкам, которые тут же стояли стайкой — смеялись над неудачниками, восхищались ловкими.

Лучше всех работал на турнике Кагазежев Касей, высокий, широкоплечий, он даже «солнце крутил» лучше учителя физкультуры.

Зурет резко повернулась и пошла в класс. Ей не хотелось смотреть на Касея.

Все три следующих урока она думала, как ответить на письмо — надо бы позлее, но нужные слова не находились.

После уроков Зурет долго сидела среди немых черных парт, и у нее на душе становилось спокойнее от этой тишины, от одиночества. А когда собралась уходить, ее взгляд вдруг упал на чистую доску, блестящую черным лаком. И опять тревожно стало на сердце — чистая доска

словно о чем-то вопрошала Зурет. Настойчиво и строго вопрошала.

Зурет поднялась и заторопилась к дверям. Стучали каблуки туфель, а ей казалось, что это так громко стучит ее сердце.

Пусто было во дворе школы, пустынно на улице, только вдалеке шли Аскер и ее брат Сафер. Они всегда ходили вместе. С первого класса. И Зурет раньше с ними вместе ходила, но с тех пор, как получила первую записку от Аскера — перестала. Боялась, как бы остроглазый брат не заметил чего-нибудь между нею и Аскером.

Украдкой поискала она глазами Касея: не затаился ли где-нибудь за углом, не решил ли поговорить с нею?

Нигде не было Касея. Зурет облегченно вздохнула и пошла неторопливо, гордо, как полагается девушке, раскланивалась со стариками, сидевшими на лавочках вдоль улицы.

Не заметила, как потеряла из виду своих парней. Наверно, они пошли к Аскеру — у них всегда есть какие-то дела. В последнее время они стали много секретничать. Должно быть, болтают о девчонках. Подумаешь, женихи!

Перешла Зурет на свою сторону улицы, и перед нею неожиданно возник из-за плетня Кагазежев Касей. Она испугалась, но не подала виду. Улыбнулась ему сдержанно:

— Добро пожаловать, Касей. Ты такой редкий гость в наших краях. Проходи в дом — в нем всегда рады видеть гостей.

— Ты сказала правду — в этих местах я редкий гость. К тете Кутас приходил по делам.

— А-а, я совсем забыла, что здесь живет твоя тетя. Не сердись, Касей, на мои слова — ты, верно, не очень любишь свою тетю, если так редко бываешь у нее... Извини, но мне надо идти. До свиданья, — сказала Зурет и прошла мимо Касея, направляясь к своей калитке.

— Подожди, — заторопился Касей, — почему ты ничего мне не говоришь?

— Не знаю, о чем ты. О тете?

— Нет!

— Тогда о чем же? Не смотри на меня так: я сделала все, как требуют наши обычаи. Пригласила зайти в дом...

— Хватит тебе смеяться надо мною. Дом, дом! Ты же очень хорошо знаешь, о чем я спрашиваю. О записке.

Зурет остановилась, достала из книги вчетверо свернутую записку, с усмешкой спросила:

— Ты об этой бумажке?

— Разве это бумажка?!

— Если не только бумажка, зачем так легкомысленно поступаешь? Зачем торопишь меня?

— А чего мне ждать, чего тебе раздумывать?

— Вон как! Молодец, Касей!

Теперь Зурет откровенно зло смотрела на Касея.

— Вон как! Мужчина имеет право думать, выбирать, а девушка обязана беспрекословно соглашаться с его выбором? Ты об этом говоришь? О старом мусульманском обычае?

Касей молчал, потупившись.

Зурет изорвала записку в мелкие клочья и бросила их под ноги Касею. Он потемнел от злости. Едва сдерживая себя, процедил сквозь зубы:

— Не к лицу девушке так поступать, если она сама вспомнила о наших добрых старых обычаях... Я тебе не какой-нибудь паршивый Хатам и не позволю вот так...

— Хатам? Да при чем здесь Хатам? И если хочешь знать, он в сто раз лучше тебя, порядочнее.

Ушла Зурет, не попрощавшись с Касеем.

## 2

— Вернулась уже? Ну и хорошо, — обрадованно встретила Зурет мать. Как всегда, взяла у дочки книги, спросила, все ли хорошо в школе, довольны ли были ею учителя, не нагрубила ли она кому?

Надо бы сказать, что нагрубила Касею, но тогда придется говорить и о его записке. Но как скажешь об этом маме? Стыдно ведь. И Зурет промолчала. Будь он неладен, этот Касей!

Погладила Фиж дочку по голове, как маленькую, и вдруг стала строгой:

— Ты почему носишь полушалок на плечах, почему не покрываешь голову? Уже не девочка. Что люди подумают о тебе, о твоей матери?

Зурет виновато улыбнулась, приникла щекой к материнской теплой руке, затихла.

— Вот и хорошо,— сказала мать,— я так и знала, ты ведь у меня умница. Проходи в комнату, Сафер уже ждет. Проходи. Я так радуюсь, когда мы обедаем все вместе, втроем.

На столе исходила легким душистым паром мамалыга, дымилась курица в красном соусе.

Сафер уже сидел за столом и встретил Зурет, строго выговаривая:

— Ты где это была так долго? Сколько раз тебе говорено — не болтайся по улице без дела, из школы — сразу домой.

Большие черные глаза Зурет округлились от удивления. Она оглянулась на мать, мол, что случилось, чем Сафер недоволен?

Мать взглядом ответила — не ведаю, одно только знаю — старший брат всегда прав.

Зурет залилась краской. Вот беда, всегда она вспыхивает, словно спичка, и этим выдает себя, будто признается в своей вине. Знает Зурет, что краснеет, и от этого теряется еще больше.

Опустила она голову и села за стол.

Конечно, Сафер единственный мужчина у них в доме, он ее старший брат, а потому и должен смотреть за порядком, но неужели он узнал о записке? Не обижается Зурет на Сафера, ведь брат добра ей желает, он первый вступится за нее, защитит от злого липучего слова, но лучше бы ему ничего не знать о записке. Это только ее тайна.

Неужели и мама знает? Маме совсем ни к чему это знать. Больше всего на свете Зурет боялась обидеть маму, боялась оскорбить память об отце...

Память...

В памяти Зурет отец — это работа.

Если его нет дома, значит, он в поле: пашет, сеет или жнет. Если дома, то в коровнике или в конюшне, среди овец или на огороде. Не помнит Зурет отца спящим, потому что он ложился в постель последним, а поднимался первым. Не помнит, чтобы он просто посидел на скамейке под деревом или праздно побалагурил с мужчинами у магазина.

В те годы, когда колхозы только-только крепили, жилось туговато. А один год выдался таким неурожайным, что многие в ауле голодали.

В этот трудный год отец ранней весной и заболел. В поле ходила мама и брала с собой маленьких Сафера и Зурет, потому что в поле давали обед — похлебку и просяные лепешки. Мама делила две лепешки на троих, а одну целую несла домой больному отцу.

Память...

Однажды, вернувшись с поля, они нашли отца мертвым, уже остывшим.

Лепешка долго потом лежала на подоконнике, съесть ее никто не решался...

Хоронили отца, не совершив никакого обряда. Сосед погрузил тело, завернутое в старую простыню, и увез на повозке. У мусульман покойника на кладбище провожают только мужчины.

Некому было проводить в последнюю дорогу отца — все мужчины работали в поле.

Мама с Зурет и Сафером стояла у ворот, смотрела вслед погромыхивающей повозке и плакала.

Память...

Они часто вспоминают живого отца: каким он был добрым, как любил их всех троих, как был счастлив посидеть за столом с семьей, если была еда, и как страдал, когда стол был пуст.

Сейчас все есть в доме — и добрая еда, и хорошая одежда...

Не поднимая глаз, ела Зурет, ждала, что Сафер или мать скажут ей о записке, но они промолчали.

Повеселела Зурет.

После обеда Сафер ушел управляться по хозяйству, мама — на работу в овощеводческую бригаду, а Зурет помыла посуду, подмела пол и села с книжкой у окна.

Села она почитать, а заодно и полюбоваться Эльбрусом, или, как говорили в народе, горой Ошхамахо.

Дул и дул ветер — он был горячим и порывистым, гнал по улице серую пыль.

Скукоживались от жары и опадали цветы на грушах и яблонях. Вяла в огороде недавно высаженная рассада помидоров и красного перца, хотя утром Зурет с матерью ее поливали.

Почти каждый год так бывает: только зацветут сады, подует восточный ветер — «астраханец», и давай палить молодую зелень. И ничего с этим проклятым «астраханцем» не поделаешь.

Зурет считает, что живет она на самом красивом месте в ауле. Как спустишься с гор вдоль речки и войдешь в Дагунохабль, первым стоит над берегом их дом. Дом Нарыновых. Слева от дома — поля, поля и поля, справа за рекой — дубрава. Купы могучих дубов, карагачей и грабов поднимаются в гору.

Выше, выше, выше...

Кажется, они спешат к солнцу, в поднебесье, где в гордом величии покоится сияющая гора Ошхамахо.

Не каждый день можно увидеть ее — только в ясную погоду, когда на сотни километров — чистое небо. Лучше всего видна Ошхамахо ранним утром, до восхода, или вечером, когда солнце уйдет за гряду Большого Кавказа и окунется в Черное море, оставив после себя свет зари.

Ошхамахо — это значит гора добра, счастья. Назвали ее так, наверно, потому, что она всегда радует людей своим появлением: сияющий свет ее снежных вершин предвещает хорошую погоду и спокойную ночь.

Сегодня солнце было очень ярким, но и оно не забило блеска вершин Ошхамахо. Сегодня ветер вздымал тучи пыли, но и они не закрыли горы. Что бы все это могло значить? Наверно, кончится, будь он неладен, этот суховец, подумала Зурет и услышала топот коня.

Выглянула в окно — на улице никого не было. Глянула в переулок и увидела Касея: подбоченившись, он важно восседал на белоногом коне, горячил его каблуками сапог.

Зурет спряталась за занавеской, чтобы Касей не увидел ее. Сумасшедший, что ли? Чего это вздумал скакать по глухому переулку, по которому никто никогда не ездит? Проскакал Касей.

И тут же Зурет услышала голос Аскера.

— Кто-нибудь есть? — спросил он, приоткрыв дверь в комнату. — Эй, Зурет, ты чего молчишь? Скажи, Сафер дома?

— Он был во дворе, а потом ушел... наверно, к тебе.

— Чем ты занимаешься? Читаешь? — спрашивал Аскер, улыбаясь. — Что читаешь? Интересное что-нибудь?

— Уроки делаю.

Аскер вошел в комнату и сел на табурет у порога.

Зурет продолжала стоять у окна. Ее будто кипятком ошпарили. Она бы и рада ответить Аскеру, но ничего у нее не получалось. Казалось, забыла все слова, забыла, как они связываются друг с другом. А тут еще... у Аскера такие глаза... Зурет не могла смотреть в них спокойно, не могла смотреть долго, хотя хотела бы смотреть без конца.

— Почему ты молчишь, Зурет?!

— Не знаю, о чем говорить.

— О чем хочешь, о том и говори.

Может быть, сказать ему о письме Касея? Тут Зурет и испугалась своей мысли. Нет! Нельзя говорить, Аскер может обидеться или, чего доброго, еще подумает, будто она хвастается перед ним. Нет! Никогда она ему этого не скажет. Лучше всего — молчать. Пусть Аскер сам говорит, а Зурет будет слушать его. Ей так нравится, когда он говорит, размахивая руками. Ой! А если сюда кто-нибудь войдет?! Поползут по аулу всякие сплетни. А разве может быть девушка несчастнее той, которую ославили сплетни? Ничего нет страшнее сплетен.

Аскер между тем уже уместился на табурете, видно, уходит не собиравшись.

— Ты зимой не пробовала кататься на лыжах?

— Пробовала, но ничего не вышло. Шагу не могла сделать, чтобы не растянуться на снегу. Домой вся мокрая пришла.

— У меня тоже сначала ничего не выходило. Стал я спускаться с горы, упал и катился кубарем до самого низа. Быстрее лыж скатился.

Рассмеялся Аскер, и Зурет стало весело.

— А вот Жечаго Пшикан, рассказывают, на финской войне научился ловко ходить на лыжах, выслеживал вражеских снайперов и сбивал их с деревьев. Жечаго один изо всего аула получил орден Боевого Красного Знамени. Молодец Жечаго, правда?

Слушала бы и слушала Зурет Аскера, но все-таки боязно, как бы сюда не пришел кто-либо. Сафер придет, и тот будет ругаться. При Аскере, конечно, не станет, а потом даст проборку: бесстыдница, скажет, одна в доме сидишь с парнем. И обязательно добавит: ты уже не маленькая, сама все должна понимать.

Зурет на вопрос Аскера ответила шепотом:

— Правда. Молодец Жечаго, герой... а тебе лучше бы уйти. Не обижайся, но все-таки уходи — и мама будет ругаться, и Сафер.

Спохватился Аскер:

— Правда, не надо бы мне так долго здесь сидеть. Извини. Побегу я. Когда вернется Сафер, скажи ему, пусть идет ко мне — есть серьезное дело. Да, чуть не забыл! Завтра в аул приезжает кинопередвижка. «Чапаева» будут показывать. Придешь?

Зурет хотелось сказать — обязательно приду, если ты там будешь, но разве можно так говорить парню? Поэтому она только неопределенно пожала плечами.

— Уходи же.

Он ушел.

Зурет, спрятавшись за занавеской, смотрела в окно: оглянется он или не оглянется? Оглянулся!

Захлестнула радость.

Аскер был ростом пониже Касея, но шире в плечах, потяжелее. Потяжелее, а ходил легче. Стройнее и красивее всех в школе ходил Аскер.

«Есть серьезное дело». Знает Зурет это «серьезное дело». Километрах в пяти от аула на старом выгоне садятся учебные самолеты аэроклуба. По выходным дням Сафер с Аскером с утра до вечера там пропадают. Тайком от всех подружились с летчиком. Но Зурет не проведешь. Наверно, хотя поступить в аэроклуб, да разве их примут?

Аскер — летчик. У Зурет даже сердце замирало от восторга при этой мысли. И... немножечко страшно ей становилось — уж очень высоко летают самолеты. Да и расставаться с Аскером придется. Уедет он в город учиться, и кто знает, как потом все обернется? Городские девчонки побойчее аульских, понаряднее и форсистее. Нет, не надо Аскеру в летчики. Пусть лучше рядом с ней будет Аскер.

Не сиделось за книжкой Зурет. Она еще раз подмела пол, взбила подушки, мягко и важно восседавшие на кровати. Воду, что была в ведрах, вынесла скотине и, нацепив ведра на коромысло, пошла к речке. Ветер заметно стих.

Улеглась пыль, и воздух стал чище, легче дышалось. С гор спускалась вечерняя прохлада.

На лугу за рекой паслась отара. Рядом с нею стоял чабан, подперев ярлыгой подбородок, — это Хатам.

Зурет вспомнила злое лицо Касея, его слова: «Я тебе не какой-нибудь паршивый Хатам». Подумала: почему Кагазежевы так не любят Хатама? Он — честный, работающий, чужой былинки не тронет, добрый такой. Все в ауле уважают Хатама. Почему же он «паршивый»? Что глаз у него косит, так он не девушка. Люди говорят, лучше быть косоглазым и хромоногим, чем злым и бесчестным.

За вербой, что склонилась над водой, мальчишки с разбега прыгали в ледяную воду и, подхваченные течением, уплывали далеко за поворот. Зурет засмотрелась на них. И как им не холодно? Одно слово — мужчины.

Водовоз поднимался от речки. Почтительно, но не поднимая глаз, Зурет поздоровалась с ним и торопливо прошла к берегу.

Когда возвращалась домой с полными ведрами, ей повстречались две женщины.

Зурет услышала сзади себя:

— Правду говорят, нет и не было в ауле красивее женщин из рода Нарыновых.

Кутас, тетка Касея, ответила своей спутнице:

— Верно говорят. А Зурет красивее всех, кого я знавала из этого рода. Скромна, не в пример многим.

### 3

Торжественно и тихо сегодня было на школьном дворе — экзамены. Последние экзамены в десятом классе.

Экзамены в десятом, но пришли «болеть» и из девярых, восьмых, и даже из младших классов. Пришли «болеть» за братьев, сестер, за друзей.

Зурет еще вчера была ученицей девятого класса, а сегодня уже — десятого, может быть, поэтому и волновалась за выпускников больше, чем ребята помладше. Хоть Сафер и Аскер хорошо учились, а все-таки Зурет беспокоилась. Мало ли что.

На крыльце школы показалась одна выпускница. Она высоко подняла правую руку с растопыренными пальцами, изображая пятерку, и запрыгала на одной ноге.

Зурет негромко крикнула ей:

— Поздравляю! А Сафер уже взял билет?

— Взял. Аскер тоже. Махнули, что все в порядке. Хорошие им, видно, билеты достались, а Касею — плохой. Второй взял и тоже — плохой. Совсем он упал духом.

Касей в девятом классе сидел два года — и вот опять у него беда. Теперь уж отец больше не позволит ему учиться. Пошлет работать. И парень-то Касей разбитной, не глупый, а по физкультуре — в школе не было равного ему ни в прыжках, ни на турнике. По бегу на длинные дистанции в районе ставил рекорды. Хваткий парень, а вот, поди ж ты, не везет в учебе. Схватит, наверно, двойку по истории. Обидно, предмет-то легкий, интересный — говори, говори, рассказывай о подвигах, о героях, об интересных событиях.

Жалко Зурет стало Касея. В общем-то, он ничего, хороший парень, а что с запиской с этой помучил ее, так это пустяки. Написал, ну и написал, не худа же он ей желал, а о любви своей говорил. Не надо было рвать записку,

разговаривать с ним грубо. Может быть, он расстроился, плохо готовился к экзаменам из-за этого? Как ему помочь, как?

— Девочки,— обратилась Зурет к подругам,— давайте поможем Касею, а то он провалится.

— Как ты ему поможешь?

— Не пойдешь же за него отвечать.

— И шпаргалку не напишешь.

— А хоть и напишешь, как передашь ему?

Зурет встала:

— Не галдите, девочки. Давайте попросим директора.

Девочки удивленно переглянулись, а потом понимающе захихикали: чего это она вдруг стала пекься о Касее. Покраснела Зурет.

— Бессовестные. Только и способны глупости говорить, а о человеке подумать, помочь ему у вас не хватает доброты.

Как раз в эту минуту из дверей школы вышел директор. Зурет смело бросилась ему навстречу:

— Ахмед Ибрагимович, Кагазежев Касей, говорят, опять проваливается. По истории.

— Откуда ты узнала? Кто это сказал?

— Никто. Я сама узнала. Жалко, если он не закончит школу.

— Все десять лет только и делаем, что долбим вам: учитесь, учитесь, а не то...

Не успел директор договорить, как на крыльце появился сам Касей. Красный, потный, будто взбирался на гору с мешком камней за плечами.

Увидел его Ахмед Ибрагимович и сказал Зурет:

— А ты говоришь, он провалился. Я уже собирался было начать операцию по спасению Касея, но вижу — все в порядке! Если так, поздравляю со сдачей последнего экзамена.— Он протянул руку Касею.

— Спасибо, спасибо,— забормотал Касей,— я вроде ответил, но они, эта комиссия, учитель... могут и двойку вкатить, так что вы...

— Не вкатят.— Ахмед Ибрагимович улыбнулся.— Иди отдыхай и не беспокойся.

Касей только и слышал единственное слово директора «не беспокойся». Гудело у него в голове, ноги дрожали, словно он пробежал на соревнованиях десять километров. И руки дрожали, будто на турнике «солнце крутил» целый час.

Брел Касей по двору к скамейке и про себя все спорил с учителем истории: «Чингисхан, Батый... Сдохни они все, чтобы помнить их имена. Ни Батыя, ни Наполеона в плуг не запряжешь, поля на них не вспашешь...»

Опустился на скамейку Касей, повернулся к частоколу, подставил вспотевшее лицо ветерку, вырывающемуся из-за угла деревянного сарая.

«У-у, как все глазели на мой позор, а все из-за этого учительшишки,— думал он.— Тетка Кутас носила ему индейку, отец с ним разговаривал, сулил барана, а он все равно меня пытал. Уй Аллах, заставь старого упрямяца поставить мне тройку, иначе мне конец. А все отец, все отец,— видишь, захотелось ему из меня ученого сделать. Какой же ученый, шайтан их всех забери, если память моя похожа на дырявый мешок. Пошел бы работать после семилетки в колхоз, теперь давно в бригадирах ходил бы, разъезжал бы на бидарке, а этот историк приходил ко мне: выпишите, товарищ бригадир, килограммов двести помидорчиков и огурчиков, а нельзя ли мясца выписать?»

У крыльца поднялся галдеж. Объявляли результаты экзамена по истории.

— Кагазежев Касей — три.

Касей одним махом перелетел через частокол, побежал домой. Радовался и тому, что угодил отцу, получил среднее образование, а заодно — кончились школьные мучения.

Дома с нетерпением и тревогой ждали Касея.

В тени акации сидел на табуретке отец, прикрыв голову папашой. Перед ним на скамейке — мать, тетка Кутас и дальняя родственница бабка Халимат.

Увидел Хаджимос, что сын его прямо-таки на крыльях летит по улице, и пошел навстречу Касею. Следом за ним, гуськом — женщины.

— Э, парень, ты, кажется, с хорошей вестью идешь домой. Правду я говорю или нет?

— Правду, отец. Сдал последний экзамен, пропали они все пропадом,— ответил Касей и устало привалился плечом к дереву.

— Молодец, сын, не опозорил своего седого отца, показал всем, что и Кагазежевых Аллах не обделил умом.

Мать, тетка Кутас, бабка Халимат окружили Касея, улыбались ему и поздравляли, говорили, что он — настоящий джигит, настоящий мужчина и в жены ему достанется первая красавица аула.

— Теперь хоть отдохнет бедный мальчик, а то с этой учебой совсем извелся. И зачем крестьянину так долго учиться? — говорила мать и гладила могучие плечи сына. Потом она обратилась к Хаджимосу:

— Эй, отец, чего же ты стоишь?! В доме такая радость! Режь барашка. Гостей позвать надо. Праздновать будем. Или у нас сто сыновей, или мы не можем нашего единственного сына чествовать? Пусть все с нами порадуются, увидят, чего стоит наша семья. Так я говорю?

Хаджимос нахмурился. Прошел к табуретке в тени акации, сел. Надвинул на лоб папаху и молчал.

— Ты что, оглох? Или изжарился на солнце?

— Помолчи, старуха! — прикрикнул Хаджимос.— Небольшая радость, что чужие люди сожрут твоего барашка, затопчут в доме полы и уйдут, а в трудный час ни один из них доброго слова тебе не скажет, а не то чтобы помочь куском хлеба. Знаю я этих... Придет время — и барашка зарежем, и бычка. Отпразднуем свой праздник. А сын на нас не обидится, он человек ученый и хорошо понимает своего отца. Верно я говорю, Касей?

— Да, отец.

#### 4

Конец одной дороги — это всегда начало другой.

Одним из выпускников сельской школы удалось поступить в институты и техникумы в городах, другие — срезались на экзаменах и вернулись, как говорят, не

солону хлебавши, домой. Кое-кто из неудачников махнул рукой на учебу и пошел работать в колхоз, а другие решили попытать счастья в будущем году — после работы сидят за книгами.

Касей Кагазежев выбрал свою дорогу — пошел лесником, помогает отцу. Любил он лес, потому и пошел туда работать с охотой. Да и что это за работа — ходи себе, слушай птиц, дыши ароматом луговых цветов, любуйся горами. Ходи с ружьем, смотри, чтобы лес не губили. Ходить по лесу, разве это работа? Для Касея двадцать километров пешего пути — просто добрая прогулка.

А по воскресеньям — в отглаженном костюме, который купил ему отец, чисто выбритый, пахнувший тройным одеколоном, — он шел гулять. Нет, не к своим сверстникам, а к магазину, где собирались обычно мужчины. И что интересно, стал Касей разговорчивым, даже красноречивым. Если бы он так бойко отвечал учителям в школе, быть бы ему отличником. Раньше не любил, а теперь почитывал газеты, поэтому у него всегда было что рассказать у магазина, чем удивить мужчин. Рассказывает о положении на фронтах в Европе, Африке, о новостях в Москве и других городах. И хоть в ауле давно есть радио, хоть многие сами выписывают газеты, а все же Касея слушают внимательно и уважительно. Похваляют: молод еще младший Кагазежев, а уже мудр, много знает.

И женщины, не без восхищения поглядывая на него, считали, что осенние свадьбы в ауле, конечно, откроет он, Касей. Правда, сами Кагазежевы о женитьбе сына помалкивали.

Как-то воскресным вечером Хаджимос вернулся из леса в хорошем настроении. Увидел его Касей и подумал: значит, у отца удача, копейку в дом принес. Продал кому-нибудь воз-другой лесу.

Увидела это и Лифаф, поэтому была сегодня к мужу особенно внимательной и предупредительной. Не успел Хаджимос опуститься на табуретку, как жена угодливо присела, чтобы разуть мужа.

Хаджимос отдал ей папаху, а разувать не позволил:

— Не надо, старуха. Пусть сегодня это сделает мой сын.

Отец привалился спиной к стене, прикрыл блаженно глаза и вытянул ноги.

Касей ловко сдернул сапоги. В нос шибанул резкий, густой запах отцовского пота.

Снял Касей с отца сапоги, смахнул с них пыль и поставил у двери. Касею показалось, что сапоги сегодня блестели ярче обычного. И еще ему показалось, будто отец приблизил его к себе тем, что попросил разуть его.

Лифаф принесла тазик с теплой водой и стала мыть мужу ноги.

Хаджимос совсем закрыл глаза и блаженно всхрапнул от удовольствия.

Ах, как нравился Касею этот старинный обычай. Он словно подтверждал семейную радость, согласие, благополучие и величие рода, его главы — старшего мужчины. А теперь, когда школа осталась позади, когда Касей не мальчик, а мужчина, этот обычай приобрел для него особый смысл — еще чуть-чуть, еще самая малость — и он сам сподобится этой благодати, предназначенной только для мужчин. От этой мысли сладко заныло его сердце.

Вымыла Лифаф ноги Хаджимосу, вытерла их мягким полотенцем. Потом занялась приготовлением ужина и все посматривала на мужа, ждала, когда же он скажет о добром деле, которое сделал сегодня. Касей тоже ждал.

А Хаджимос не торопился. Сунул вымытые, розовые ноги в чупяки и сказал Касею:

— Возьми стул, посиди со мной... Ты все чаще, все дальше уходишь от меня. И это правильно. Так устроена жизнь. Но прежде чем сын совсем уйдет, отец обязан сказать ему много напутственных слов. Эти слова мне самому когда-то говорил отец, а отцу — дед, прадед... Слушай, Касей. Аллах сделал мужчину хозяином семьи, ее господином. Это совсем не для того, чтобы обидеть, унижить женщину, детей. Нет. Для порядка. Да и в школе вам говорили, что мужчина... как это... физически сильнее женщины, поэтому самую тяжелую работу делает он. Значит, вся семья должна заботиться о мужчине, о ее

главном работнике и защитнике... Если жена не умеет убажить своего мужа, облегчить его душу, дать ему радость, тогда она просто баба. Не так ли, старуха?

— Конечно, так, только нынешняя безбожная молодежь не понимает этого. Девушки носят какие-то непонятные одежды, хотят во всем быть равными с ребятами.

Лифаф поставила перед мужем маленький столик с едой.

Хаджимос сначала ел молча — смачно чавкал, хрустели хрящи на его крепких зубах.

Потом он заговорил. Хитро подмигнув сыну, сказал, что выгодно продал воз жердей для стропил, взял неплохие деньги. И что хорошо — продал человеку из соседнего аула, значит, здесь будет меньше разговоров, а это — главное в таком деле.

— Ты не смущайся, Касей. Так жизнь устроена — один ворует, другой торгует, на этом барыши наживает, а третий просто обманывает и свои барыши берет. Не я это придумал, не я хозяин в подлунном мире и не ты. Будешь жить иначе, размякнешь душой — тебя обманут, тебя обворуют да еще и спасибо за это заставят сказать. Вот как в колхозе, когда я там работал. Ты этого не помнишь, маленьким был... Работал, работаешь с зари до зари, а получаешь копейки. Правильно я сделал, что ушел из колхоза. Теперь мы, считай, сами себе хозяева... Всему лесу хозяева, если умно, осторожно к делу подойти. Огромен лес. Границ ему нету, не сочтешь его тропинок, а богатства — несметные.

Касей слушал отца и думал, что старик — неграмотный человек, но во сто крат умнее и мудрее учителя истории. Учитель все в небесах витает, а на землю не опускается, совсем забывает о куске хлеба. Да и другие учителя очень похожи на историка. Смешные люди. Ну зачем все их премудрости Касею в лесу? Как употребить их там в дело, как добыть ими кусок хлеба? Если жить по заветам учителей, много не заработаешь.

Оделся Касей, попрыскался тройным одеколоном и собрался уходить. Отец остановил его:

— Ты не забываешь, что я тебе говорил о ногах?

— Помню... Все спрашивают, что случилось? Говорят, ты же рекорды ставил по бегу, по прыжкам. Вот, отвечаю, и болят теперь ноги, наверно, от тех перегрузок. От перенапряжения болят.

— Уй, ты не знаешь, старик, какой умный у нас сын! — вмешалась Лифаф. — Над всем аулом возвысится, по всей округе знать его будут, верно говорю. Ты знаешь, один раз я увидела его в лесу. Никого там не было, ни души, а Касей все равно хромал. Так хромал, что даже жалко его стало, подумала, уж не заболела у него и в самом деле нога?

— Замолчи! Не бабьего ума это дело, — прикрикнул на жену Хаджимос.

— Правда, не бабьего, — эхом откликнулась на слова мужа Лифаф.

А он все грозил ей:

— Смотри у меня — никому ни слова! Ни единого слова об этом!

— Ни единого, Хаджимос.

— Ни Кутас, ни бабке Халимат. Знаю я этих болтушек.

— Болтушки, болтушки, святая правда твоя.

Потом Хаджимос обернулся к сыну:

— Молодец. Хорошо про перегрузки придумал. Так всем и говори. От этой неправды лгуном не станешь. Да уж если на то пошло, так надо сказать, что люди больше страдают потому, что говорят правду. Слишком доверяются ей, слишком верят в ее силу. Думают, она правит миром, а старинная мудрость говорит, что правда — плохая заступница за слабых. Так было, так есть и так будет во веки веков. Слава Аллаху, всесильному и единственному судье нашему. Иди к магазину, сын, расскажи всем, что пишут в газетах. Я привез тебе свежих из района. Читал ты их?

— Читал.

Ушел Касей.

Хаджимос и Лифаф вышли во двор и сели под акацией. Только что закатилось за горы солнце. Над лесом пылали белые облака, подожженные снизу яркой зарей.

Душно — с гор еще не спустилась прохлада, не поднялась она и от студенной речки. В огороде стояла стеной

ухоженная кукуруза, уже почти готовая к уборке. И ее метелки подождла заря.

С улицы не видно новенького сарая, кукурузы, окружающих плодов сада, от стороннего скрывает все это высокий, сплошной забор, сооруженный из теса.

Хаджимос, когда поставил забор, так сказал Касею:

— Чем меньше люди видят твое добро, тем меньше у тебя врагов... Конечно, можно бы и плетень поставить, но почему бы не порадовать себя добротным забором, если за лес тебе не надо платить? Добрый дом, высокий забор — это твоя сила. Люди о таком человеке говорят: крепко на ногах стоит, не собьешь, а потому надо уважать его и побаиваться.

Ушел сын.

Дремала, посапывая, Лифаф.

Хаджимосу не до сна — поговорил он с Касеем, и ему вспомнилась жизнь, когда он был членом колхоза.

Шесть лет назад ушел Хаджимос из колхоза в лесники, а помог ему в этом чабан Хатам. Воистину сказано: не повидав зла, добра не увидишь. Пусть сто лет живет этот чертов Хатам.

Хоть Хаджимос и сетует на прежнюю свою колхозную жизнь, жалуется на нее всем, говорит, что работал в колхозе от зари до зари, что силы там надорвал, почти ничего не получая на трудодни, но если сказать правду, то не перетруился он в колхозе, да и не мало перепало ему всякой всячины из общего котла. Работал-то он и в самом деле от зари до зари, но... бригадира возил в лакированной пролетке. А бригадир тот был мужиком не промах, умел жить. Любил хорошо поесть, выпить водочки, погулять в районном центре, ну, а Хаджимос — при нем. И как говорится, дождем не лилось на ездового колхозное добро, но капли-то перепали, нечего греха держать на бригадира.

Случалось, привозил он бригадиру с поля пшеницу, кукурузу, из кладовки мясо и, конечно, не худший кусок мяса, не меньший мешок с зерном завозил к себе домой.

Возможно, так и жил бы Хаджимос, да стал поперек дороги Хатам...

Отец Хатама, одним из первых вступив в колхоз, стал колхозным чабаном. И то ли потому, что любил он своего косоглазого сына, то ли боялся, как бы не обидели Хатама аульские мальчишки, не отпускал его от себя. Сначала мальчуган просто так бродил с отцом по пастбищам, а потом, когда подрос, стали ему приплачивать как подпаску, так что уж на хлеб он сам себе зарабатывал. Да и не в хлебе дело — мальчишка не скучал на пастбище — любил возиться с овцами, играть с огромными, мохнатыми волкодавами, любил сидеть над быстрой речкой, спать с отцом на свежем сене.

Там же на горном пастбище под лесом настигла мальчишку большая беда.

В пропасть свалилась овца. Отец полез за нею, и там придавили его сорвавшиеся каменные глыбы. Только на другой день аульчанам удалось выволить из-под них бездыханное тело чабана.

Мать Хатама не убивалась от горя, а мальчик смотрел на нее широко открытыми глазами и молчал — ни слова, ни слезинки не уронил, будто окаменел, не чувствовал ни своей боли, ни материнского страдания. Только зябко дрожал.

После смерти отца Хатам отказался ходить подпаском с другим чабаном, но к пропасти, где погиб отец, приходил каждый день и подолгу там просиживал.

В народе говорят: беда идет — сестру ведет.

Вскоре умерла и мать Хатама — то ли от тоски по мужу, то ли по какой другой причине.

Умерла мать, и парнишка остался один-одинешенек — ни близких, ни дальних родственников у него не было. Пришел тогда Хатам к председателю колхоза и попросил, чтобы дали ему отару.

Председатель — угрюмый, но добрый человек — погоревал вместе с Хатамом, а потом сказал, что работать рановато, надо ему учиться. Вот съездит он, председатель, в район и определит Хатама в городской детский дом. Там Хатаму будет сытно, весело, там он будет учиться в школе.

Не согласился Хатам:

— Не хочу. Никуда не поеду. Дайте мне отару.

— Маловат ты для отары. Иди подпаском.

— Дайте отару. Маточную не прошу, а с валушковой справлюсь. Отец многому меня научил.

Согласился председатель послать на пробу Хатама в валушковую отару — не хватало работников в колхозе.

Наверно, от рождения Хатам был застенчивым, а тут еще косоглазие. Он с детства его больно переживал.

Аульчане не желали ему зла, но и ласковых слов не дарили, поэтому застенчивость Хатама со временем переросла в угрюмость.

Как ушел он с отарой ранним туманным утром на пастбище, так с тех пор ни разу не заходил в дом своих родителей.

Строится дом долго, много надо иметь строителю сил, терпения, чтобы врыть в землю фундамент, воздвигнуть стены и увенчать их добротной крышей.

Долго и трудно строится дом, а разрушается легко и быстро, если он остался без хозяина, если его не согревают человеческие руки. По соломинке, по пылинке разнесут его упрямые ветры, сожжет его солнце, размоют дожди. Время превратит в труху.

Гибнет дом без хозяина. Гибнет в тоске по человеку.

Дом из камня и дерева и тот гибнет в одиночестве, а каково человеку?

Одиноким казался Хатам, если смотреть на него изда- лека, когда он целыми днями бродил с отарой по лугу или стоял, подперев подбородок ярлыгой, сделанной из крепкого и тяжелого кизила, но сам он не тяготился своим одиночеством.

Летом жил в душистом и звонком от пения кузнечиков, соловьев, дроздов шалаше, поставленном у ручья на опушке леса.

Чуть засветлеет небосвод на востоке, могучий волко- дав бежал с дальнего угла поляны, со своего «поста» по охране отары к шалашу и будил, ткнув холодным носом под бок, свою подругу, а потом заходил в шалаш и начинал порывкивать — поднимал хозяина.

Хатам вылезал из-под необъятной отцовской бурки, всласть потягивался, зевал:

— Рановато ты меня поднял, Мишид. Овцы-то еще спят.

Волкодав недовольно рычал: мол, хозяин должен раньше своей отары просыпаться, иначе он просто нера- дивый работник, а не хозяин.

Потом они шли умываться к речке. Если утро выдава- лось прохладным, бежали рысью, чтобы разогреться — тогда холодная вода кажется приятней.

Выкупаются — и к шалашу.

После завтрака начиналась работа. Собаки стерегли овец от лютых волков, а Хатам осматривал отару — не подбились ли ножки у валушков, не завелись ли насекомые в драгоценном руне, все ли ребята ели хорошо. Хатам и овец звал ребятами.

Так и бродили они вместе весело и привольно по лугам, по долам и склонам гор. Слушали птиц, радова- лись сочной траве, цветам и теплomu дождичку, далеким снежным вершинам гор. А если, случалось, приезжал к ним председатель, то и совсем у них — праздник. Пред- седатель привозил свежие газеты, рассказывал Хатаму об аульских новостях, а потом осматривал отару и хва- лил чабана. Мишиду он привозил с колхозной кухни сахарных костей — на целую неделю хватало этой собачьей радости.

Так бывало летом, а в холода Хатам днем бродил с отарой по морозцу, чтобы овцы набирали хорошую шерсть.

Вечером загонял отару в баз, а сам, случалось, ходил в кино, если приезжала передвижка, или слушал в клубе радио. Ночи коротал в своей комнатухе, которую постро- или по приказу председателя при кошаре на краю аула.

Относились аульчане к Хатаму по-доброму, хотя не без сожаления говорили об одиночестве, вспоминали гибель его отца, смерть матери.

По-доброму относились все аульчане к Хатаму, только Хаджимос Кагазежев терпеть его не мог, и Хатам отвечал ему тем же. Правда, на людях они здоровались и разгова- ривали друг с другом, не подавали виду, что враги. Хатам

был обязан относиться к старшему с почтением, иначе — беда, старики прокляли бы парня, и тогда уходи из аула, никто тебе кружки воды не подаст, куском хлеба не поделится, хоть околей с голоду. Ну, а Хаджимос придерживался восточной мудрости: и врагу улыбнись, ведь это тебе ничего не стоит, улыбнись врагу, усыпи мнимой добротой, чтобы легче было его одолеть.

А началась эта ненависть еще в ту пору, когда Хаджимос работал в колхозе ездовым у бригадира. Приехал он как-то и подал Хатаму записку, в которой говорилось, чтобы чабан дал для нужд общественного питания хорошего валушка.

Дал Хатам. Поймал ярлыгой одного из самых лучших — чистенького, жирненького — пусть люди едят на здоровье.

Штук десять валушков перебрал Хаджимос по запискам: раз надо, значит, надо, а потом Хатам пожаловался председателю:

— Думал, одного возьмут, двух, а они все берут и берут. Жалко, не созрел еще валух. Зачем добро портить?

— Какие валухи? Кто брал?

— Э, ей-богу! Разве не знаешь? Хаджимос брал по запискам бригадира. Говорил, с твоего согласия, на общественное питание. С десятков взяли у меня.

— Так-так-так. А где же те записки?

Хатам достал записки из кармана пиджака, подал председателю.

— Так-так-так. Пойдем-ка к бригадиру. Ах, мерзавцы! Ах, сволочи!

Нашли бригадира.

Тот сказал, что ничего не знает о записках, на общественное питание, мол, все брал через кладовую.

Сличили почерк — оказалось, Хаджимос сам писал те записки, сам подписывался именем бригадира.

...И надо же такому случиться — в тот же день опять приехал в отару Хаджимос на лакированной пролетке и подал Хатаму записку.

Взял бумажку Хатам, прочитал ее, сложил вчетверо и спрятал в карман:

— Значит, тебе барашка? — и резким ударом плеча свалил на землю Хаджимоса, стал колотить его ярлыгой, приговаривая: — Вот тебе, собачий сын, барашек! Вот, мерзавец, еще один, еще! Ешь, пока не лопнешь!

Хаджимос сначала только поворачивался под ударами с боку на бок и кряхтел, пытался встать, но Хатам снова валил его на землю и колотил:

— Куда ты спешишь?! Получи еще барашка, получи! Хаджимос не выдержал и заорал благим матом:

— Спасите-е! Убивают!

Хатам расхохотался:

— Ты только с виду грозен, а в самом деле труслив, как паршивый зайчишка. Вон отсюда!

Подхватился Хаджимос — и тягу. Но Хатам его в калитку не пустил.

— Волк в калитку не ходит, лезь через плетень, раз уж волком стал.

Хаджимос, конечно, никому не сказал, как его избил Хатам. Разве расскажешь о таком позоре? Легче умереть.

Дней пять Хаджимос не выходил из дома — лежал в постели: ярлыга Хатама хорошо-таки походила по его спине.

Дней пять не выходил из дому Хаджимос, все ждал, что жена или Касей принесут с улицы весть о его позоре. Он думал, что чабан обязательно расскажет все аульчанам. Но Хатам молчал. Скажи Хатам хоть слово — Хаджимосу остался бы один выход: уехать из аула. Но и Хатаму тоже пришлось бы покинуть свой родной аул, могилы родителей. Еще бы — поднял руку на старшего.

Так и жили эти два человека, нося в сердцах одну тайну на двоих, на людях здороваясь друг с другом, улыбаясь, будто ничего дурного между ними не произошло. Но все же аульчане видели, как они ненавидели друг друга, хотя и не знали причины.

После этого случая Хаджимос и ушел из колхоза в лесничество. И доволен был, что избавился от колхоза и стал почти полновластным хозяином леса.

Касей охранял лес, который лежал неподалеку от аула. Проехать туда в своей повозке он мог бы напрямик, через переулочек, но не делал этого: выедет из своих ворот и обязательно повернет на главную улицу. И опять же не самым коротким путем, а мимо Нарыновых, мимо дома Зурет.

На эти хитрые петли Касея аульчане не обращали никакого внимания: пусть каждый ездит, где ему вздумается, любыми тропами-дорогами, для того они и проторены. А если человек этот еще и лесник, то и вовсе никто слова не скажет.

Крестьянину без хворостины да тесины не прожить — ни тебе дома построить, ни его плетнем обнести, ни кошары не соорудить. И еще надо сказать: в крестьянском подворье, в нехитром хозяйстве всегда найдется дыра, которую надо залатать, а значит, припасти для этого вязанку лозы, несколько жердей. И не бежать же за каждой мелочью в контору лесхоза — больше времени изведешь, чем стоит та вязанка лозы. Да и стоит ли беспокоить начальство по пустякам. Не проще ли сходить в лес тихонько, безо всяких разрешений. Конечно, проще и выгоднее. Вот и ходили в лес — тихонько, вот и задабривали они лесника, чтобы тот не обращал внимания на новые заплатки в плетне, на подновленные ворота.

Так было из века в век, так было и совсем недавно при старом Алим, которого сменил Касей. Бывало, задержит кого-нибудь в лесу Алим с лозой или жердями и прикажет сгрузить поклажу. Потом ты хоть снова ее заведи, только при нем разгрузи. И никого Алим не штрафовал, ни на кого не составлял актов. Если увидит в каком-нибудь дворе, скажем, бревнышки, пройдет мимо и бровью не поведет, а при случае неосторожному хозяину расскажет байку о глупце, который умел ловко воровать, да попался на том, что не умел прятать уворованное.

Когда уволили старого Алима за халатность, многим в Дагунохабле это не понравилось, многие сочувственно вздыхали, встречаясь с уволенным лесником. Его беду они восприняли как свою. А как же иначе?

Другой участок леса охранял Хаджимос. Туда редко кто ездил — боялись Хаджимоса, его зоркости и жестокости: никого Хаджимос не миловал, никакими слезами у него пощады не вымолишь.

Касей с первых же дней своей работы завел в лесу отцовский порядок, отцовскую строгость.

Выследил он односельчанина Раукова, когда тот только ехал в лес. Не завернул его домой, не выдал себя, а затаился в кустах и выждал, пока Рауков нарубил жердей, нагрузил на повозку и тронулся домой — тут-то ему и вышел наперерез молодой лесник. Рауков не сопротивлялся — сильный и ловкий Касей справился бы с ним запросто.

Вечером на другой день Раукова вызвали в сельсовет. Все думали: увезут в район и там отдадут под суд.

Почему-то не увезли, а только оштрафовали, и в ауле поговаривали, будто не одним штрафом отделался Рауков, говорили, будто откупился он от Касея дорогими подарками, но правда это или нет, никто достоверно не знал.

— Вон как, вон каким путем пошел младший Кагазев. Весь в отца,— говорили аульчане.

Верно, по-отцовски был неумолимым Касей — попадешься, пощады не выпросишь — это сразу поняли все. И еще — был он, как дьявол, вездесущим. Не спрячешься от него, выследит хоть днем, хоть ночью, и в жестокий бурянь, и в проливной дождь, и в лютый мороз.

У магазина мужчины нахваливали его, говорили, мол, не зря он столько лет учился в школе, зорко бережет государственное добро. Еще такой молодой, а уже такой старательный — целыми днями ходит в лесу.

Ехал как-то на работу Касей в своей повозке и думал: прав отец — шепчутся недовольные, злятся на него, а ведь все, встречаясь с ним, приветливо здороваются, уважительно кланяются, хотя он моложе многих. Верно отец говорит, у кого сила, у того и правда.

Размышляя таким образом и чувствовал, что его плечи становятся шире, а руки — сильнее.

Ехал он, по своему обыкновению, мимо дома Данашева Аскера и увидел, что старого плетня как не бывало. На его месте были вбиты новые дубовые колья. Данашев Аскер

и Нарынов Сафер плели из свежей лозы новый плетень. Им помогала Гуца, мать Аскера.

Парни, засучив рукава рубашек, работали весело и споро. Гуца, радостно улыбаясь, подавала им лозу.

«Друзья неразлучные», — с недоброй завистью, а может, и с сожалением подумал Касей. Хотел остановить лошадь и спросить у Аскера, где он брал колья и лозу? В магазине вроде они не продаются, в лесхозе никто не выписывал. Как же быть с совестью, о которой Аскер и Сафер так много любили говорить в школе?

И уже было натянул вожжи Касей, чтобы остановить лошадь, но не сделал этого. Скребануло его по сердцу: не повезло ему, не «засек» он друзей неразлучных, не изловил в лесу, прозевал, а теперь чего же зря языком болтать. Они же и осмеют его, потешатся над ним, ведь не пойманный не вор. Но ничего, Касей потерпит. Что-что, а терпеть он умеет. Той лозы, которая лежала во дворе, не хватит доплести плетень, значит, придется друзьям еще раз наведаться в лес с топором. Приходите, ребята, думал Касей, там и поговорим о дружбе и товариществе, о совести, посмотрим, что из этого выйдет. Очень обидно было Касею, что не пришли они к нему запросто, не попросили лозы, не сказали, мол, совсем истлел плетень, разреши в лес к тебе наведаться с топором. Не пришли. Может быть, ждут, что он сам им предложит, сам нарубит да еще и привезет из лесу? Гордецы!

Злоба заходила в Касее: вспомнилось, как он в школе унижался перед Аскером и Сафером, выпрашивая шпаргалки, вымаливая подсказки.

Заходила в нем злоба уже не мальчишеская, мимолетная, а настоящая, которая жжет сердце и требует отмщения.

Услышав скрип повозки лесника, Аскер вскинул голову, но Сафер толкнул его в бок:

— Давай, Аскер, работай. Не обращай на него внимания. Пусть себе едет.

Касей заметил все это, еще шире развернул свои плечи, приосанился, подстегнул лошадь, перевел ее на легкую рысь.

— Чего он зачастил в наши края, что ему тут понадобилось? — спросил Аскер. — Проехал. Хоть бы окликнул, ведь не мы, а он мимо проезжал.

— Ишь чего ты захотел, а не хочешь ли, чтобы он нам еще и плетень помог плести? — засмеялся Сафер.

— Не облиял бы, если б помог, мы-то ему помогли. А на выпускном экзамене он лопнул бы, а задачу не решил. Можно сказать, мы его выпустили из десятилетки. А еще говорят, сделанное добро обязательно вернется к тебе. От Касея дождешься. Скорее у осла рога вырастут.

— Похоже, ты прав. Ух, какой взгляд он метнул в нашу сторону! По-моему, он что-то задумал.

— Ну и пусть, — ответил Аскер, — мы тоже сумеем за себя постоять — это далеко не самое трудное в жизни, как говорят мудрые люди.

А Касей тем временем пылил мимо дома Нарыновых и сердился на себя: зачем понес его шайтан на этой скрипучей повозке мимо дома Зурет? Вообще-то он здесь всегда ездил верхом или на красивой отцовской пролетке. Увидит его сейчас Зурет на этой грязной колыхаге и подумает, что у Касея и в самом деле ноги болят, раз ездит в повозке на мягкой соломе, а не верхом. Ну, зачем, зачем такой красивой девушке нужен калека? Выдумал же, ей-богу, отец это дело с ногами, вот теперь и расхлебывайся, крутись как хочешь. Конечно, не хочется ему идти в армию, но и не терять же из-за этого Зурет. Надо было бы ему, дураку, объехать дом Нарыновых. Теперь так и будет: только верхом, лихо будет скакать по этому переулку, пусть Зурет увидит, как ловко джигитует он на горячем коне.

Касей не в обиде на нее за тот день, когда порвала его записку и швырнула обрывки ему под ноги. А как смотрела, как смотрела на него! Какие красивые глаза у нее были! Правда, в ту минуту, когда она разговаривала с ним, ему было страшно от ее взгляда. Зато потом, по ночам, глаза Зурет казались такими красивыми, что он просыпался и задыхался от радости.

Вспомнилось Касею, как Зурет волновалась за него во время экзамена по истории, как ласково смотрела на него, когда он вышел из класса.

А после экзаменов он встречал ее много раз, и всегда она смотрела на него как-то безразлично, равнодушно. Ну и что ж! Так и положено настоящей гордой девушке-горянке. Что толку в тех, которые улыбаются всем парням, те вертихвостки верными женами не будут, не станут уважать своих мужей так, как мать уважает отца.

Каждой встрече с Зурет радовался Касей, но сегодня не хотел, чтобы Зурет увидела его на этой проклятой колымаге в таком дурном настроении. И она не увидела. Вздохнул облегченно Касей.

Только миновал он двор Нарыновых, взошло солнце. Большое, алое, оно поднялось на востоке и было очень красивым. Остановил он повозку, спрыгнул, забыв, что надо быть осторожным, надо хромать, и долго смотрел на солнце, просил у него счастья, просил любви Зурет. Может, и Зурет сейчас смотрит на алое солнце и думает о Касее? Забилося у него сердце, заныло сладко, и он обнял за шею Гнедого. Гром разбил бы эту колымагу! Проскакать бы на Гнедом мимо окон Зурет!

Когда Касей увидел себя верхом на Гнедом, у него улучшилось настроение. Все вокруг показалось красивым. Вода в речке звонче обычного билась о колеса, ярче горела голубизной. Птицы в лесу пели громче, листья шептались о чем-то хорошем. Ему, Касею, шептали приятное.

Конечно, здорово быть лесником, видеть, как перед тобою заискивает весь аул, как папахи ломают перед тобою старики, но это не главное для Касея. Здесь нет постылой школы и учителей, которые над душой висели — учи то, учи это. Нет аульчан, перед которыми надо держаться степенно, важно, надо хромать. Нет Аскера и Сафера и крутого, всегда во всем правого отца.

Аллах милостивый, как свободен, как счастлив здесь Касей вместе с птицами, травами, могучими, но такими добрыми карагачами и вековыми дубами.

Аллах милостивый, если бы здесь была еще и Зурет, тогда пропади пропадом аул, вся земля!

«Эх, правду говорят: дурак думами богатеет», — одернул себя Касей и подхлестнул вожжами Гнедого.

Под вечер он поедет на Дальнюю поляну, там бахча Кагазежевых, на ней зреют хорошие арбузы и дыни. Мать просила привезти с десяток арбузов — они уже поспевают, а дыни еще зеленые.

Под вечер поедет на бахчу Касей, а пока будет объезжать свой участок, побывает у дремучих зарослей лозняка — не исключено, что Аскер с Сафером туда пожалуют сегодня. Ох, как ему хотелось их изловить! Но когда и в какое именно место поедут они? В лесу столько лозняков, и все они такие густые, непроходимые, как джунгли.

Думал он, думал и решил, что парням ближе и проще взять лозу у Старой балки — там и лоза получше, чем в других местах, и дорога к ним ведет неприметная.

К Старой балке Касей и направился, когда солнце стало переваливать за полдень. Подхлестывая легонько Гнедого, заставляя его бежать ходкой рысью. Выбирал дорогу помягче, чтобы не так был слышен стук копыт, а то ребята могут услышать — ведь они воровать приедут, значит, у них будут ушки топориками. Касей спрятал за кустами шиповника повозку и с ружьем в руках пошел тропинкой в то место, где могли оказаться «гости».

Шел осторожно. Прислушивался, вытягивая, как гусак, шею.

Вдруг — подозрительный шорох!

Касей насторожился. Взял ружье наперевес, будто изготовился к атаке, как учили на уроках военного дела.

Двое мальчишек с корзинами кислиц вышли на тропинку.

— Вы тут никого не видели? — строго спросил Касей.

— Видели, — ответил рыженький в синей рубашке, — серого волка. Он спрашивал, не встречался ли нам лесник Касей?

— Ах ты, собачий сын! Да я тебя!

Мальчишки дали стрекача. Хотел было кинуться за ними Касей, но вовремя спохватился — у него ведь больны ноги, нельзя шибко бегать.

Погрозил им вслед кулаком и, сплюнув сердито, пошел дальше.

Присел на бугорочке, привалился спиной к дубу. Решил — никуда его парни не денутся, так или иначе придется им стучать топором, а его в такой тишине далеко слышно.

Закрыв глаза и чуть было не задремал, но тут же услышал разговор.

Они!

Аскер и Сафер шли с вязанками лозы на спинах.

Подпустил их Касей поближе, потом вышел из-за дерева:

— Эй! Стой, кто там идет?! А-а, друзья мои.

Парни положили на землю хворост и поздоровались с Касеем, словно только за этим сюда и пришли.

Он тоже поздоровался и спросил:

— Что ж будем делать дальше, а?

И странное дело — вдруг заметил — Сафер очень похож лицом на свою сестру. До того похож, что если надеть на его голову косынку, то, пожалуй, можно спутать с Зурет. И голосом похож на сестру. Подумать только, целый год он просидел с Сафером в десятом классе, а не видел этого поразительного сходства.

На сердце у Касея потеплело, хотя это было совсем ни к чему. Ну совсем не хотелось этого Касею. Надо, надо наказать этих зазнаек. И покрепче. Надо, но не получалось. Отчего бы это? А просто, сам себе ответил Касей, просто так! В ауле говорят о жестокости Кагазежевых? Все врут! Врут! Да и ребята — какие они воры? Разве сравнишь их с Рауковым? Несут по вязанке лозы — эка беда великая, не возами же воруют. И ребята-то славные, нечего уж ему злиться на них. В школе помогали ему от чистого сердца. Зурет будет приятно, когда она узнает, что и он помог ребятам.

— Что же будем делать дальше, ребята? — улыбнувшись, переспросил Касей. — Чудаки вы, чудаки! Если на себе будете таскать лозу, до зимы плетня не сплетете. Сейчас я подгоню свою колымагу, нарубим побольше, а потом отвезем домой...

Ушел Касей.

— Я же говорил: не такой уж плохой он парень, — негромко сказал Сафер, хотя сам был удивлен.

## 7

Три дюжих парня нарубили воз хворосту меньше чем за час.

Рубили быстро, без усталости и не только потому, что в охотку. Когда людей соединяет доброта, дело всегда лучше спорится.

Повозку нагрузили так, что она покряхтывала под тяжестью, а колеса жалобно поскрипывали.

Касей взялся за вожжи, весело подмигнул: мол, видите, как здорово получилось!

Ребята помогли Гнедому тронуть с места тяжелый воз.

Еще радостнее, чем утром, пели птицы. Небо стало еще голубее, еще выше.

Подъехали к речке, не стовариваясь, разделись и бросились в похолодавшую к осени воду. Подхватил их могучий поток и понес. Казалось, они не в синей воде плыли, а будто парили в синем небе. Визжали совсем как маленькие мальчишки.

Выкупались, оделись, и Касей скомандовал:

— Взбирайтесь на верх повозки!

— Не надо, Гнедому и так тяжело.

— Гнедой рад нас прокатить — такое ему редко приходится видеть.

Аскер и Сафер сели.

Повозка и в самом деле покатила легко, будто и Гнедой тоже радовался общей радостью.

Увидела мать Аскера Гуца повозку с хворостом, увидела Касея, сидевшего на возу с ребятами, и сердце у нее похолодело: пришла беда в дом. Знала она Кагазежевых, в чужой дом они с добром не ходят. Говорила ведь, говорила Аскеру, пусть стоит старый плетень, а теперь вот расхлебывай. Сама виновата: надо было строго-настрого запретить ехать в лес, а она еще и помогала ставить плетень

из ворованной лозы, подхваливала — как все хорошо получается!

Открыла Гуца ворота:

— Въезжайте, бесстыдники, въезжайте. Накажи их, Касей, чтобы неповадно было трогать государственное добро, накажи меня, негодницу. Пускай в ауле и о нас поговорят, а то болтовня о Раукове уже всем надоела.

Въехали ребята во двор, выслушали Гуцу и расхохотались. Гуца совсем рассердилась:

— Касею весело, потому что он поймал вас, а вы, несчастные, чему смеетесь? Пускай лопнут мои глаза от стыда!

Спрыгнули парни с воза. Касей поздоровался:

— Здравствуй, тетя Гуца. За что ты ругаешь ребят? Они так хорошо поработали, что их надо похвалить.

— Вот похвали, похвали их. Проходи в дом, пожалуйста, напиши свой справедливый акт на этих оболтусов.

— Ты так беспокоишься за государственное добро, тетя Гуца, что я возьму тебя к себе в помощники. Будем вместе стеречь лес. Но я скажу тебе по секрету: если твои ребята воры, то и я вор, акт на всех нас троих составишь ты.

— Эй, оставь свои шутки, Касей!

— Да не шучу я.

— Тогда объясни хорошенько, что все это значит.

— Я разрешил им нарубить лозы и сам помогал рубить, грузить, а теперь разгрузим и доплетем отличный плетень. Пойми ты, лес тоже иногда расчищать надо.

У Гуцы от радости чуть не подкосились ноги.

— Аллах, мой Аллах, а я чуть не умерла от страха. Спасибо тебе, добрый человек. Еще такой молодой, а уже такой мудрый.

Ожила Гуца. Метнулась в дом и оттуда вернулась с початком кукурузы. Позвала кур, сыпанула им горсть зерна и, когда те стали клевать, изловила двух петушков.

— Радость какая! Сейчас приготовлю вам хороший четлибж.

Касей был доволен собой. Он важно прошелся вдоль начатого плетня, попробовал, крепко ли вбиты колья,

поправил лозу, чтобы ровнее лежала в плетне. Глянул на парней, не обиделись ли за его науку, за его уверенность в себе? Нет, не обиделись. Все в порядке. Теперь можно бы ему и домой уйти, но отец говаривал, уж если ступил на порог, зайди в дом, чтобы не обидеть хозяина. Наверно, нужно ребятам помочь довести плетень до ума, да и тетя Гуца четлибж из петушков собралась готовить, обидится, если гость уйдет, а ее-то Касей никак не хотел обижать — нехорошо обижать старших. Многие в ауле могут люди простить, но если обидишь старшего, пощады не жди.

Так раздумывал Касей, а сам все косился то на окна соседнего дома Нарыновых, то поглядывал на дверь — не покажется ли Зурет. Эх, как ему хотелось, чтобы она увидела его, узнала, как добр он к ребятам, как ловко и умело красивыми рядами станет укладывать сейчас лозу между колеев.

Засучил рукава Касей, оголил по локоть могучие руки.

— А ну! Подавай лозу, Аскер, а ты, Сафер, становись рядом — до захода солнца надо управиться с этим делом. Начали! Поторапливайтесь, а ты, Сафер, ровней, ровней клади лозу. Вот так, вот так загибай, придави ее хорошенько, подналяг на нее всем телом. Не ленись, мой друг, себе делаешь, а не дядьке чужому.

Солнце уже клонилось к закату, но было все еще жарко — парни обливались потом. Хорошо работалось, весело, и соленый пот казался вкусным.

— Что вы так быстро из лесу вернулись? — услышал Касей певучий голос Зурет и вздрогнул. Оглянувшись, постарался улыбнуться ей:

— Это мы твой голос слышим, Зурет? Добрый день.

— Добрый день. И ты здесь, Касей?

— Не понимаю, чего ты удивляешься. Разве мы не товарищи, разве не в одном классе учились?

— Я об этом и говорю — приятно видеть вас всех вместе. Поэтому и из лесу вернулись быстро, что вместе там были.

Выпрямился Касей, осмелел:

— Спасибо на добром слове. Старики не зря говорят: только одними своими руками не проживешь. Становись с нами рядом и ты, Зурет, если хочешь отведать хорошего

настроения. Становись, соорудим на память Аскеру хороший плетень.

Она стала рядом с Касеем и начала подавать прутья. Он ловил их на лету и поглядывал исподлобья на девушку... Конечно, все говорят, что Зурет — лучшая невеста в ауле, поговаривают о ней ребята и в соседних аулах, ждут, когда она закончит школу, закончит десятый класс и поедет в город. И в городе найдутся другие женихи, найдутся красавчики, щеголи. Надо помешать ей уехать, думал Касей, зачем сельской девушке город? Что ей там делать? Не-ет, надо обуздать Зурет еще до того, как она соберется ехать в город. Но и слишком торопиться нельзя — как к ней подступишься, если она волчонком глядит... Волчонком. А вот с Аскером она другая, неужели ей нравится этот парень? Вон как с ним разговаривает.

— Эй, Зурет! — крикнул Касей. — Не отвлекайся от дела! Не видишь, я уже простаиваю. Давай-давай лозу!

Из дома вышла Гуца:

— Касей, ты как насчет того, чтобы отсечь головы этим птичкам?

— А разве Аскер еще не умеет этого делать? Неудобно мне при хозяине...

— Эй, что ты говоришь? Если из вас троих есть мужчина, так это ты, Касей, а эти — еще мальчики. Летом зарезать курицу — чистая беда: все взрослые мужчины в поле, не заставляй же мальчишек заниматься этим делом. Разве что Хатам, случается, гонит мимо двора отару, вот и прошу его. Спасибо, не отказывает. Уважительный он человек.

— Я бы не стал есть ту птицу, которую зарезал паршивый Хатам. Наверно, живот вспучит после его мяса, — брезгливо сказал Касей, продолжая заправлять между кольев лозу.

— Не знаю, почему ты так думаешь, — робко возразила Гуца, — он очень хорошо режет. У него настоящая мужская рука — ни скотина, ни птица не мучается, если режет Хатам. Мастер он, все хвалят.

Гуце не понравились слова Касея о Хатаме, это в ее голосе было очень отчетливо слышно, хотя она и улыбалась.

А Зурет терпеть не могла, когда при ней плохо говорили о человеке, которому много горя досталось с самого детства. Так много, словно злая судьба хотела сбить мальчика с ног, а он не только устоял, но и сохранил себя получше, чем другие: о честности, о трудолюбии и доброте Хатама знали не только в Дагунохабле — его фото дважды помещали на доску Почета в районе, посылали на слет лучших чабанов. Но Кагазежевы почему-то не любят Хатама.

Нахмурилась Зурет, и это заметил Касей. Он покраснел от неловкости и сказал Гуце:

— Что за хитрость — курицу зарезать, давайте петушков, я им мигом головы оттяпаю.

В самом деле, Касей быстро управился с птицами: достал из кармана большой складной нож, взял петушка, повернулся с ним лицом на юг, как того требовал старинный мусульманский обычай.

— Видишь, тетя Гуца, у меня петушки тоже не прыгают, не мучаются долго.

Стараясь сгладить неловкость, возникшую при упоминании Хатама, весело скомандовал:

— За дело, ребята, солнце уже совсем низко, а мы до его захода должны закончить свое дело. Я загадал, если закончим сегодня, значит, сбудется мое желание. Вы тоже загадайте что-нибудь.

Они стали работать. Зурет снова подавала лозу Касею, а Сафер — Аскеру. Долго работали молча, потом Зурет спросила:

— Ты задумал желание, Аскер?

— Задумал. А ты?

— И я.

Сказала Зурет и покраснела. Касей тоже покраснел. Давно с ним такого не случалось. Покраснел и нагнулся, брал лозу из рук Зурет, не поднимая головы.

Был уже поздний вечер, когда закончили плетень и пошли ужинать. Жара спала — теперь прохлада быстрее спускалась с гор, стоило только зайти солнцу — чувствовалось приближение осени. И звезды на небе становились ярче, крупнее.

Не помнил Касей, когда он ел с таким аппетитом, как сегодня. И каким вкусным было все в доме Данашевых. Правда, Гуца была ни при чем — готовила-то еду Зурет. Ох, как вкусно приготовила! А как ловко накрывала она на стол, как легко и красиво ходила по комнате — просто загляденье! И не болтала сорокой, как другие девчонки. Да-а, это будет настоящая жена. Приведи такую в дом — он дворцом станет.

Надо поторапливаться Касею со свадьбой, сразу же после последнего экзамена. На другой же день, иначе конец всему. Зурет укатит в город, а там — ищи-свищи. У Касея немного кружилась голова от выпитой водки. Ребята не пили, пил он один — работающий мужчина. Гуца так и сказала:

— Пей, тебе можно, Касей, ты уже настоящий мужчина. Добытчик. А эти, хоть и окончили школу, все еще в мальчиках ходят.

Хорошо, приятно кружилась голова у Касея, доброта распирала его. Во дворе он увидел старую, совсем развалившуюся сапетку и сказал, что надо обязательно сплести новую. Разве можно в хозяйстве без сапетки? Огород, что прилегал к дому и уходил рядами кукурузы к холму, был не огорожен — непорядок. Надо загородить. И сарай не мешало бы подновить.

Обо всем этом говорил Касей Гуце. Пускай Аскер, мол, не стесняется и приходит к нему в лес, заготовит все необходимое, а потом Касей даст ему свою повозку. Только лучше поздно вечером, подальше от завистливых глаз.

— Да пошлет Аллах тебе счастье, — умиленно улыбаясь, согласно покачивая головой, говорила Гуца, — обрадовал ты нас. Поклонись от меня Хаджимосу. Матери поклонись. Мы с нею были когда-то хорошими подругами. Как она

танцевала, как танцевала! Ни в нашем ауле, ни в соседних никто не мог с нею тягаться. Хорошими подругами были, а теперь вот... Время, ох, что делает с людьми, время. А может, с твоего доброго дела между нашими семьями опять начнутся хорошие отношения?..

Уселся на повозке Касей. Можно бы и ехать, а ему все нейдет себя показать. Будоражит, распирает его желание быть щедрым:

— Не стесняйся, тетя Гуца, приходи, если что понадобится. Ко мне в лес приходи, в дом к нам приходи. Мы с отцом — добрые люди. Зря про нас злые языки всякое болтают. Хорошим людям мы зла не желаем, бездельникам и вора вроде Раукова от нас ничего хорошего не дожидаться. Аскер, ты почему своей матери не помогаешь? Мужчина должен добывать кусок хлеба. Брось учебу-мучебу, пора серьезно о жизни подумать. В колхозе нужен кладовщик. После председателя кладовщик первое лицо в ауле. Брось свои полеты в облака, спускайся на землю. Иди кладовщиком, будешь как сыр в масле кататься.

Аскер сделал вид, что не слышал этих слов Касея, смотрел куда-то в сторону. Зурет и Саферу было неловко за хмельную болтовню Касея, но и оборвать его нельзя — все-таки он гость в доме, а к тому же Касей сделал доброе дело для этого дома, для Гуцы. Пусть его поболтает, пусть покуражится: ветер дует — деревья долу клонит, пустые слова даже былинки не поколышут.

А Касей все добивался от Аскера:

— Так ты не хочешь идти в кладовщики? Почему не хочешь?

— Не хочу, не по мне эта работа, хотя и выгодная, как ты говоришь. А о маме я думаю, но она сама не велит мне пока идти работать, хочет, чтобы я учился.

— Гэ, ей-богу! Учеба-мучеба! Брось ты эту глупость... Сафер, может быть, ты пойдешь в кладовщики? Жалко такую должность упускать. Хорошо, если б там свой человек работал.

— Не хочу в кладовщики, — ответил, подмигнув Зурет, Сафер, — лесником пошел бы. Помощником к тебе.

— Эй, не говори так — не выдержишь ты в лесу, кость у тебя не та, — солидно возразил Касей, — и характер там надо иметь твердый, мужской, а не такой, как у тебя — интеллигентский.

— Правда твоя, Касеюшка, правда, — подталдыкивала Гуца.

— Целый день по лесу бродишь один. С утра до вечера, как серый волк. Бродишь, бродишь, рад бы человека живого увидеть, словом с ним перекинуться, да не увидишь его, потому что прячется каждый от лесника. Вы — друзья мои школьные, почти сверстники — и то прятались. Если б не выследил я вас, так и ушли бы, даже не поздоровавшись со мною. Ушли бы и думали бы обо мне как о лиходее каком. Не чуждайтесь меня, ребята, я не такой уж плохой, как иные думают. Не чуждайтесь, это и вам пригодится. Всем лучше, когда люди ближе друг к другу стоят. Ты, Зурет, тоже не сердись на меня.

— Да нет, с чего ты это взял! Я совсем не сержусь на тебя. Заходи к нам. В нашем доме всегда рады тебя видеть. И Сафер, и мама.

— А ты? — спросил Касей и тут же понял, что глупость сделал: разве можно вот так, при людях, спрашивать у девушки такое? Разве она скажет — приходи, рада я тебе. Касей спохватился: — Извини, Зурет, это водка во мне бродит. Извини, Сафер, я совсем не хотел...

Касей зло хлестнул кнутом коня. Рассердился на свою болтовню Касей и гнал Гнедого, гнал по улице, будто не водка, а конь был виноват во всем. Однако не долго сердился Касей: хорошо, что он так сказал, пусть все знают о его чувствах к Зурет, его любовь к ней чиста, как вода в горном ручье, который вытекает из-под белого снега. Правильно он сказал! Пусть о его любви знают все. А все водка. Трезвым он, наверно, ни за что не сказал бы тех слов, не спросил бы вот так прямо, при людях. Ах, какая хорошая штука эта водка. Приятно и то, что Гуца наливала водку только ему одному, его одного посчитала настоящим мужчиной. Касей выпил бы всю бутылку, мог выпить, сил у него хватило бы одолеть ее, но решил не делать этого, а то Зурет еще подумала бы, что он — пья-

ница. Валлахи, интересный сегодня день получился. Эти двое парней в школе чувствовали себя на целую голову выше Касея, смотрели на него снисходительно — лучшие ученики класса. А сегодня? Как они выглядели сегодня?.. За недолгое время после экзаменов Касей вырос на две головы выше каждого из них. Подумаешь, лучшие ученики. Ученики — это тебе еще не самостоятельные люди. В школе не узнаешь, каким будет парень в жизни, что из него получится, как бы он ни учился: у иных в аттестате одни четверки да пятерки, а жизнь им после школы понаставила двоек. Вот и получается: учились, учились, а толку мало. Если ты знаешь бином Ньютона или год рождения Чингисхана, это еще не значит, что знаешь, как тебе жить.

Интересно, правду сказал Сафер, будто хотел бы пойти работать лесником? Если правда, то он станет просить помощи у него, Касея, у Хаджимоса, чтобы пристроили на должность. Хорошо, очень хорошо, коли бы так. Легче будет жениться на Зурет: как старший брат скажет, так сестра и поступит. Но, похоже, соврал Сафер, он же в летчики собирался. Несколько раз говорил об этом Касею. Дурак, вот дурак! Зандобились ему самолеты. Свалишься с поднебесья — костей не соберешь...

Уже лето на исходе, а Сафер с Аскером все болтаются без дела — и на учебу не поехали, и в колхоз работать не шли. Все читают, читают книжки. Целыми днями. И как у них головы не раскалываются? Сосунки, сосунки, а не мужчины.

За хмельными мыслями не заметил Касей, как приехал домой. Гнедой сам его привез. Тихо было на улице, пустынно. Месяц, похожий на большую лепешку, испеченную из ясной пшеничной муки, висел прямо над домом Кагазежевых. С гор, покоившихся в сумрачной дали, тянуло по-осеннему тревожной прохладой.

Хаджимос ждал сына. Увидев приближавшуюся повозку, стал открывать ворота. Касей глянул на отца и понял — тот был очень рассержен. Сердито, исподлобья поглядывал на сына, зло распахивал створки ворот. Так зло, что те жалобно поскрипывали.

— Эй, мужчина! Или ты уже не мужчина, не лесник? Полдня болтался в ауле, бездельничал. И лошадь с тобой бездельничала. Что ты делал у этих... Данашевых?!

Касей молча проехал мимо отца. Хаджимос закрыл ворота.

— Оглух мой сын или проглотил язык, когда обедал за чужим столом? А?!

— Ребята попросили, я и помог им немного.

— Помог немного. Хорошее немного — и хворосту на своей повозке из лесу привез, и плетень заплел, и наобещал Данашевым...

— Уже наговорили, наболтали...

— Молчи! Людская молва не твое дело — думай, как выпутываться будешь, когда на тебя донесут в лесхоз.

Мать вышла из дома и запричитала:

— Куда же ты запропастился? Куда провалился? Сердце мое изболелось, измучилось. Ни стыда у тебя, ни совести...

— Молчи, старуха. Не бабье это дело, иди и готовь ужин.

Сын с отцом распрягли лошадь, стали убирать сбрую. Когда Касей приблизился к отцу, Хаджимос почувствовал запах водки и отшатнулся. Это уже второй раз Касей явился домой выпивши.

В Хаджимосе вскипел гнев — развернуться бы и дать щенку добрую оплеуху. Такую оплеуху, чтобы тот на ногах не стоял. Силы у Хаджимоса, слава Аллаху, хватило бы, но не ударил сына: как-никак он уже мужчина и оскорблять его, унижать его не следует. Придавишь страхом — и нет мужчины, останется кисель на шатких ногах.

Целый день тревожился Хаджимос за Касея, злился, что на глазах у всего аула тот привез Данашевым лозу, как батрак работал у них. И конечно, все бесплатно, без копейки. Да к тому же еще и пьяный домой явился. Чего доброго привыкнет — тогда всему конец.

Выходя из конюшни, Хаджимос все-таки не сдержался и резанул Касея кнутом по спине. Так резанул, что волосяной кончик кнута рассек рубаху.

— За что, отец?! — испуганно вскрикнул Касей и шарахнулся назад в конюшню, испугал Гнедого. Тот заржал тревожно и кинул задними ногами, чуть не ударил Касея.

— За что-о-о-о,— прорычал Хаджимос,— убирайся в дом, собачий сын.— Снова замахнулся, но не ударил, бросил кнут и ушел в дом. В комнате сказал Касею:

— Если еще раз вернешься пьяным, приблю. Не посмотри, что ты один у меня. Лучше быть бездетным, чем иметь сына, который позорит седины своих родителей.

— Я не пьяный, тат<sup>1</sup>. Я только немного выпил пива...

— Замолчи,— вмешалась Лифаф,— не перечь отцу и не думай, что он не отличит запах пива от запаха водки. Иди-ка сюда, вымой холодной водой свою глупую башку, неслух несчастный... Ниже, ниже нагнись над тазиком, да не брызгайся так. Фу, каким дурманом несет от тебя. Фу! От одного запаха захмелеть можно.

— Я выпил совсем немного, нан<sup>2</sup>, одну маленькую рюмочку...

— Молчи уж, пьяница! — и мать сердито ткнула горлышком кувшина в голову сына.

— Больно, нан!

— Нам с отцом тоже было очень больно. Весь день больно, пока ты работал на каких-то бездельников. Такое кругом творится, такое творится, а он целыми днями болтается, занимается глупостью.

— Что творится, что случилось? — робко спросил Касей.

— Иди в комнату к отцу, он все расскажет.

Касей вытер насухо голову, причесался и несмело переступил порог. Остановился. Хаджимос перебирал на столе травы, издававшие тяжелый, горьковатый запах. У Касея запершило в горле от этого запаха. Сморщившись, он спросил:

— Что случилось, тат? Что творится? Нан сказала, ты объяснишь.

<sup>1</sup>Т а т — отец.

<sup>2</sup>Н а н — мать.

Отец стоял спиной к сыну и не обернулся к нему. Сухо приказал:

— Садись. Засучи штанину на ноге... Эй, старуха! Дай-ка чистое полотенце. Да живее поворачивайся! А ты чего сидишь, почему не засучил штанину?

— На какой ноге засучивать? — не понимая отца, растерянно спросил Касей.

— На какой хочешь. На левой. Живо!

Что он задумал, что хочет делать отец? И при чем тут зловонные травы? Отец всегда такой: не объяснит, что хочет делать, зачем? Сопит и упрямо делает свое, хоть земля развалилась на части, хоть огнем все горы вокруг него. Может быть, он готовит зелье против водки? Но разве Касей пьяница? Всего два раза выпил.

А все тетка Кутас, шляется по ворожеям, выдумывает всякие глупости, колдует. И сует свой длинный нос во все дырки. О чем хочешь спроси у нее, все знает: кто женился в Дагунохабле, в соседних аулах, кто разошелся, кто преступил шариат и напился пьяного зелья и богохульствовал. Что это задумал делать отец с вонючими травами?.. Молчит, насупился, как старый филин.

Сел на табурет Касей, оголил до колена левую ногу и тревожно, нетерпеливо ждал. Холодели, вздрагивали мышцы ноги, словно предчувствовали недоброе.

Мать пришла с чистым полотенцем. Хаджимос закончил наконец приготовления и, опустившись перед сыном на корточки, стал натирать ногу Касея пучком трав.

— Что ты делаешь, тат?! Ведь нога — моя, ты мог бы мне и сказать, что с нею станется.

Хаджимос не ответил. Глянул исподлобья на жену:

— Дверь заперла?

— Ой Аллах, мой Аллах! Забыла.

— У-у, разиня! Живо!

В ноге, которую растирал отец, сначала появилось приятное тепло, а потом постепенно это тепло превратилось в жар, от которого свело судорогой ногу, будто ее свернули в узел и затягивали все крепче и крепче.

Касей зажмурил глаза, сцепил зубы:

— Очень больно, тат! Зачем ты это делаешь? Почему ничего мне не говоришь?! У-у-у-у, больно.

— Молчи. Терпи. Ты мужчина, не смей распускать нюни, — делая свое дело, отрезал Хаджимос.

Мать вернулась из сеней, присела на корточки, с состраданием смотрела на сына и просила его:

— Потерпи, сынок, потерпи, мужчина. Отец плохого тебе не сделает. Потерпи...

— Терпи, если не хочешь угодить в солдатчину, жить в грязной казарме, — сказал, немного смягчась, Хаджимос и, приложив к ноге пучок свежей травы, крепко убинтовал ее полотенцем. — Был я сегодня в районе, слышал там, скоро ребят из нашего аула призовут в армию. А что сегодня творится в мире, ты лучше меня знаешь — газеты каждый день читаешь... — Хаджимос кивнул жене, мол, убери со стола, а сам взял табуретку и сел рядом с сыном: — Трава, которую я тебе положил на ногу, сильно не повредит тебе. День-два потерпишь, а потом боль пройдет — останется язва, которую залечить не сможет ни один врач.

— Уй! Значит, я останусь без ноги?!

— Дурачок, — ласково сказал Хаджимос, — разве твои ноги не мои ноги? Твои ноги мне нужны не меньше, чем тебе, а боль... возможно, моя родительская боль сильнее твоей, но что делать...

— А заживет нога или нет?

— Заживет, когда это нам понадобится. Я знаю траву, которая заживит рану. Я потом тебе покажу эту чудодейственную травку, покажу, где она растет. И только никому ни слова. Ни единого! Ты слышишь, старуха?

— Как не слышать. О моем языке не беспокойся, вернее его тебе никто не служит.

— Молчи!

— Молчу, молчу...

## 9

Время шло к обеду, а все еще прохладно. Солнце вроде бы светило, как обычно, ярко, но не было уже того жара,

как месяц назад. Ослабла его сила, притомилось оно к осени.

Аскер сидел на крыльце и наблюдал за воробьями, которые сутились вокруг миски с водой, поставленной для кур. Он еще немного прожил на белом свете, ему еще не приходилось встречаться с людской подлостью, никто, как говорится, еще не давал Аскеру под дых, и он считал мир ясным и прекрасным.

Мать говорила ему:

— Если будешь честно работать, у тебя всегда будет кусок хлеба, если будешь добр к людям, будешь помогать слабым, уважать старших, — друзья не оставят тебя в беде. Ищи друзей — и найдешь счастье под солнцем.

Жил Аскер с матерью беднее других, потому что не было в доме старшего мужчины, не было главного работника. Наверно, поэтому аульчане кто с состраданием, а кто с откровенной жалостью посматривали на Аскера. Это обижало его, но мать на это сказала сыну:

— Постарайся быть сильным, не сердись на людей. Каждый по-своему проявляет свою доброту. Тебя не хотят обидеть. А если тебя обижает сострадание, стань настоящим мужчиной, научись помогать другим, найди в себе для этого силу, и тогда все станут смотреть на тебя с уважением. Так говаривал твой покойный отец.

Покойный отец.

Грозу в здешних местах ждут, потому что она, как считают, дробит тучи, превращает их в дождь, а дожди — это добрый хлеб, сочные травы на лугах, радость в доме хлебороба.

Но для рода Данашевых гроза — черный рок. Грозой убило деда и отца Аскера. В ауле тихонько, не без суеверного страха, поговаривают, что и сам Аскер не избежит злой доли своих предков. Тихонько говорят об этом и при встрече с парнем смотрят на него как на обреченного. От этих взглядов Аскеру становится больно, тоскливо на душе.

Аскер посмотрел на плетень, недавно поставленный, вспомнил, как часто говорили в ауле о Кагазежевых: кружки воды не дадут, чтобы не извлечь из этого выгоды.

И еще говорили: яблочко от яблоньки далеко не катится, Касей весь в отца пошел. Зачем же этот Касей работал с ними почти целый день? Зачем? Что хочет он от них, что хочет от Аскера? Может быть, что-нибудь выуживает, выслеживает, но Аскеру с матерью нечего прятать. У них все на виду, все как на ладошке. И о дружбе говорил Касей, учил их с Сафером уму-разуму, затеял разговор о должности кладовщика. Возможно, тут-то и зарыта собака, ведь сказал же Касей, что хорошо бы в кладовой иметь своего человека. Уж не думают ли Кагазежевы чужими руками разворовывать колхозное добро? Нет, такому не бывать.

«Хорошие люди вокруг, да не все», — подумал Аскер, и это была одна из первых горьких истин, к которой его привела житейская тропинка. Вздохнул он и пошел в сарай. Оказалось, надо нарубить дров. Нарубил. Дверь в сарае уже совсем перекосилась, рассыпаться начала. Подправил ее Аскер. Вспомнил: мать просила обкопать старый орех. Обкопал. Сделал все это, и житейская тропинка привела его еще к одной истине: если худо тебе, если червяком точат сомнения, займись делом. Лучшего лекаря, чем работа, нет на земле.

Солнце тем временем уже приближалось к своему полуденному часу. Скоро придет с работы мать. Погрузит со своими товарками на машины помидоры, огурцы и придет домой. Принесет с собою запахи знойного поля, поспевающих помидоров.

Вышел Аскер за ворота и сел на лавочку, позавчера им сооруженную. Свежевыстроганная, прогретая за день горячим солнцем, лавочкапряно пахла сосновой смолой.

Луг на косогоре уже начал было желтеть, тронутый осенней прохладой, спускающейся с ледников, но неделю назад ночью прошел теплый, как говорят аульчане, парной дождь, и яркая зелень снова стала забивать жухлую желтизну луга, словно бы не осень стояла на дворе, а весна наступала.

Рассказывали, этой доброй шутке природы больше всех радовался Хатам:

— С вечера, когда пошел тот дождь, я подумал — теплый, значит, скоро перестанет, пережду на лугу, не раз-

мокну. А он как зарядил — и до самого утра. Размокнуть я не размок, но промок, как говорится, до костей. И замерз. Ух, как замерз. Но не жалею, что мерз, что вымок! Трава растет какая! Я-то думал, что пойдут мои овечки в зиму, не добрав жирку, а теперь-то, по сочной травке — доберут. Еще бы не добрать, корм такой пошел!

Не видно было Хатама с отарой на косогоре. Похоже, перевалил через хребтинку, пасет в долине.

Давно Аскер не виделся с Хатамом. Давно... Хатам приходил поздравить Аскера с окончанием школы. Долго смотрел на аттестат зрелости — с печалью и завистью.

— Счастливый ты, Аскер, мне вот не судьба, значит. Но ничего, я и так сдюжу. Давай твою руку, я пожму ее, как мужчина мужчине, а это возьми и купи себе хороший костюм. Он тебе сейчас будет очень нужен.

Аскер стал отказываться от денег, Гуца тоже замахала руками, мол, не надо, нехорошо это — принимать такие дорогие подарки.

— Не обижай меня, нан, не сердись, Аскер: я не милостыню подаю бедным людям, а поздравляю сына своего доброго друга Карбеча Данашева с окончанием школы — это мой долг, это моя радость... Вы же знаете, что Карбеч ко мне относился словно отец родной, он один был мне дороже, чем весь белый свет... Думаю, что и он бы на моем месте так же поступил, каждый должен так поступать, тогда солнце будет не таким знойным, а мороз мягче, вода вкуснее и хлеб душистее.

Вспомнилось все это Аскеру, и он устыдился, что давно не навещал Хатама. Решил сегодня же сходить к нему на кош.

— Салам, Данашев!

Аскер вздрогнул от неожиданности. Поднял голову — перед ним стоял Сафер.

— Что ты, как лиса, подкрался?

— Совсем я не крался — это ты был погружен в какие-то тайные мысли. Обдумываешь мировые проблемы, а у себя под носом беды не видишь.

— Какой еще беды?!

— Говорят, Касей при смерти лежит.

Аскер вскочил:

— Что случилось?!

— Нога. Дикое мясо образовалось. Какой-то волос, говорят, приключился.

— У человека беда, а мы все над ним посмеиваемся. Нехорошо это. Надо сходить поведать его.

— Сходим обязательно. Да и ничего с ним особенного не случится — болезней не хватит, чтобы такого буйвола с ног свалить.

— Перестань, Сафер!

— Не буду, не буду. Чего ты петушишься? Садись, о деле поговорить надо... Что-то долго молчит военкомат. Говорили, вызовут в августе, а уже сентябрь шлепает — и ни слуху ни духу. Надо какие-то меры принимать. Нехорошо бездельничать. Старики уже косятся, мать начинает ворчать.

— Моя тоже недовольна. А вчера пристала и пристала: скажи, что вы задумали с Сафером? Чуть не проболтался о летном училище.

— Да ты что! — испугался Сафер. — Ни слова никому. Тем более матерям! Житья не дадут своими слезами.

— Верно, — вздохнул Аскер. — Но тебе еще ничего, Зурет с матерью останется, а я ведь один у своей. Как она это перенесет, не знаю. И сердце у нее слабое.

— Эй! Да ты, похоже, пасуешь? Тогда скажи мне прямо, я один поеду, если ты трусишь.

— Перестань, Сафер! И чего ты сегодня ехидничаешь? Мне ведь и в самом деле нелегко. С твоей мамой все-таки останется Зурет...

— Нашел защитницу, опору дома!.. Она еще в школе учится, а уже, по-моему, поглядывает на дверь, не дождется, как замуж ей выйти. Девчонка она и есть девчонка.

Аскер не ожидал такого разговора. Совсем не ожидал и потому опешил: к чему это вдруг заговорил так вот Сафер, может быть, у Зурет уже есть кто-нибудь? Вон какие дела. И ничего тут нет удивительного, найдутся в Дагунохабле такие решительные и отчаянные парни, которые не посмотрят на школу, а потом ищи-свищи...

Да-а, славную задачку с несколькими неизвестными задал Аскеру друг. Никаким математическим способом ее не решишь. Славная задачка. Конечно, неспроста задал ее Сафер. Неспроста. Уж он-то свою сестру знает, под одной крышей с нею живет, у одной лампы вечерами сидит, из одного окна на улицу смотрит. Что тут делать? Не рассказать ли Саферу о своей любви? Надо бы рассказать. Смотришь, и помог бы друг: слово доброе сестре замолвил за него. Как-никак он все-таки старший мужчина в доме.

Нет, не надо ничего говорить Саферу: у любви нет ни свата, ни брата, она — тайна двух, она не подвластна никакой силе, только самой себе. Не надо рассказывать Саферу. Вот поедут они в училище, будут жить одной жизнью, и все само собой выяснится.

В любви не надо искать помощников. Но и сидеть сложа руки тоже не годится.

Зурет «поглядывает на дверь». Возможно, Сафер просто так сказал эти слова? Возможно. Но все равно — травы не шелестят без ветра. Пусть Зурет смотрит на дверь, а он, Аскер, будет смотреть и за дверью, и за Зурет.

— Рано ей заниматься этим! — сказал твердо и даже сердито Аскер. — Пусть сначала школу закончит, а уж потом и смотрит на дверь.

— Я тоже так думаю, а если сама что-нибудь затеет, пол заставлю мести волосами. Я ее на глазах у всего аула!..

Аскер понимал, что друг его, конечно же, не тронет пальцем свою сестру и говорит эти грозные слова просто для порядка, понимал, что неволен брат над сестрой в делах любви, и все-таки у Аскера будто гора с плеч свалилась. Какой-то отчаянный восторг овладел им, и чтобы не выдать себя, он вскочил и сказал:

— Фу, жарница какая! Пойдем на речку, попрыгаем с обрыва, поныряем!

— Пойдем. А потом к Хатаму.

— Верно. Сходим к Хатаму. Только надо зайти в магазин, купить ему курева, чекушку водки. Айда!

Для сельчанина главные часы — солнце. Оно меряет и труд, и отдых, но частенько хлеборобу приходится и спорить со всемогущим светилом — вставать до его появления над аулом и ложиться в постель, когда солнце не только уже улеглось за горами, но и зарю свою потушило. А все потому, что хлебороб еще живет на два хозяйства: свой двор, свое маленькое поле — огород, — и большое колхозное поле, большой общий двор. Если плохо работать в колхозе, как жить? Теперь уж люди-то и забыли, что раньше обходились без колхоза. А свой двор, огород, куры, индюки? Как без них? Тоже нельзя. Если все запустишь в своем огороде, люди смеяться станут, скажут: у этого, должно быть, пальцы рук срослись.

Хаджимос Кагазежев тоже встал рано, когда солнце еще дремало за горами. Хаджимос встал рано, а Лифаф и того раньше. Уж такое ее женское дело: пока муж поднимется, надо корову подоить, завтрак приготовить.

— Вышел Хаджимос из дома, вздохнул глубоко и почувствовал в свежем утреннем воздухе первый морозец. Присмотрелся — на крыльце лежал обильный иней. На повозке, на крыше сарая, в огороде, на кукурузе тоже крепкий, отливающий утренней синевой иней. «Хороший иней, — подумал Хаджимос, — быть доброй погоде». Звенел в кошаре подойник под тугими струями молока. Улыбнулся хозяин: добрая у него корова, другой такой нет в ауле, нет во всем колхозе.

Соседка ругалась — это она гоняла по кошаре свою норовистую корову, которая, наверно, опять ударом ноги опрокинула ведро с молоком. Снова улыбнулся Хаджимос — у него славная, смиренная корова. Соседка два раза водила свою коровенку на базар, но так и не продала — настоящий хозяин сразу отличит доброе от худого.

Приветственно лаяли собаки. Просительно мычали проголодавшиеся за ночь телята. Горланили петухи, поздравляя друг друга с добрым утром.

Любил Хаджимос Кагазежев раннюю утреннюю пору за чистоту и наивную доброту, за свежесть и бессуетность.

Сладко потянулся, еще раз вдохнул морозного воздуха и пошел в дом. Заглянул в комнату Касея: парень спал. У него сильно болела нога, он стонал всю ночь. Слышал стоны отец, очень жалко ему было сына, хотелось пойти к нему, сесть на краешек кровати, погладить по голове, сказать ласковые слова, но не сделал этого Хаджимос — нельзя размягчаться самому и, тем более, размягчать своей жалостью и лаской сына, молодого мужчину, которому еще жить да жить, которому столько разного предстояло увидеть, одолеть, которому так нужны крепкие нервы, холодный, трезвый рассудок и сильная воля. Сильная. Твердая. И опять же, если больному говорить о его болезнях, причитать над ним и слезу пускать, то он никогда не выздоровеет, зачахнет, как дерево, политое соленой водой слез.

Лифаф ночью не выдержала и хотела пойти к Касею, но Хаджимос не пустил ее:

— Не смей, а то бабой вырастет.

— Сердце мое измучилось, лучше бы мне ты растревил...

— Молчи, дура!

«Хороший парень вырос,— думал Хаджимос, глядя на спящего сына,— настоящий Кагазежев. Всю ночь просто-нап, но не кликнул ни мать, ни отца, не показал слабости. Молодец, молодец. И рост наш, кагазежевский. Плечи вон какие, на двоих хватило бы».

Лифаф вошла с полным подойником, увидела Хаджимосу у приоткрытой двери и уронила слезу: хороший у нее муж, только с виду суровый, а сердцем-то добрый. Частенько покрикивает на нее, даже кулаком пригрозит иногда. Ну и ладно, можно и стерпеть. Не пустил ее ночью к сыну, и правильно сделал — их сын должен быть сильным. Да он сильный и есть. Для Лифаф он самый сильный во всем ауле. И самый добрый, хотя по-отцовски хмурит брови. Касей — парень что надо и, конечно, придется искать ему самую лучшую невесту. Пора, пора бы Касея женить, а то как бы не натворил чего, кровь-то молодая, горячая.

Поставила подойник на табуретку Лифаф, легонько громыхнув, чтобы услышал Хаджимос. Отвернулась, будто не подглядывала за ним.

— Ты куда ехать собрался, старик? — тихонько спросила, чтобы не разбудить Касея.

— Хочу парня сегодня отвести в станицу. В район.

— Зачем? — испугалась Лифаф.— В больницу? Уж не сжег ли ты ему ногу? Я ведь говорила, не клади так много злой травы!

— Помолчала бы уж. Будто я лиходей своему сыну, будто не знаю, сколько и какой травы надо положить. Все знаю. Да и Касею не так уж плохо, чтобы к доктору его везти. Повезу, чтобы люди видели, чтоб поверили, мол, сильно болен Касей, раз возили его в станицу.

— Эй, старик, а если в больнице найдется доктор, который знает, как надо лечить эту рану? Если залечит ее? Уй, плохо будет сыночку. А если в станице догадаются о траве, тогда и тебе несдобровать.

— Помолчи, помолчи, безмозглая. Что ты в этих делах понимаешь? Или ты еще не убедилась, что Кагазежевы не ошибаются?.. Кто угадает, отчего пошла у Касея болезнь, кто подскажет, как ее надо лечить, тому я отдам корову и в придачу свою папаху.

Старики не заметили, как вошли в раж, заговорили громко и разбудили сына.

Касей облегченно, успокоенно вздохнул. Нога, изъеденная травой, уже не болела. И что за трава, подумал он, ему никогда не доводилось видеть такой, а ведь он-то походил по лесу, побродил по лугам. Может быть, отец привез траву с гор? Но он не отлучался в горы. Кто-нибудь другой привез? Вряд ли отец доверился бы кому-нибудь в таком опасном деле.

На стуле возле кровати стояли в баночках, в бутылках разные примочки, мази. Их притащил аульский фельдшер Султан. Отец налил ему стаканчик водки, а тот и расхвастался. Дескать, в два счета вылечу эту болезнь, не такие болячки заживлял.

Не верил Касей, что фельдшер Султан серьезный лекарь, а все-таки беспокойство холодило ему сердце: а вдруг вылечит, вдруг знает средство от этой язвы?

Мать приоткрыла дверь. Увидела, что не спит сын, вошла в комнату:

— Как твоя нога, сынок? Сильно болит?

— Вроде бы и вовсе не болит.

Касей поднялся, свесил ноги с кровати.

— Осторожно, сыночек, ой, осторожно! — воскликнула мать. Касей встал и, к своему удивлению, не почувствовал боли в левой ноге. Осмелел. Сделал шаг, другой. Не болела нога.

— Видишь, нан, хожу. Совсем не больно, так что ты уж не бойся. Случается, что нога и вовсе сломается, а это пустяк.

— Верно, сынок, верно. Пусть Аллах не пошлет тебе большей беды, а эта пройдет. Поедешь с отцом в станицу — пусть все видят тебя в повозке больным. Это как раз нам и на руку.

Отец вошел:

— Пройдись-ка, пройдись. Смелее... Ну, болит?.. Сейчас уже не должна болеть.

— Совсем не болит, — подтвердил Касей.

— Видишь. Я же тебе говорил. Только на людях не забывай хромать.

— Не-ет. Мне кажется, я нормально и ходить-то не могу. Ишь, как человек устроен: сам себя своим рабом может сделать. Рабом своих худых помыслов.

— Кто умеет собою управлять, как ему разум велит, тот не раб... Болеть нога больше не будет, а гноиться будет все время. В этом неудобство, но и спасение твое. После завтрака поедем в станицу. Старуха, готовь на стол.

Мать подала жирный калмыцкий чай, крепко наперченный, хорошо посоленный, подала румяные теплые лепешки, изжаренные в масле.

Мужчины поели плотно — ехали почти на целый день, тратиться на харчи в станице — дело неразумное, считал Хаджимос, поэтому и ели вроде бы про запас. Когда уселись поудобнее в повозке и Хаджимос уже хотел трогать Гнедого, Лифаф вышла на крыльцо:

— Подожди, старик, подожди!

— Чего еще? — недовольно спросил Хаджимос.

— Будете возвращаться из станицы, загляните на бахчу. Там еще остались добрые арбузы. Привезли бы их домой.

— Сколько раз, старая тетеря, говорилось тебе, не останавливай меня, не порти дорогу!

— Правда твоя, правда твоя — пропади они пропадом те паршивые арбузы. Они там, наверно, погнили давно. Нечего и делать вам на бахче. Помогай вам Аллах в пути, в час добрый.

Если ехать от дома Кагазежевых в станицу, надо прямо от двора повернуть в переулок, напрямик к реке, перебраться через нее — и вот он, большак, но Хаджимос выехал на главную улицу, громко понукая Гнедого — пусть все видят, что он везет своего больного сына. Приветливо здороваясь со встречными, повернул к магазину, у которого уже околачивались завсегдатаи и зеваки, куда торопились женщины за солью, керосином...

Поздоровался Хаджимос с мужчинами. Кто-то спросил, куда это Кагазежев путь держит?

— В станицу. Беда навалилась на Касея. Все знают, какой он здоровый парень, а вот за несколько дней так скрутило его, так скрутило!

— Что болит?

— Дикое мясо на ноге сделалось. А фельдшер говорит — волос. Надавал всяких лекарств, да от них парню еще хуже стало. Поедем в станицу, надо найти там хорошего доктора.

— Надо бабку найти. От волоса может вылечить только бабка. Верно тебе говорю, Хаджимос. Не вози в больницу, загубишь сына, — посоветовал седой мельник.

— Не то время, чтобы ездить по бабкам, — солидно ответил Хаджимос и прошел в магазин. Купил там папирос, хотя у него в карманах пиджака было две пачки.

В станице Касея осмотрел врач районной больницы и прописал те же лекарства, что и фельдшер Султан. Велел врач поменьше ходить, не нагружать больную ногу и выдал костыли, которые Касея очень обрадовали:

— Тат, теперь я буду ходить по аулу как настоящий и солидный инвалид. Посмотри, посмотри, как я шагаю с ними.

— Красиво, очень красиво,— сказал Хаджимос, наблюдая за сыном,— прямо как с фронта пришел... Потом мы этими костылями истопим печь, а пока они твои лучшие друзья.

Из станицы они направились на свою бахчу, собрали последние арбузы, погрузили на повозку и тронулись домой. Долго ехали молча, а потом Хаджимос сказал:

— Все идет хорошо с твоей ногой. Теперь и в районе знают о язве. Врач мне сказал потихоньку, — чтобы ты не слышал, — мол, язва эта неизлечима, мол, парню не видать армии. Сказал с сожалением. Вот чудак. Можно подумать, что армия — это курорт,— подмигнул отец сыну, улыбнулся лукаво.— Эту траву мне дед мой покойный показал. Мудрый был старик. Умнее его не доводилось человека встречать. Листья той травы приносят болезнь, а ее корни лечат. Я потом тебе покажу место, где растет трава, покажу, как она выглядит... Корни ее выкопать, хорошенько на солнце высушить, в ступе истолочь — вот и все лекарство. Через два-три дня рана зарубцуется, потом корочка отпадет, и следа не останется от болячки.

— Покажи мне траву. Где она растет?

— Не торопись. Покажу. Всему свое время.

И опять поехали молча. Сонно постукивали колеса по твердой лесной дороге. По-осеннему позванивали синицы. Сначала Касей думал о жестокой, но в то же время и доброй, чудодейственной траве, а потом его мысли как-то сбились на Аскера Данашева. Чего он всегда такой грустный? Касей с мальчишек его помнил. И всегда грустным, молчаливым. Пацаны играли в свои нехитрые игры, озорвали в чужих садах, на бахчах, а Данашев все, бывало, как-то в сторонке. Может быть, он стеснялся своей бедности, своих заплатанных штанов и старых, истоптанных башмаков? Но разве он был один такой в ауле? Хватало таких. Пожалуй, не в этом дело. Все дело в грозе!

На другой день после того, как отец отхлестал хмельного Касея, мать сказала:

— Чтоб ноги твоей у Данашевых не было! На них лежит проклятье, разве ты не знаешь?!

И рассказала ему историю с грозой. Да-да, теперь понятно, почему Аскер всегда такой грустный. Разве будешь веселым, если над головой острый камень висит. Такой камень, что не отведешь его рукой, не спасешься от него.

— Валлахи, отец, а я и не знал, что гроза — это проклятие Данашевых.

— Верно, проклятие. А чего ты вдруг об этом вспомнил? — спросил отец, удивленно взглянув на сына.

— Нан мне недавно об этом рассказала. Стало быть, в грозу лучше не быть в доме Данашевых?

— Э-э, лучше вообще с ними не знаться, а тебе не водиться с Аскером. Не забудь, когда молнией убило Карбеча, чуть не погиб и этот дурак Хатам. Хорошо, что он был далеко от Данашева, поэтому и отделался только косоглазием.

— А я слышал, будто он окосел, когда его отец попал в пропасть.

— Может, и так. Не это важно. Люди поговаривают, будто Хатам якшается с нечистой силой.

— Я тоже слышал об этом от тетки Кутас, но это же смешно...

— Помолчал бы! — Отец грозно взглянул на сына, приложил палец к губам, будто их кто-то мог подслушать, и огляделся вокруг.— Водится он с нечистью, верно тебе говорю, но это ему не поможет, проклятие Аллаха падет на его грязную голову.

Холодок пробежал по спине Касея от этих слов отца. Хоть и не верил он ни в бога, ни в шайтана — ведь в школе вырос,— а все ж холодок пробежал по спине. «Да и что они, эти учителя, смыслят? Старики мудрее их, надо к ним прислушиваться. На их стороне правда», — твердо решил он.

Касей знал, что Хатам избил его отца, и, конечно, не мог ему этого простить. И не простит. «Погоди, косой шайтан, погоди».

— Сафер, а Сафер, посмотри-ка, по-моему, это повозка Кагазежевых. Да не туда ты смотришь. На той стороне речки около верб.

— Точно, они.

— Куда это их носило с утра пораньше?

— Хаджимос возил к врачу Касея. Интересно, что им там сказали? Позавчера у нас была Кутас, говорила, что дела у Касея совсем плохи. Уй, и каких только гадостей природа не насылает на человека. Касей ведь тоже когда-то собирался в военное училище — вот и конец его мечте.

— Ничего, поправится, — с состраданием сказал Аскер. — Парень-то он крепкий... Но я что-то не слышал, чтобы Касей собирался в военное училище.

— Собирался. Даже в одно училище с нами. В летчики. Мне говорил по секрету.

Аскер усмехнулся:

— Не верю, что он хотел бы стать военным летчиком, уж очень горячо он говорил о теплом месте кладовщика.

— Да это он — так, для форсу. Собирается он в летчики и достигнет своего. Кагазежевы упрямы, тверды, — стоял на своем Сафер.

— Может быть, и тверды, но лучше их к власти над людьми не допускать. Хатам говорил, что у них глаза кровью наливаются от жажды властвовать над людьми, жестокость появляется.

Подходя к кошаре, парни почувствовали запах жареного мяса. Сафер пошутил:

— Лесником хорошо, чабаном лучше, в чабаны бы я пошел, пусть меня научат.

Аскер ответил ему:

— Чабаном хорошо, а летчиком лучше, я вот в летчики пойду, и меня научат.

— Когда ты будешь летать, не знаю, а жареную баранину я сейчас буду есть.

— Приятного аппетита, — со смехом ответил Аскер и пустился бежать по лугу, перемахнул через плетень, Сафер — за ним!

Хатам стоял посередине база у дремавшей на солнце отары и наблюдал за парнями:

— Ну, чистые жеребята! Силы-то, силы у них сколько. А хохочут как! Чистые жеребята.

Летом Хатам не носит волосы — бреет голову. Загорелая, она блестела на солнце, как медный казан. Бороду и усы он не брил с самой весны, и они пышно разрослись, горели смолью. Обрадовался Хатам ребятам, обнял их за плечи и повел к навесу, у которого на очаге, сложенном из кирпича, готовилась еда.

В полуведерном чугуне кипела баранина: варился шулюн — чабанский суп с картошкой, луком и помидорами. Рядом в большой чугунной сковороде жарилось мясо.

— Эй, Хатам, для кого столько еды готовишь? Гостей ждешь? Байрам<sup>1</sup> будет?

Хатам расплылся в лукавой улыбке:

— Интересно ты говоришь, Аскер. Еды никогда не может быть слишком много. Пусть до конца дней твоих у тебя будет ее больше, чем надо. Я ждал гостей, и они пришли. А раз гости, значит, байрам.

— Как ты мог ждать нас, если мы и сами не собирались к тебе? Вдруг надумали и пришли.

Еще шире расплылось в улыбке лицо Хатама.

— Я каждый день жду гостей, каждый час, а байрам... Солнце взошло — байрам, дождик прошел — байрам, овечки окотились — байрам, человека доброго встретил — самый большой байрам. Садитесь, гости дорогие, к столу. Сейчас испеку хорошую лепешку — и будем обедать.

— Обойдемся без лепешки, — сказал Аскер и торжественно достал из сумки большую круглую буханку пшеничного хлеба. — Во! Посмотри, какой хлеб мы тебе принесли.

Хатам восхищенно пощелкал языком, понюхал буханку, припав к ней лицом:

— Какое это чудо — буханка хлеба. Да если еще она испечена такой мастерицей, как твоя мать, Аскер!.. Поблагодари ее от меня. Садитесь к столу, садитесь.

Хатам налил суп в большую деревянную миску, подал деревянные ложки, нарезал крупными ломтями душистый

<sup>1</sup> Б а й р а м — праздник.

хлеб и лишь потом сел за стол. Застегнул ворот сорочки, надел папаху и благоговейно помолчал.

— Берите ложки, друзья, и приятного аппетита.

— Мы принесли тебе еще папирос и... — начал Сафер.

— Вчера у меня был Жечаго, тоже принес три пачки.

Но я и ваши с удовольствием выкурю, ведь принесли их мне мои младшие братья.

— А еще принесли вот что,— и Аскер поставил на стол четвертинку водки.

Хатам нахмурился. Взял в руки бутылку, покрутил ее так и этак:

— Что это такое?

— Водка,— наивно заявил Сафер.

— Вижу,— угрюмо сказал Хатам,— так, может, вы уже и пьете эту самую... гадость?

— Нет же, нет,— заторопился Аскер.

— Зачем же принесли?

— Тебе.

Успокоился Хатам, покачал согласно головой:

— Тогда еще ничего. Ешьте, ешьте на здоровье.

Ели дружно и с аппетитом. Через некоторое время Хатам сказал:

— Водку-то я не пью. За всю жизнь ни капли в рот не взял: зачем я этой гадостью должен сводить себя с ума. И вообще, зачем люди ее пьют? Разве и без водки мало дураков на земле?

Аскер взял чекушку, хотел положить ее в сумку, чтобы она не мозолила глаза, но Хатам остановил его:

— Дай сюда. Ведь вы мне принесли, а я найду место, где она на пользу пойдет.

Парни расстроились: и шулюн казался уже не вкусным, и мягкий хлеб каким-то черствым. Они вяло ели, не поднимая голов.

Сафер наконец не выдержал:

— Ты прости нас, Хатам, если обидели мы тебя этой проклятой водкой.

— А-а! Так вот почему вы так плохо едите? А я уж испугался, думал, плохой шулюн у меня получился. Вы

меня не так поняли — водку я не пью, но она мне очень нужна. Доброе дело вы сделали. После обеда сами увидите.

После обеда Хатам взял ярлыгу и повел парней к отаре. Выхватив овечку, ловко повалил ее.

— Видите, какая рана. Сейчас мы ее водочкой, водочкой. Раза два, три промыть — и заживет рана. Сафер, лей водку мне в руки. Да аккуратнее. Экономить надо, потому как она здесь на добро работает.

Сафер лил водку тонкой струйкой в большие ладони Хатама.

— Хатам, а если ногу Касея промывать водкой, может, и пройдет его болезнь?

— Не знаю, не знаю, что у него за болезнь. А жалко парня. Такой красавец — и поди ж ты... Но ничего, Хаджимос землю перевернет, а достанет нужное лекарство, чтоб спасти единственного сына.

Овца сначала брыкалась и дрожала от испуга, а потом успокоилась. Похоже, от спирта ей стало легче.

— Ах ты моя маленькая, моя хорошая. Вот тебе и лучше стало,— приговаривал Хатам.— А вы хотели, ребята, чтобы мы выпили эту ерунду и одурели. Фу, как противно она пахнет.

Еще пару овец обработали парни с Хатамом, потом умылись в ручье и сели передохнуть в тени верб. Заговорили о военном училище. Один Хатам и знал, что они хотели стать военными летчиками. Еще когда в девятом классе учились, с ним советовались. Он тогда сказал им:

— Много разных чудес сотворили люди на земле, но большего чуда, чем летать в небе выше и быстрее птиц, они ничего не придумали. Идите в летчики. Идите в военные летчики — всякий порядочный мужчина обязан оборонять свою Родину.

И вот теперь парни жаловались Хатаму на военкомат. Может быть, там утеряли их документы или из списка исключили? Надо бы съездить в станицу самим и узнать там все. Как Хатам присоветует?

— Думаю,— сказал Хатам,— зря вы паникуете. Как это утеряли, как это исключили? Не бывает такого. Просто время не вышло, а вот что бездельничаете вы — это плохо.

Видел я, как вы жеребцами сегодня по лугу гоняли, и подумал — жалко, такая сила пропадает зря. Я бы на месте председателя давно выдрал вас за уши и палкой погнал бы работать в поле. В колхозе не хватает рабочих рук на уборке кукурузы, а они болтаются по аулу с утра до вечера, не знают, куда свою силу деть.

Говорил все это Хатам вроде бы в шутку, с легкой улыбкой, но парни понимали, что в его беззлобных словах крылась горькая правда, и оба покраснели до ушей.

— У меня отара на руках, и я все-таки хожу на кукурузу... Ну, ладно, ладно. Молодцы, что краснеете, значит, совесть ваша еще при вас. Завтра же утречком прибегайте ко мне, и вместе двинем в поле. Смотришь, воза по два наломаем початков. А сегодня у меня тоже есть для вас дело. Очень хорошее дело. Видите на лугу у речки две копны сена? Я накопил его для вас. Как раз по копне каждому.

— Спасибо, но у нас есть сено, у Данашевых тоже. Хватит на зиму.

— Тогда совсем хорошо. Председатель мне пришлет сегодня подводу, заберите сено, продайте его и купите себе хорошие ботинки, брюки, красивые галстуки...

— Жечаго тебе подводу обещал? — спросил Аскер.

— Э, ей-богу! Я же сказал — председатель.

— Посмотри на него, Сафер, — живет он тут в одиночестве, будто медведь в берлоге, и не знает, что вчера на собрании его друга Жечаго избрали председателем.

— Как?! Вы меня не разыгрывайте. Кто изберет такого молодого парня председателем колхоза?

Летом тридцать девятого года Жечаго закончил техникум, но поработать агрономом ему не довелось — призвали в армию.

В ноябре началась война с Финляндией, а в начале декабря Жечаго попал в госпиталь.

В то утро мороз стоял такой сильный, что у Жечаго звенело в ушах, перехватывало дыхание.

Комиссар батальона Григорьев сам повел разведчиков в тыл врага — надо было во что бы то ни стало «добыть языка». И они добыли его — схватили офицера связи с

важными документами. А когда возвращались к своим, наткнулись на боевое охранение финнов, и как ни пытались уйти незамеченными, все же пришлось принять бой, в котором был тяжело ранен комиссар. Двое разведчиков прикрывали отход огнем автоматов. Жечаго, соорудив из лыж сани, вез на них Григорьева. На мосточке через быструю речку, исходившую зябким паром, был ранен и сам Жечаго — осколком мины оторвало три пальца правой руки. Перевязав рану, перетянув руку ремешком, чтобы остановить кровотечение, он продолжал везти уже потерявшего сознание комиссара. В марте сорокового года бывшему разведчику в Москве вручили орден Красного Знамени, и, когда он вернулся домой, его пригласил секретарь райкома партии Ужибов Хазрет и сказал:

— Мы решили рекомендовать тебя на должность председателя колхоза.

— Да вы что! Старики ж меня шапками забросают, скажут, мальчишку ставят над нами.

— Хорош мальчишка, — усмехнулся в усы секретарь райкома, — ты — солдат. И не простой, а понюхавший порошу, орденосный. Ты — агроном.

— Да и агроном-то я еще никакой. Дайте хоть оглядеться в колхозе, к людям присмотреться.

— Хорошо, присматривайся. Полгода даю. Осенью будем рекомендовать.

И вот вчера состоялось колхозное собрание. Когда Ужибов предложил кандидатуру на пост председателя, старики взбунтовались:

— Не быть этому!

— Не оскорбляйте наши седины, ставя над нами мальчишку!

Но вот на трибуну поднялся старейший человек аула, кузнец Надоков.

Шум стих.

— Встань, Жечаго, — сказал кузнец.

Жечаго, находившийся в президиуме, поднялся.

— Я знал деда и отца этого парня, знал как настоящих хлеборобов, честных и порядочных людей. Я знаю этого человека столько же лет, сколько он сам знает себя. Знаю

честным, работающим. Знаю солдатом, который не осрамил адыгов в бою. Кто из вас, старики, может сказать худое слово о нем?

— Он молокосос! — выкрикнул кто-то из дальнего угла.

— Видите, — сказал кузнец, — оказывается, не только мудрость меряется возрастом, но и глупость. Я повторяю — кто может сказать худое слово о Пшикане Жечаго?.. Нет такого человека. Скажите, кто из вас так хорошо знает все огромное поле нашего колхоза, как этот агроном? Или, может быть, кто-нибудь из вас знает толк в комбайнах, тракторах? И таких нет. Тогда чего же вы ерепенитесь, а?

И Пшикана Жечаго избрали председателем.

Аскер и Сафер были на том собрании. Тайком пробрались. И теперь подробно обо всем рассказали Хатаму. Очень обрадовался чабан случившемуся:

— Я всегда говорил, что мудрее кузнеца Надокова нет никого в ауле. Поедем, ребята, поздравим Жечаго, а заодно и возьмем подводу для перевозки сена.

## 12

Отец говаривал Аскеру:

— Если ты сегодня не помог кому-нибудь, считай, что день у тебя пропал, впустую прожит. Если делом не смог помочь, не жалея для человека доброго слова. Иногда слово значит больше, чем деньги, чем кусок хлеба.

И еще говаривал отец: доброта бывает разная. Говорят, бросишь камень на дорогу, по которой тебе придется идти, сам же споткнешься о него, а то и ногу сломаешь. Благословен тот, кто сделал добро и забыл о нем — как в речку бросил. Унесет то добро вода, и человек не знает даже, кому его добро досталось, не услышит слова благодарности, а значит, и не возгордится. А незнакомый человек, познавший радость добра от другого, тоже сотворит добро и тоже бросит. Вот так оно и будет множиться и рано или поздно, но вернется к тебе.

Когда Аскер с Сафером вчера повезли первый воз сена в аул, Хатам долго смотрел им вслед, думая о том, как они

поступят: продадут сено и купят себе модные галстуки или же решат иначе?

Они решили иначе. Решили, не сговариваясь. Аскер сказал:

— Давай отвезем это сено бабке Мерем. У нее совсем нет родственников. Кто ей поможет?

— Эй! Как ты угадал мою мысль: это самое хотел сказать тебе и я.

— Хороший человек Хатам, но чудак — купите себе брюки, модные галстуки. Чудак.

— А второй раз отвезем старикам Кушховым — они совсем уж больны оба. И коровенка у них старенькая, пусть полакомится зимой таким душистым сеном, — решил Сафер.

Это было вчера, а сегодня парни повстречались раньше обычного — чуть только солнце поднялось над землей. Не спалось им, не лежалось. Не могли дождаться утра, чтобы идти с Хатамом на уборку кукурузы. А потом... Конечно, они и не собирались хвастать своим добрым делом, а все ж каждый из них втайне ждал похвалы Хатама.

Утро было свежее, звонкое. Может быть, казалось — уж очень ярко синело небо. Под осень всегда так — звонче шумят листвою деревья, слышнее шум речки, а людские голоса доносятся чуть ли не за версту. Шли ребята ходко, дышалось легко.

— Аскер, знаешь, о чем я сейчас думаю?

— Скажешь — узнаю.

— Я рад, что мы вчера не продали сено. Что мы сегодня сказали бы Хатаму, какими глазами смотрели бы на него.

— Стыда, наверно бы, не обобрались, — встревоженно вздохнув, согласился Аскер.

— А хитрый наш Хатам, ой хитрый. Продайте, говорит, купите себе брюки. Я даже чуть было не решил так и поступить. Видел я в магазине модные серые брюки — чарльстон.

— Нет, — сказал Аскер. — Хатам не хитрил, просто хотел проверить нашу совесть.

Убирать урожай на кукурузное поле вышли, как говорится, и стар и мал. Были здесь и Фиж, и Гуца. Увидели они своих сыновей и зарделись краской гордости — пусть больше никто не скажет, что Сафер и Аскер бездельничают.

На меже горел костерок, у которого стояли бригадир и Хатам.

— Молодцы, ребята, что вышли в поле, — приветливо улыбнулся бригадир. — Я хотел позвать вас на уборку еще в прошлом месяце, но вступился председатель — дай, говорит, ребятам отдохнуть после экзаменов, у них, говорит, в головах еще такой шум стоит, что они не отличат початок кукурузы от свеклы. А раз сами пришли, значит, отдохнули. Да и здесь, под солнцем, на ветерке, для ваших лет разве это работа? Одна забава. Будете вот на этой делянке ломать. Складывайте в кучи, а как подойдет подвода — грузите.

Бригадир пошел дальше, то тут, то там отдавая распоряжения и энергично размахивая руками.

Хатам долго смотрел на бригадира, а потом сказал:

— Вот уж настоящая крестьянская душа — как он радуется урожаю. Теперь ночами спать не будет, пока не уберет все до зернышка. Похудеет, с ног валиться будет от усталости, а дела своего не оставит... Знаете, ребята, он хочет вас сделать трактористами. Курсы в МТСе открываются, собирается вас туда послать, да, говорит, не знаю, как к ним подступиться, народ-то образованный, слов подходящих не подберешь.

Парни довольно рассмеялись, им льстило, что их считают образованными, даже робеют...

— Я ему, конечно, ничего не сказал о ваших планах, о военном училище, но намекнул, мол, ребята собираются выше, дальше лететь, у них, мол, молодые, сильные крылья. Однако задирать нос не надо.

— А разве мы задираем? — встревоженно спросил Сафер.

— Мы... ничего, — смутился и Аскер.

— Это я к слову сказал, — успокоил их Хатам. — А вот и наша подвода идет. Теперь за дело. Да подружнее!

И они пошли следом за подводой к своей делянке. По дороге Сафер спросил у Хатама:

— Ты почему о сене не спрашиваешь?

— Зачем спрашивать. Ни к чему это.

— Не продали мы то сено.

— Один воз отвезли бабке Мерем, а второй... — сказал Аскер.

Хатам перебил его:

— Правильно сделали. Я надеялся на вас, верил, и вы не подвели. Спасибо вам, — и смутился. Хатам вроде бы застенялся своих слов. Прибавил шагу. — Поторапливайтесь, пошевеливайтесь.

Работали споро и весело. Ломали початки и бросали их в кучу, а когда подходила подвода, грузили, горой насыпали. Ездовой ворчал:

— Вы что, лошади не вывезут с поля такую тяжесть.

— Вывезут. А ну, ребята! — командовал Хатам, и они втроем с шутками и прибаутками помогали лошадям вытащить воз на твердую дорогу.

Когда солнце дремотно склонилось над дальней горой, разлив над землею предвечерний свет, все трое, закончив работу, вышли на дорогу. К ним подскакал на вороном жеребце учетчик и сообщил:

— Звено Хатама сделало за день две нормы, сработало лучше всех в колхозе. Поздравляю! Девочки, поздравьте победителей.

Последние слова были обращены к девушкам, которые стайкой выходили из кукурузы. Среди девушек была Зурет. Только ее и видел Аскер. Ее одну. Видел ее глаза, яркую косынку, из-под которой выбивались блестящие волосы.

Девушки поздравляли ребят, поздравляли Хатама с успехом, но Аскер слышал только Зурет:

— И вы здесь? Вот уж не думала.

— Почему же не думала?

— Да так... вы все о высоких материях мечтаете, а здесь — кукуруза...

В школе Аскер и Зурет мало разговаривали друг с другом, но зато виделись каждый день и, значит, взглядами

переговаривались часто, а теперь вот и виделись редко. Наверно, поэтому оба сейчас так волновались.

Аскер знал, что Зурет вместе с одноклассницами работала через делянку от него. Он несколько раз порывался сходить туда, да боялся: засмеют, если увидят одного среди девушек. Но ничего, Аскеру было хорошо и оттого, что она работала на одном поле с ним...

— Зря ты так думаешь о нас, — сказал Аскер в ответ на безобидно насмешливый упрек Зурет, — не такие уж мы плохие.

— Это я пошутила, — смутилась Зурет, — а в общем, я рада, что вы здесь. Вместе пойдем домой, поболтаем...

— Пойдешь, если позволим, — нахмурился Сафер. — Иди-ка лучше с девчонками. Приличнее будет. Да и нам-то надо зайти к Касею. Хотим проведать его.

Зурет вспыхнула, сердито повернулась и пошла прочь от ребят. Аскер нахмурился. И чего этот Сафер все время встречает? Ну, хотели побыть немного вместе, поговорить. Что ж тут такого?

На лавочке у калитки сидел Хаджимос Кагазежев.

— Добрый вечер, Хаджимос, — приветствовал его Сафер.

— Пусть Аллах одарит тебя добром, мой сын, — ответил Хаджимос, чуть приподнявшись. — Что заставило вас показаться в наших краях, джигиты?

— Пришли проведать Касея, — сказал Аскер. Ему не понравилось высокомерие Хаджимоса, и он это не скрывал, без должной почтительности, с дерзостью поглядывая на старика. — Слышали, тяжело болен Касей, вот и зашли.

Довольно заулыбался Хаджимос, встал:

— Спасибо, спасибо вам. Проходите во двор. Сейчас позову вашего друга. Совсем извелся парень... Касей, а Касей! Ребята пришли к тебе.

Касей вышел на костылях. Бледный, похудевший.

— Э, да ты и в самом деле серьезно заболел, — сказал Аскер, — а мы думали — так, приболел малость.

— Плохо твое дело, — соглашался с другом Сафер, — ты прямо на раненого солдата похож, будто с войны пришел. Не сдавайся, парень, держись.

По очереди Аскер и Сафер крепко пожали руку Касею.

— Да уж лучше бы на войне быть раненым, чем болеть этой глупой, но такой прилипчивой болезнью... Ну, а вы, что вы делаете?

— Да так, — ответил Сафер, — сегодня вот на кукурузу ходили. Прямо с поля и пришли к тебе.

— Спасибо, что не забываете своего несчастного товарища.

В разговор вмешался Хаджимос:

— На кукурузе были? Значит, и до вас добрался бригадир. Плохи, видно, в колхозе дела. Нас председатель тоже просил помочь на уборке, старуха уж который день работает. И до того бедняга устает. Чужая работа — не своя, утомляет хуже неволи... Садитесь, ребята.

Хаджимос сел на лавку, а парни стояли, переминаясь с ноги на ногу — обычай не позволял сидеть в присутствии стариков.

— Садитесь. Раз я вам велю — садитесь. Воля старшего для младшего закон.

Сели Аскер с Сафером на краешек лавки, смущенно улыбаясь. На улице послышался какой-то шум — бранился кто-то. Хаджимос прислушался, криво усмехнулся:

— Посмотри, Касей, не твоя ли это мать возвращается с работы?

— Она, тат.

С шумом открыв тяжелую, сбитую из толстых досок, окованную железом калитку, вошла Лифаф с ведром в руках:

— Чтоб тебя громом разбило, чтоб тебя Аллах превратил в собаку!

— Эй, старуха, что случилось, кого так страшно ты клянешь? — спросил у жены Хаджимос, направляясь ей навстречу.

— Кого же еще — Жечаго!

— Чем он так страшно тебя обидел?

— Взяла я в ведро пяток початков, так он накинудся на меня, будто я проглотила весь его колхоз!..

— Э, ей-богу, я думал, и правда что случилось. Стоит ли из-за такой ерунды расстраиваться.

— Это не ерунда, старик. Целый день работаешь не разгибая спины, руки под вечер отваливаются, и нельзя курам взять несколько початков.

Потом Лифаф заметила парней, сидевших на лавке, увидела Касея и тут же забыла о Жечаго.

— А, ребята пришли проведать тебя, сынок? Спасибо, что не забываете нашего сына. Проходите в дом. Соберу на стол чего-нибудь. Слава Аллаху, без колхоза не голодаем, не последним куском гостей своих потчуем.

Ушла в дом Лифаф.

В калитку постучали. Пришел секретарь сельсовета.

— Здравствуй, Хаджимос. Здравствуйте, ребята. Повестка Касею из военкомата. И вам, ребятки — тоже. Хорошо, что застал я вас здесь — не бежать к вам. Распишитесь у меня в тетрадке, получайте повестки... Здесь, здесь расписывайтесь...

Лифаф, похоже, услышала, о чем говорил секретарь сельсовета, с крыльца спросила:

— Ты что там говоришь? В военкомат? Так Касей же болен! Какой ему еще военкомат?!

— Пойдут в военкомат, а там уж и разберутся, кто болен, кто здоров.

— Что ты говоришь? Послушай, Хаджимос, что он говорит! Каждому видно, как страдает наш сын...

— Помолчи, старуха. Такой порядок — от военной службы освобождает только специальная комиссия, а не секретарь сельсовета. Поедем завтра в райцентр, врачи осмотрят Касея и все увидят.

### 13

Аскер пришел домой. О повестке матери решил сегодня не говорить: она очень устала на работе, не стоит ее расстраивать. Решил, скажет завтра утром. Зашел он в свою комнату, прилег отдохнуть.

Только сегодня понял Аскер, как будет одинока мать, когда он уедет в училище. И так ему жалко стало ее, хоть плачь. С одной стороны — радость, что наконец уедет учиться, а с другой — тоскливо на душе, не хотелось бро-

сать мать. Да и не только ее. Аул тоже было жалко оставлять. Будет скучать он без родных гор, без Хатама. Будет тосковать без Зурет. Но ничего! Закончится учебный год, и он приедет домой на каникулы. Приедет в военной форме! И Зурет, и Хатам, и мать встретят его...

— Аскер! Ты никак уснул? Иди поешь, а потом уж и спать будешь.

— Я не хочу есть, нан.

— Как это не хочешь? — встревожилась Гуца. — Целый день работал в поле, целый день не ел. Уж не заболел ли ты?

— Здоров, нан, — и он поднялся, пошел к столу, чтобы успокоить мать.

— Как хорошо вы сделали, что сегодня пришли на кукурузу. Все были так довольны вами. И нам, матерям вашим, тоже было приятно. А потом женщины говорили о сене. Очень хвалили, что вы привезли сено одиноким старикам.

— Это не нас, а Хатама надо хвалить — он заготовил сено, он попросил лошадей в колхозе и велел нам отвезти. Ты же знала об этом. Надо было так и сказать женщинам, пусть все знают, какой Хатам.

Гуца опустила глаза:

— Знала, сынок, знала. А не сказала... подумала, о добрых делах Хатама много говорят в ауле, подумала, пусть и о вас поговорят, это вам, когда только начинается дорога ваша, очень нужно.

И замолчала мать, почувствовав свою неправоту.

— Гуца, а Гуца! — послышалось от калитки.

Мать вышла во двор:

— Заходи, Фиж, заходи. Посидим, посумерничаем.

— Не то время, Гуца, чтобы рассиживаться да сумерничать.

— Чем ты встревожена? Случилось что-нибудь? — встревожилась и Гуца.

— Разве Аскер не говорил, что их забирают в армию?

— Как ты сказала?!

— Или Сафер обманул меня? Или подшутил? Ах, негодник!

— Не обманул и не подшутил.— Аскер, услышав разговор женщин, вышел на крыльцо.— Не сердись на меня, нан. У тебя было такое хорошее настроение, я не захотел тебя расстраивать на ночь. Думал утром сказать.

Заплакала в голос Фиж:

— Несчастные мы с тобою, Гуца, разнесчастные. Заберут сыновей наших ненаглядных, и останемся мы с тобою одни-одинешеньки в холодных пустых домах...

Занемело сердце у Гуцы, но, видя, как убивалась подруга, она стала успокаивать ее и тем самым успокаивала себя:

— Полно тебе, Фиж, можно подумать, что их на смерть забирают. В Красной-то Армии они уму-разуму научатся, станут почетными людьми. Радоваться этому надо, а не плакать. Сейчас, слава Аллаху,— мирное время. Увидишь, какими славными джигитами они вернутся.

— Верно говоришь, им очень к лицу будет военная форма,— успокаиваясь, согласилась с подругой Фиж.

— Проходи, проходи в дом. Посидим, поговорим перед тем, как отправить их в дальнюю дорогу.

Аскер и радовался, и удивлялся, слушая свою мать,— он и не знал, что она такая у него мудрая и сильная. Вон как она успокаивает Фиж, вон как уговаривает. И Аскеру стало легко, будто гора с плеч.

## 14

Новобранцев провожали всем аулом. Играли на гармошках, пели песни. Парни и девушки плясали на лугу. Отцы и матери, старики и старухи проводили новобранцев до околицы и вернулись по домам, а молодежь пошла с будущими красноармейцами в райцентр.

Хатам пожал ребятам руки. С грустью и завистью сказал им:

— Вот и сбылась ваша мечта. До свиданья, не забывайте нас.

Сафера и Аскера в райцентр провожала Зурет со своими подружками. Во дворе райвоенкомата танцевали и пели, смеялись и плакали, радовались и печалились. Тут

же клялись в вечной дружбе, в любви. Клялись тайно и явно. Стыдясь своих клятв и гордясь ими.

Тут же лихо и беспощадно работали четыре парикмахера. Садился на табурет вихрастый парень, парикмахер окутывал его простыней и через несколько минут отпускал уже малость похожим на солдата. Вроде бы смешными становились остриженные ребята, но это только с первого взгляда, а присмотришься — и увидишь серьезность, которая появлялась у парней одновременно с исчезновением волос.

— Ребята,— притянув к себе Сафера и Аскера, попросила Зурет,— пожалуйста, когда вас будут стричь, возьмите по локону своих волос.

— Зачем они нам?!

— Мне,— робко прошептала она.

— А зачем они тебе? — спросил Сафер. — Вот глупая. Еще больше оробев от строгости брата, Зурет ответила:

— На память. Сохраню до вашего возвращения.

— Чудачка,— сказал Сафер,—этого добра на наших головах хватит, пожалуй, на пару чулок в зиму.

— Не говори глупостей, Сафер.

Как ни пытался Аскер остаться хоть на минутку с Зурет наедине, ему это не удалось — Сафер не отходил от них ни на шаг. Конечно, ничего он не знал о любви друга к его сестре, а поэтому никакого умысла у него не могло быть — просто так не отходил, и все тут. Незачем было отлучаться. Сказать же Саферу, попросить его отойти Аскер не мог, не хватало смелости. Да и не знал, следовало ли просить, потому что не знал, о чем говорить с Зурет, но остаться наедине хотелось. Надеялся, ждал той минуты. Ничего не получилось.

Но вот настала пора прощаться. Даже не пора, а мгновение. И Аскер запомнил его. Замедлил, почти остановил. Таким оно и осталось в его памяти, в его сердце.

...Зурет, поднявшись на цыпочки, обняла Сафера. Припала своей пунцовой щекой к щеке брата и замерла...

...Медленно опустила. Обернулась к Аскеру. Протянула руку. А в руке было колечко. Горячее колечко осталось в его руке. По ее щекам медленно-медленно текли крупные слезы. Потом Зурет стала отдаляться от

него — дальше, дальше. А глаза ее не отдалялись. В них стояли крупные слезы, а в слезах искрилось солнце. Потом Аскер много раз видел во сне и эти слезы, и эти глаза, и эти пунцовые щеки, и губы, что-то шептавшие. Все это, пожалуй, даже не снилось ему — оно просто жило в нем и время от времени давало о себе знать, как сердце, когда оно болит.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Кончался метельный февраль сорокового года.

Аскер с Сафером уже несколько месяцев были курсантами летного училища. Они недавно прислали свои фотографии и домой матерям, и лично для Зурет. Писали, что через два года будут настоящими пилотами, а сейчас идет напряженная учеба. Живется им хорошо и весело, живется очень интересно, хотя и трудно. После школьной жизни привыкать к напряженному ритму училища трудновато. Оно и видно, что трудновато, — похудели ребята. Правда, стали от этого стройнее, а в глазах появилась строгость и важность.

Гуца и Фиж, когда узнали, что их сыновья попали в летное училище, сначала очень убивались, считали, что ребята обязательно выпадут из самолетов, которые как оглашенные крутятся-вертятся в небе, или разобьются вместе с самолетами. Зурет каждый вечер рассказывала им о современных самолетах, говорила об их совершенстве и постепенно убедила матерей, что быть летчиком не более опасно, чем машинистом или шофером.

Кагазежев Касей по болезни получил отсрочку и продолжал работать лесником. Видела его несколько раз Зурет на улице. Ходил он теперь без костылей. Говорили, будто полегче у него с ногами стало, будто бы даже на свадьбах бывал и плясал лихо.

А Зурет мать еще не пускала на свадьбы. Несколько раз приходили ее приглашать, уговаривали Фиж отпустить дочь, но мать стояла на своем:

— Нет у нас в доме девушки, которая бы могла пойти на свадьбу. У нас есть девочка, школьница. Вот когда закончит она школу, тогда и приходите.

Нельзя сказать, чтобы Зурет очень хотелось побывать на свадьбе, потанцевать, но все-таки она вздыхала, слушая, как мать отказывала тем, кто пришел пригласить. Не рвалась на свадьбы Зурет, но непрочь была посмотреть на парней, которые там из обыкновенных, легкомысленных и озорных мальчишек становятся важными, недоступными — настоящими мужчинами. И на девушек посмотреть — одно заглядение. Ведь только на свадьбе, где бывают самые уважаемые люди аула, где мальчишки превращаются в мужчин, девчонки становятся девушками, невестами.

Как-то вечером Зурет пришла из школы веселая, возбужденная и сказала матери:

— Нан, у наших соседей свадьба на этой неделе!

Глянула Фиж на дочку и вдруг увидела ее уже взрослой, невестой. Удивилась Фиж. Вроде бы раньше и не замечала, как дочка выросла, как налились ее бедра, грудь, как погрустнели озорные девчоночьи глаза. Удивилась Фиж, и странные чувства охватили, смутили ее: и гордость за то, что вырастила такую красавицу, и тревожная материнская тоска — ведь не сегодня-завтра вылетит она из гнезда, уйдет в чужую семью. А будет ли там она счастлива? Как уберечь ее от бед и горечи, от палящего жара и ледяного холода? Как? Не было и нет у матерей такой возможности. Разве что не родить своих детей. Но тогда, тогда не познаешь счастья материнской радости.

— Свадьба, говорю, будет у наших соседей!

— Слышу, слышу.

— Пустишь ты меня на эту свадьбу? Ведь соседи.

Верно, соседи. Тут уж ничего не поделаешь, таков обычай — грешно не пойти к соседям. Потому люди и строят свои дома рядом, чтобы чувствовать руку, плечо соседа. Жить на земле без соседа — все равно что сидеть

в глубоком темном колодце, не уважать соседа — все равно что не уважать самого себя.

— Одной тебе еще рано ходить по свадьбам — вместе пойдем.

— Спасибо, нан! — и запрыгала на одной ноге, закружилась Зурет.

— Ты не думай, моя милая, что девушке быть на свадьбе — мед...

Фиж стала поучать дочку, как надо себя вести у людей, как беречь свое достоинство и не показаться людям высокомерной, чванливой. Трудно это — целый день до позднего вечера выстоять на ногах, все время держаться с достоинством, не горбиться, не показывать усталости, улыбаться. И свой черед надо знать девушке, терпеливо ждать, когда пригласят на танец. Будь у тебя хоть золотая звезда во лбу, жди своей очереди, не показывай своего нетерпения, не кичись своей красотой, ведь она не тобой добыта, а подарена Аллахом. Понимай это и цени.

— Дома у тебя есть зеркало, там нет его, но ты каждую минуту должна видеть себя. Всю, с ног до головы видеть и выглядеть красивой. Если тебя пригласит на танец парень, который тебе не нравится, Аллах упаси, показать свое недовольство. Ты со всеми должна быть ласковой и в то же время строгой. Внимательной, отзывчивой на слово. Отзывчивой, но не падкой на внимание... Попадется тебе парень, который плохо танцует, подари ему улыбку, скажи, что он хорошо танцует. И это будет не ложью, а добротой твоею. Особенно будь внимательна в парном танце. Когда вдвоем — ты и он. Тут уж парни начинают обхаживать, слова сладкие говорить. Держи ухо остро! Больше молчи, а то найдется какой-нибудь насмешник и опозорит тебя, употребит во зло твое неосторожное слово... А больше всего опасайся женщин. Все пожилые, у которых есть сыновья, видят в любой девушке свою невестку и потому очень придирчивы к каждому шагу, к каждому ее слову. Если не понравишься им, начнут распускать всякие слухи о тебе, чтобы опорочить в глазах своего сына. Опасны для девушек матери взрослых сыновей, а еще опаснее молодые разведенки.

Они в каждой девушке видят свою соперницу. У-у, как они зло высмеивают наивных девчонок. И все норвят перехватить самых лучших парней, сами навязываются танцевать, хотя им нельзя танцевать, потому что они разведенки, оттанцевали свое.

Чем больше слушала мать Зурет, тем больше росла в ней тревога, а свадьба, на которую ей предстояло пойти, казалась менее привлекательной и даже опасной:

— Ты знаешь, нан, не пойду я ни на какую свадьбу, пропади она пропадом.

— Верно, вот уж верно, — сторяча ответила Фиж, а потом спросила: — Почему не хочешь идти на свадьбу?

— Ты такое рассказываешь, что мне страшно... и совсем неинтересно. Лучше посижу дома, почитаю. А ты сходишь одна.

Задумалась Фиж. Пожалуй, переборщила она немного, хотя и говорила только правду.

— Страшно... Ты не должна пугаться, иначе как жить будешь? Радости не увидишь. Ты не думай о плохом, а просто знай, что оно есть, и умей обойти его или одолеть. Знай людей и умей вести себя среди них, а уметь вести себя, значит, уметь быть красивой, довольной жизнью. Надо стараться, чтобы не слепая судьба тебя по жизни вела, а разум твой, красота и доброта. Помни, как ты поведешь себя с людьми — так они и оценят тебя... А на свадьбу к соседям надо пойти. Обязательно надо.

— Мне хочется пойти, нан, но только противно, когда тебя рассматривают, будто вещь какую.

— Верно, рассматривают. А разве ты не рассматриваешь других? Разве ты не выбираешь своих подруг, друзей?

— Выбираю, но...

— Главное — понимать людей, не сердиться на них.

— Спасибо. Я постараюсь.

Зурет села за уроки, но в голову ничего не шло, все думалось о том, что говорила мать. На столе фотокарточки Сафера и Аскера. Как хотелось Зурет, чтобы сейчас рядом с нею оказался Аскер. Поговорить бы с ним, спросить, что

он думает обо всем этом? Вспомнила о письме, недавно полученном от него. В нем он рассказывал ей о своих новых товарищах, командирах и, конечно, о самолетах. Писал, с каким нетерпением ждет своего первого полета.

Зурет перечитала письмо. «Первый полет. Это все равно что первый шаг по земле, первая трудная задача по математике, физике, первая любовь. Посмотреть на Землю со стороны — значит узнать ее иной, чем знал ее до этого. Какая она со стороны, издалека? И на тебя я смотрю сейчас издалека, и ты мне кажешься совсем иной, чем я тебя знал. Какая ты издалека? Не мучайся сомнениями — хорошая. Не лучше той, которую знал я в Дагунохабле, — просто новая, вот как граненый самоцвет, когда рассматриваешь его грани. Хорошая, красивая. Когда я снова увижу тебя вблизи, увижу новую грань, новую твою красоту? И так будет вечно. Наверно, в этом секрет жизни, в ее бесконечно новых гранях».

Прочла письмо Зурет, и ей показалось, что она поговорила с Аскером, услышала его голос, увидела черные застенчивые глаза.

Уже совсем смеркалось, пора бы зажечь лампу, но Зурет сидела у окна в темноте с раскрытой книгой, между страниц которой лежало письмо Аскера.

— Зажгла бы лампу, — сказала мать, — а то глаза испортишь.

В дверь постучали.

В комнату вошли девушки с парнем.

— Вы посмотрите! — вскричал длинноносый парень, — там уже свадьба начинается, а они сидят здесь в темноте и в ус не дуют! Фиж, мы пришли за вами. Соседи будут очень рады, если ты почтишь их своим вниманием, а Зурет украсит свадьбу.

Как велит обычай, Фиж опустила глаза, пожала плечами и негромко сказала:

— Вот только что свадьба у соседей, а иначе... у нас вроде бы и девушки еще такой нет, чтобы идти на свадьбу, но разделить радость с нашими добрыми соседями сам Аллах велел. Одевайся, Зурет.

Зурет, забыв о наставлениях матери, радостно взвизгнула и убежала в свою комнату одеваться. Там уже и платье было отглажено, и туфли начищены, и ленты приготовлены для прически, и серьги лежали на столе.

Вышла празднично одетая дочь, Фиж так и ахнула: знала, что Зурет красивая, что взрослая, но что она такая... что заневестилась уже, что так мало времени осталось до их разлуки, не думала.

И парень смотрел во все глаза на Зурет, и девушки завздыхали от зависти.

Фиж заметила это и подумала: ох уж эти женщины, до чего они все одинаковы. Во все времена одинаковы. И она, Фиж, была точно такой же.

— Сынок, — сказала Фиж парню, — пусть Зурет пойдет с вами. Берегите ее, не давайте в обиду, ведь она еще ничего не знает. Это ее первая свадьба.

А парень все смотрел и смотрел на Зурет, на просьбу Фиж ответил не сразу. Покраснел он, засмутился:

— Не беспокойся, мы позаботимся о ней. Я никому не дам ее в обиду... Мы... никому не позволим...

Заулыбалась понимающе Фиж:

— Спасибо, спасибо, сынок. Идите, благослови вас Аллах. Я по хозяйству управлюсь и тоже приду. Обязательно приду...

...Свадьба всегда хороша, а зимой — особенно. Закрома в ауле полны доброго зерна, погреба — овощей, а в хлевах — сытый скот, откормленная птица. Зимой некуда особенно торопиться крестьянину, зимой он копит силу для грядущей хмельной весны, знойного лета и могучей в своей щедрости осени. Копит силы, отдыхает. Ломится яствами свадебный стол зимой. Песни зимой поются веселее, а пляски своим зноем под стать самому жаркому лету. И людно на зимних свадьбах — весь аул сходится. В доме — тесно, во дворе — тесно, на улице — тесно! Вот сколько народу собирается на каждую свадьбу.

Управилась с делами Фиж и пошла к соседям. С трудом пробилась между плясавшими во дворе, с трудом протиснулась в сени и уж думала повернуть назад, потому что никак не пройти в комнату, да заметила ее Кутас:

— Проходи, проходи, милая. Посторонитесь, люди, пропустите Фиж. Вот сюда становись. Отсюда хорошо видно... Ты посмотри, кто там танцует! Ах, какая пара! Да есть ли кто-нибудь лучше них. На всей земле нет красивее. Посмотри!

Фиж поднялась на табуретку и увидела танцующих Касея и Зурет...

## 2

С утра казалось, что день будет теплее вчерашнего, но внезапно сорвавшийся с гор ветер принес слякотную непогодь. Дороги замаслились, заблестели гололедицей.

Стало неудобно в ауле. На улицах почти нет никого — разве что по делу пробежит кто-нибудь, кутаясь в платок или в полы пальто. Даже у магазина, где обычно бывает много народу, — пустынно.

Касей накормил Гнедого, корову, напоил их и теперь управлялся во дворе — складывал в поленницу дрова. Работал и все думал о Зурет. Что ж ему так не везет, как быть ему, какие силы призвать, чтобы умиловить Зурет, ее нрав, какими словами или делами пробудить ее любовь к нему? Не надо было в прошлом году соваться к ней с глупой запиской. Тогда Касею думалось: его откровенное признание тронет ее сердце, вызовет в нем ответную любовь, а получилось... пустил он свою любовь по ветру, как пустила Зурет по ветру изорванную в клочья его записку. Видно, правду говорят: не схитришь — не проживешь. Ах, как Зурет танцевала с ним на свадьбе! У него кружилась голова, темнело в глазах от счастья. Какая же у нее мягкая и теплая рука, а глаза так и светятся. Он танцевал бы с ней весь вечер, но, поди ж ты, дурацкий порядок: Касей не волен танцевать, с кем хочет. Только два танца ему с нею и достались.

— Эй, ты что делаешь, Касей, в такую дурацкую погоду во дворе? — спросила Кутас, закрывая за собой калитку. — Или в тепле надоело сидеть?

— Надоело, — сердито буркнул Касей, обидевшись на Кутас за то, что она оборвала его мысли.

— Ты будто не рад видеть свою тетку. Не сердись на меня, ведь так тебе добра никто на всей земле не пожелает. Ваши дома?

— Отец в лесу, а мать дома.

«Ишь ты, — отец, мать, а не папа и мама говорит. Взрослый уже. Меня стесняется, глупенький... Если б ты знал, чем я занята сейчас, носил бы меня на руках. Глупенький. Скоро все узнаешь, потерпи».

Кутас вошла в дом. На лежанке сладко спал белый пушистый кот. Вкусно пахло жареным мясом.

Лифаф сидела у печки, перебирала шерсть. Увидела сестру, обрадовалась ей:

— И молодец же ты, Кутас, что пришла. Такая дрянная погода. Ветер до того противно воет в трубе, просто места себе не нахожу.

— Взяла бы и пришла ко мне, раз нехорошо на душе. Не наудивляюсь на тебя — в молодости была такой непоседой, а теперь будто скисла. Не рано ли поддаешься годам?

— Я им не поддаюсь, а они одолевают-таки. Ты вот — молодец. Ничего тебя не берет. Молодец. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Присаживайся, поговорим. О новостях расскажешь.

— Спасибо тебе на добром слове, сестра. Хоть и моложе я, а тоже иногда чувствую свои годочки. Тяжесть их чувствую. А вот весна подойдет, выедут трактористы в поле, намотаюсь я с ними — и еду им приготовь, и водой напои, и газеты свежие привези. Хорошо тебе — в колхоз не ходить, а я уже устаю от него. Ну, да ладно! Чего-то я тоже кваситься начинаю.

Повздыхали сестры, поговорили о том, о сем, а в общем-то ни о чем.

Ждала Лифаф главного разговора, ведь не пришла же Кутас просто так, от скуки.

И сестра заговорила:

— В ауле только и разговора о последней свадьбе. Правду сказать, не о свадьбе, а о невесте Касея.

— О какой еще невесте, что ты говоришь? — удивилась не на шутку Лифаф.

Усмехнулась Кутас.

— Это я так ее называю.

— Кого ее? Да перестань ты говорить загадками!

— Касей на свадьбе танцевал с Нарыновой Зурет. Ты бы посмотрела, что это за пара была!..

— Давненько я не видела Зурет. Неужели она так выросла?

— Невеста, настоящая невеста.

— Да-а... красивее женщин Нарыновых нет в ауле. Это верно. И Зурет тоже в их породу пошла?

— Она лучше всех Нарыновых.

Ежась от холода, потирая руки, вошел Касей.

Женщины умолкли. А чтобы он не догадался, что они говорили о нем, мать спросила:

— Замерз, сынок?

— Ветер шальной, а так день был бы хороший. Замерз я немного. Да и дело закончил во дворе, поэтому и пришел.

— Проходи к печке, сынок, погрейся. Совсем заочечел ты.

— Лифаф, чего ты его тащишь к печке? Разве он не мужчина? Не делай из него старую бабу. Там и холода-то никакого нет, — рассердилась Кутас, что Касей помешал такому важному разговору.

А он таки догадался, что помешал им. И любопытно ему стало: какую секретную новость принесла тетка? Видно, касается эта новость его. Может быть, о Зурет говорили? Отошел к печке, вытянул руки над раскаленной докрасна плитой, ждал, может быть, заговорят?

— Шел бы ты, сын, в свою комнату. Иди. Полежи, отдохни, — сказала, сгорая от нетерпения, мать.

— Иди, иди, милый племянничек, — поддакнула Кутас, — чего тебе сидеть тут со старыми бабами.

— Ой, тетя, — подмигнул Касей, — что за секреты у вас появились, чего прячетесь от меня?

Кутас тоже подмигнула ему:

— Иди, иди. Много будешь знать, скоро состаришься.

Ушел Касей в свою комнату, но дверь закрыл неплотно.

— Еще я тебе вот что должна сказать, — таинственно зашептала Кутас, — все парни увивались за нею. Все наперебой. Но и за Касеем, за Касеем нашим — очередь. Свалка девчат! Бессовестные, прямо поедали его глазами. А кому доставалось с ним танцевать, не просто таяли... Да что девчата — женщины пожилые и те любовались им. Любовались — и все ко мне, и все ко мне, мол, какой у тебя племянник, мол, не собираетесь ли женить его. Не собираемся, отрезала я им всем. Куда суются! Ему одна Зурет под стать. Верно тебе говорю.

— Ну, а она-то, Зурет, как к нему относились? Нравится ли он ей?

— Нравится, нравится. Верно говорю тебе. Виду не подавала, как и полагается скромной девушке, но я видела, какие огненные взгляды она метала на него тайком. У-у-у, какие взгляды!

— Пусть Аллах твоими устами говорит, сестра. Ты знаешь, как мы любим своего единственного сына. Ради него только и живем. Он — наша радость, печаль наша, — запела Лифаф. — Дом наш уважаемый не только в ауле, но и в районе. Хаджимос, слава Аллаху, хозяин крепкий, человек почитаемый, при хорошей должности. Думаешь, в ауле не знают это, думаешь, мало таких, кто хотел бы с нами породниться? Всем дорого родство и дружба с нами. Разве одному дураку Хатаму не нравимся. Так и плевать нам на него. Семь раз наплевать и забыть... Правда, Рауковы, наверно, тоже недовольны. Воры всегда недовольны честными людьми, это из века в век так ведется. Пусть Рауковы еще спасибо скажут за доброту Хаджимоса, а то закатали бы их в тюрьму за государственное добро...

— Верно, верно, сестра. А разве Касей не такой же добытчик, как его отец? Разве не лесник он? Верно, сестра, кто не уважает Кагазежевых, тому нечего делать в Дагунохабле.

Касей слышал разговор через приоткрытую дверь и был несказанно рад. Наверно, он и в самом деле на свадьбе выглядел очень красивым. Конечно, со стороны-то виднее. Да и не станет же родная тетка врать.

Вот только насчет Зурет у него было сомнение. Кутас говорила, будто девушка... метала в него огненные взгляды, но он что-то не заметил этого огня. Опять же, как сказать, — со стороны виднее. Да кто старую Кутас проведет, тот и дня не проживет!

Точно, точно — равнодушна к нему Зурет, но робеет. И как не робеть? Ведь он, парень, и то, вместо того чтобы во время танца сказать что-нибудь ласковое, стал расспрашивать о Сафере, как там ему служится. Дурак, дурак набитый. А потом заговорил об Аскере. Вот уж не надо было. Именно в это самое время как-то странно взглянула на него Зурет. Возможно, этот момент и засекала Кутас?

А тетка между тем все нашептывала матери:

— Если бы ты видела, как на меня смотрела Фиж, как ей хотелось заговорить со мной, сказать мне что-нибудь приятное. Думала, наверное, задобрить меня — как-никак я тебе сестра, могу за нее и за Зурет словечко доброе замолвить. Я по глазам ее видела, очень ей хотелось бы назвать Касея своим зятем... Я не сказала ей ничего определенного, но... так... пусть надеется, пусть сама ищет дорогу в ваш дом. Верно я поступила, сестра?

— Так, так. Спасибо тебе, Кутас. Ты добрая тетка своему племяннику. Касей этого не забудет.

За разговором женщины не услышали, как подъехал Хаджимос, как он открывал ворота. Услышали только, когда вошел в комнату.

— Или в доме никого живого нет? — сердито спросил он. — Все болтаете, болтаете! И когда вы только мозоли на своих длинных языках набьете? В ауле немного потише станет.

Хаджимос любил, чтобы его встречали у ворот, а тут вдруг такое безобразие — самому пришлось и открывать ворота, и закрывать.

Навстречу отцу вышел Касей:

— Раздевайся, тат, я сам пойду управлю коня.

— Иди. Да ребяташек прогони от двора прочь — устроили там по гололедке катание. Поразбивают себе носы или ноги поломают, разговор пойдет по аулу — у дома

Кагазежевых беда приключилась. Гони их, пусть идут в другое место. А чтоб не катались, посыпь лед золой.

### 3

Председатель колхоза Жечаго Пшикан давно собирался повидаться с Хаджимосом, да все недосуг было, но сегодня решил обязательно заехать к нему.

День клонился к вечеру. И луг, одетый снегом, и заиндевший лес на горе, и одинокие скирды соломы на полях, и трактора, стоявшие рядами у бригадного домика, — все уже было отмечено печалью угасавшего за тучами солнца. Ветер трепал концы башлыка, трепал заиндевшую гриву коня. Разлетались полы бурки, как крылья большой серой птицы. Хорошей рысью он прошелся логом, потом шагом поднялся на косогор. Отсюда весь аул был хорошо виден — как на ладони. Дружно дымились трубы — это хозяйки затопили печи, готовят ужин. Из одних труб валил дым клубами — значит, топили сырыми дровами, значит, не сумели вовремя напилить, наколоть, сложить в поленницы, просушить на ветерке. А вот над другими дым быстрый и легкий — печи топились соломой.

Над домом Хаджимоса стоял не дым, а горячее марево. Конечно, там топили сухими дубовыми дровами. Что ж, лесник. У него дров заготовлено года на три. Своя рука владыка. И у Пшикана тоже вроде бы своя рука владыка. Мог бы навозить и сена скоту своему, и соломы для топки. Не навозил: то, что лежит на колхозном поле — общественное, а не его личное. У него скорее руки отсохнут, чем он тронет хоть былинку чужую. Отец ему говаривал: чужим добром голод не утолишь, только пасть станет шире и ненасытней, а потом тебя и вовсе перекусоротит.

Конечно, надо бы с осени побольше заготовить дров, да все недосуг за делами. Колхоз в ДагунохABLE существовал немного больше десятка лет. Можно сказать — ребенок, за которым нужен глаз да глаз. Разве то, что складывалось в крестьянских умах и сердцах на протяжении веков, сломаешь за такой короткий срок. Да сломать-то, наверно, не очень трудно, а вот вместо него новое создать куда труднее.

Созданием этого нового и заняты коммунисты колхоза, умные, дальновидные крестьяне. Потому-то у них и не остается времени для своего дома. Ничего, все образуется. Жечаго уже выписал дрова. Сегодня заедет к Хаджимосу, получит разрешение и завтра перевезет их домой — топи на здоровье, грейся!

Постоял Жечаго на пригорке, полюбовался аулом и повернул к овчарне Хатама. У того тоже печь топилась — дымок жиденский, с искрами, наверно, отходами сена и соломы топил. Тоже из тех, кто о себе не успевает позаботиться.

Дал шпоры коню Жечаго и вскоре прискакал к воротам овчарни. Навстречу ему вышел Хатам. Как и полагается встречать гостя, взял коня за повод, придержал стремя:

— Видел я, как ты выезжал в поле, и подумал: давно Жечаго не проводывал меня, сегодня должен бы захватить. Вот и заехал. Спасибо.

Спешился Жечаго, привязал к изгороди коня:

— Как живется-может, дружище, не замерзаешь ли в своей халупе?

— Она у меня хоть и халупа, но теплая. Надежная хатенка. Охачку соломы сожгу — и тепло.

Принес Хатам охачку сена коню.

— Валлахи, я не собираюсь у тебя долго засиживаться — дел у меня сегодня по горло, надо поторапливаться.

— И поторапливайся. Но раз уж заехал, зайди, окажи честь. Обогреешься, словом перемолвимся, а конь пусть сенцом похрустит, пусть полакомится — сено у меня доброе.

В комнатухе Жечаго увидел небольшое зеркало, висевшее на стене, и удивился — ведь Хатам терпеть не мог зеркал, наверно, из-за своего косоглазия...

В прошлом году летом он пришел к Жечаго и попросил:

— Побрей мне голову. Пошел я в парикмахерскую, а там тьма народу. Побрей, тороплюсь очень.

— Садись, — сказал Жечаго. Взбил мыло, навел на ремне бритву, накинул полотенце на плечи Хатаму. Откуда

ни возмись, жена Мамырхан подошла, зеркало подает Хатаму, мол, смотреться будешь в него.

Вскочил чабан, от обиды налился багрянцем и ушел.

Потом Жечаго неделю уговаривал Хатама не сердиться на Мамырхан: она ведь от доброты своей, совсем не хотела обижать друга дома.

А теперь вот, поди ж ты, на стене висело новенькое зеркало в лаковой раме. Как тут не удивиться!

Удивился Жечаго, но не подал виду, чтобы опять не обидеть чабана из-за дьявольского зеркала.

Хатам поставил на стол жаровню с мясом, кукурузные лепешки, молоко:

— Поешь горячего мяса, молочка испей. Подкрепишься немного, а то ведь как уехал утром из дома, наверно, ничего не ел до сей поры.

— Не ел. На морозе проголодался, так что мясо твое в самый нужный момент подоспело.

Ел Жечаго, посматривал на Хатама и вроде бы не узнавал его — посвежел он, радостный какой-то... Вот только зарос. Побрить бы — и совсем жених.

Гудел ветер за окном, гудел в печи.

— Хатам, есть у тебя горячая вода?

— Если надо, будет. Зачем она тебе?

— Согрей кружечку. Хочу побрить тебя.

— Валлахи, я сам хотел тебя просить об этом. Ты хорошо умеешь брить. Прямо-таки мастер. Даже моя бритвешка в твоих руках огневой становится.

Быстро вскипела вода на раскаленной плите. Ловко побрил Жечаго своего друга и, когда тот, стоя перед зеркалом, одеконился, сказал:

— Орел, прямо орел! Не кажется ли тебе, что пришла пора жениться?.. Ну, чего молчишь? Или до сих пор не присмотрел невесту?

Засмутился Хатам, покраснел:

— Прошу тебя, не говори со мной об этом, какая там еще женитьба.

— А мне показалось...

— Зря показалось.

— Ты сегодня такой праздничный, я даже позавидовал тебе.

— Праздничный,— с грустью подтвердил Хатам, но больше ничего не сказал.

— Не крути, Хатам, все равно женим. Сами выберем невесту — самую красивую девушку,— привезем в твою халупу, сыграем свадьбу, а там как знаешь. А потом построим тебе всем колхозом хороший дом. У старых верб над рекою, чтобы вам пели соловьи, чтобы дети веселые были.

Замахал руками Хатам, закрыл уши ладонями.

— Спасибо за хлеб-соль, за тепло, пора мне и двигаться.

Провожать Жечаго Хатам вышел в одной рубашке, без папахи. Он смотрел вслед уносившемуся к аулу всаднику и о чем-то напряженно думал: то хмурились его густые брови, то поднимались, и лицо озарялось робкой улыбкой, будто виделось Хатаму нечто радостное, но верилось и не верилось, что радость та ему достанется.

Жечаго, плотно пообедав у Хатама, решил домой не заезжать, а поискать Хаджимоса. Домой надо бы к нему податься, но дело-то уже к вечеру, значит, лесник мог из лесу заехать в дежурку на конюшню. Туда зимой, прежде чем отправиться с работы домой, заходят посидеть мужчины. Так бывает в холодные дни, когда у магазина долго не постоишь. А в конюшне-то тепло и даже по-своему уютно — пахнет лошадьми, слышно их ржание. Там рады каждому, кто туда ни заглянет.

Посиживают в конюшне мужчины и судачат не хуже женщин — все переберут, от аульских сплетен до мировых проблем. Поговорят о боях в Африке, с состраданием вспомнят разбитую и покоренную фашистами Францию. И о ценах на базаре в станице не забудут, и, конечно, доброе старое время, когда молодежь была лучше сегодняшней, почтительнее относилась к старшим.

В конюшне Хаджимоса не оказалось. Сказали, что заглядывал на минуту и уехал. Мол, сердитый какой-то приехал из лесу Кагазежев. Может, не удалось поймать вора или не удалось обтяпать выгодное дельце — на то он и лесник, чтобы каждый день в дом свежую копейку нести.

Он, как пчела, без взятка домой не возвращается. Вот только взятков у них с пчелой совсем разный. Пчелиный пахнет хорошо, а Кагазежева смердит.

Поскакал Жечаго к дому Кагазежевых. У калитки, не слезая с коня, кликнул:

— Хаджимос, а Хаджимос!

На крыльце показался Касей:

— Добро пожаловать, Жечаго. Раз приехал, грешно в дом не зайти.

— Спасибо, но зайти не могу, очень тороплюсь. У меня небольшое дело к отцу, дома он?

Ответил сам Хаджимос, показавшийся на крыльце:

— Дома. Валлахи, Жечаго, ты такой редкий гость на нашей улице, что тебе грешно было бы не зайти ко мне.

Спешился Жечаго — неудобно со старшим по возрасту разговаривать, сидя на коне, смотреть на него сверху вниз.

— Мир дому твоему, Хаджимос. Извини, пожалуйста, но заходить мне некогда. Не обессудь. Я выписал немного дров, хочу завтра вывезти. Вот и пожаловал к тебе — укажи, где взять можно.

Подав Жечаго леснику бумагу, но тот не стал смотреть в нее, не стал читать: ему неприятно было, что гость все-таки не зашел в дом, разговаривает с хозяином у ворот. Нехорошо это, люди могут увидеть.

— Смотрю я на тебя, Жечаго, и удивляюсь,— сквозь зубы процедил Хаджимос,— человек ты умный, а вот не сообразил, что мы с тобой могли обойтись и без конторы. Человек ты у нас в ауле уважаемый, председатель, мог бы ко мне и запросто прийти. Я бы тебе безо всякого выделил лучшую делянку. Стоило ехать из-за такой мелочи в лесхоз.

— Нет, это не мелочь, Хаджимос,— сухо ответил ему Жечаго,— и ты это знаешь лучше меня. Ведь тебе государство доверило свое богатство, чтобы ты его охранял, а не раздаривал друзьям, уважаемым людям аула.

— А-а-а, вон ты как, спасибо за добрую науку,— не без яда сказал Хаджимос,— большое спасибо, в долгу не останусь.

Жечаго будто не понял угрозы Кагазежева, улыбнулся ему:

— Всегда рад помочь добрым словом хорошему человеку... И ты, Касей, учись у отца мудрости, пригодится.

Ух, как рассвирепел Хаджимос — скрипнул зубами, криво усмехнулся:

— Спасибо, товарищ начальник, мой сын всегда следует мудрым советам... Завтра утречком приезжай к Чертовой яме и получишь сполна выписанные дрова.

#### 4

Хаджимос смотрел вслед удалявшемуся всаднику, а Касей смотрел на отца, ждал: ему было любопытно, как отец истолкует поступок Жечаго, как оценит его.

— Шпана голозадая, а мнит себя большим человеком. В какую-то глупую честность играет.

— Может быть, он и в самом деле честен? — робко спросил Касей.

— Знаем мы этих честных. Дурак он! В зиму остаться без дров — кому для этого ума не хватит. Дурак!.. Сами унижаются из-за мелочей вот такие умники и других унижают. Все превращают в милостыню — и слово, и дело!

Зло и громко сказал эти слова Хаджимос и спохватился: ведь на улице он, не услышал бы кто.

Огляделся. Тихо, пустынно кругом. Черные, мохнатые тучи нависли над аулом в темном вечернем небе. Луна уже взошла — ее свет с трудом пробивался сквозь тучи. Тихо в ауле — кто управляется со скотиной, кто ужинает, а кто и спать уже лег.

Успокоился Хаджимос, вздохнул облегченно.

— Скотину накормил? — спросил у сына.

— Нет еще.

— Пойдем вместе. Я управлю лошадь, а ты иди в коровник. Овцам дай сена, пусть ночью побалуются.

Накормили скотину.

Вышли во двор, сели на скамейку.

Жалобно посвистывал ветер в ветках старого дерева. Тучи на низком небе стали редеть, образуя светлые, освещенные луной поля.

Отдыхали отец с сыном.

Хаджимос почему-то вдруг задумался над словами Касея, сказанными о Жечаго: может быть, он и в самом деле честен? Глупость это, а не честность. Многие приходят к Хаджимосу и договариваются о дровах без конторы, а раз многие, то и правда на их стороне. Просто Жечаго куражится, как и Хатам, с которым они очень дружны. Надо бы, надо их обоих прижать как-нибудь к ногтю, но не найдешь повода. Живут так, будто ничего им не надо, совсем не думают о своем доме. Но вечно так длиться это не может, все равно выявится наружу их сущность, покажут и они свои зубки — чего-нибудь-то ведь хотят они от жизни, стремятся к чему-нибудь. Просто умеют Хатам и Жечаго прятать хорошенько свои честолюбивые намерения. Но ничего, Хаджимос тоже не носом воду пьет, дождется и он своего часа, посмеется и над Хатамом, и над Жечаго... Надо не лениться и попристальнее смотреть за Жечаго. Хатам — тот гол как сокол, ему ничего не надо, да и взять негде, а под досмотром Жечаго все хозяйство колхоза. Вот только поясница у Хаджимоса стала пошаливать, стала чувствовать дурную погоду. Видно, сказываются годы. Все приходят в подлунный мир и уходят из него... Надо новую ограду поставить на семейном кладбище Кагазежевых. Дубовую надо, дуб получше других с временем справляется.

Подумал так Хаджимос, а вслух сказал:

— Ты, сын, не ссорься с Жечаго — он умный, хитрый и сильный. Тебе с ним не справиться. Будь с ним добрее, почтительнее. Даже на меня немножко поворчи. А главное — смотри за ним, за каждым его шагом. И если у тебя появится возможность укусить его — не торопись. Отойди еще раз в сторонку, еще раз внимательнее посмотри, проверь свою силу и только тогда бери. За глотку, мертвой хваткой. Не дай бог выпустишь или неверный удар нанесешь, тогда уж сам пропал. Жечаго сильный и мстительный.

Встал Хаджимос и ушел в дом, не позвав сына: пусть посидит один, пусть подумает над словами отца.

Думал Касей — тревожно и пытливо. Он знал Жечаго как доброго и честного человека. Больше полугода он работает в лесу и ни разу не сталкивался с Жечаго, ничего подозрительного не замечал. Бывал и у него во дворе, и у его родственников — ничего, не видел там тайком привезенного из леса. Не слышал, чтобы люди о нем говорили худо, а уж от людей ничего не утаишь: былинку чужую тронешь — скажут, бревно уволок. Что у Жечаго с отцом? На чем они не сошлись?

Сидел Касей, пока совсем не окоченел на ветру. Пошел в дом. Забрался под теплое одеяло и тут же уснул.

Лифаф тоже спала крепко — наработалась за день, намерзлась.

А Хаджимосу не спалось — не улеглась обида, которую нанес ему Жечаго.

А все проклятый Хатам. Из-за него Хаджимос и поссорился с Жечаго первый раз, хотя ему это совсем не на руку было. Только дурак ссорится с сильным и умным человеком.

Правда, недолго у них были натянутые отношения. Все как-то смягчилось само собой. Встречались они потом вместе и на свадьбах, и на похоронах, сживали у магазина, в дежурке на конюшне и всюду мирно, уважительно беседовали. Даже когда осенью Жечаго отобрал у Лифаф кукурузу, Хаджимос не обиделся на него. Больше того, говорил людям, де, вот честный человек Жечаго, вот настоящий радатель общественного добра... А сегодня вон что случилось. Старый он дуралей, не сдержался и выдал себя.

Коммунисты — их-то как раз и не мог терпеть Хаджимос, их считал виновными во всех своих неудачах. Если бы не они, был бы Кагазежев настоящим хозяином, не прятал бы от людей свою силу, свое богатство. Не сдержался, не сдержался, старый дуралей, как бы не пришлось ему жестоко расплачиваться за эту оплошность.

— Ты что, старик, не спишь? Чем обеспокоен, а?

Это проснулась Лифаф, это она спросила мужа.

Он промолчал.

— Спи, спи спокойно. Все у нас есть, все хорошо, значит, и нечего тревожиться по ночам разными думами.

— Э, старуха, один только вол не мучает себя думами. Если бы у меня было четыре ноги, обутое в копыта, я бы тоже, наверно, не думал ни о чем, не мучился. Жевал бы сено и жевал, — проворчал Хаджимос и поднялся с постели. Накинул на плечи тулуп, вышел во двор.

Похрустывала сеном скотина в хлеву.

Ветром наконец разогнало тучи — на чистом небе горели яркие звезды. Такие яркие, словно их ветер раздул, как угли в горне. Яркая луна уже клонилась к своему пределу, и потому была печальной. Ведь закат всегда и у всех печален.

Побродил Хаджимос по двору, повздыхал и вернулся в дом.

— Может, у тебя желудок от тыквы расстроился? — спросила Лифаф.

— Нет, — буркнул старик, — скотину ходил смотреть. Да и время уже вставать. Скоро шесть — звезды показывают. Он зажег лампу.

— Чего ты так рано встаешь, или дело какое? — забеспокоилась Лифаф.

— Жечаго за дровами к Чертовой яме утром приедет. Лучше я его там подожду, чем он меня станет ждать.

— Если так, то и мне надо вставать. Сейчас я тебе чайку согрею, приготовлю поесть.

— Не надо. Ничего не надо.

Но Лифаф уже встала, разожгла огонь в печи.

— Как же без горячего в лес ехать?.. Касей, а Касей! Вставай, сынок, время уже.

— Зачем ты его будишь, пусть поспит, — недовольно сказал Хаджимос.

— Молчи, старик. Пусть встает, запрягает коня. Если отец встал, сыну грешно нежиться в постели. Пусть встает, пусть берет пример с родителей.

Вот и прикрикнула жена на Хаджимосу, а ему было приятно от этого. Прикрикнула из уважения к нему же, вроде бы поклонилась, ласковое слово сказала.

— Касей, а Касей! — опять позвала Лифаф. Заглянула в комнату сына и не нашла его там. — Куда же ты девался, сын?

— Здесь я, — сказал Касей, входя в комнату со двора. — Я уже запряг сани, тат, — тебе же рано сегодня ехать.

Довольны родители сыном. И настроение у них стало хорошим.

Все трое напились крепкого калмыцкого чая с сыром. Когда поднимались из-за стола, Лифаф сказала мужу:

— Знаю, почему ты плохо спал. Догадалась... Не трогай ты этого... Будь с ним помягче — это нам только на пользу пойдет.

В другой раз Хаджимос оборвал бы жену, сказал бы, не твое это дело, не суй свой нос и всякое такое, но сегодня не хотелось: он был доволен сыном, женою, а потому даже как-то ласково сказал:

— Уж больно он чистенький. Даже противно, какой чистенький. Но я постараюсь, буду ласковым...

— Вот и хорошо. Пусть, пусть он покуражится. Аллах все видит, Он все припомнит безбожникам, которые прикидываются ангелами и тем самым кощунствуют, попирают Его святое имя.

— Правда твоя, старуха. И сына нашего убеждай в этом, чтобы умел истинное добро отличать от ложного, истинную честность от ложной.

— Так, так, Хаджимос. Наш сын слушает нас, слава Аллаху, понимает нас. Верно я говорю, Касей?

— Верно, нан.

Выезжая со двора, Хаджимос распорядился:

— Ты тоже долго не засиживайся дома, Касей. В лес, в лес — там твое место. Чем больше будешь видеть, тем легче будет тебе. Смотри за всем, зорче смотри... Ты, старуха, зажарь на обед курочку. Соскучился я что-то по белому мясу. Да приправу к ней сделай пожарче, не жалей перца. Зимой надо хорошенько прогреть себя.

Жечаго тоже поднимался с постели по-крестьянски затемно, а сегодня и того раньше встал — знал, что Хаджи-

мос чуть свет будет в лесу, — обязательно захочет его, председателя, опередить.

— Не рано ты? — спросила Мамырхан. — Может, время спутал?

— Не спутал. Хочу пораньше быть в лесу. Да и боюсь, как бы ездовой не проспал, надо вовремя разбудить его. Приготовь чего-нибудь горячего, а я пойду на конюшню. Заедем и позавтракаем вместе с ездовым.

Уже светилось окно у Хатама. А это еще у кого там огонек? А-а, у Хаджимоса. Вот и хорошо, вот и поговорят в лесу. Зря он вчера рассердился на старика. Не надо размениваться на мелочи, суетиться не надо. Не к лицу председателю суетиться.

## 5

Еще лежит в оврагах и в лесных чащах посеревший снег. По утрам еще хрустит примороженная ночью земля, лужицы покрыты звонким ледком. А на пригорках уже зазеленела первая травка. Расцвели на косогорах с солнечной стороны пролески и подснежники. Во дворах по-весеннему повеселевшие куры, чуть поднимется солнце, копались в мягкой и теплой земле. Рассыпали колокольцами свои весенние песни синицы. Чистили и заново благоустраивали жилища скворцы.

Спится в это время года как ни в какое другое.

Сладко спал в то утро и Касей. Отец давным-давно уехал в лес, мать, управившись по хозяйству, ушла по делам к Кутас. Увидела, как сладко спал сын, и не стала его будить: «Пусть поспит сегодня, весною по утрам Аллах посылает молодым счастье, сны бывают вещими».

Солнце выглянуло из-за занавески, и от его тепла выступил пот на лбу у Касея. Щекотало его солнце, а он все не просыпался. Но вот загорланил хрипатым басом старый петух, и Касей вскочил. Не мог понять, где он находится, а потом понял — дома.

И засмеялся.

Сон ему снился: они с Зурет танцевали на чьей-то свадьбе. Так ловко танцевали, словно парили в воздухе.

И музыка была такая веселая. Но главное не в этом. Они договорились с Зурет, что вот после этого танца убегут со свадьбы и станут мужем и женой. Друзья ждали их на вороних конях, чтобы умчаться в горы...

Но вот он — чертов петух — заорал во всю глотку и разбудил Касея — разогнал свадьбу. Зурет тоже растаяла... Надо бы зайти вечером к ней. Каждый день он собирается, а вечером — куда что девается. Начинает думать о том, какие ей слова скажет, — все складно получается. Но только представит ее ответ — и мороз по коже.

Другие парни, случалось, не один раз с носом оставались, но это их не обескураживало, они все обращали в шутку. А Касею казалось, если Зурет ему откажет, то он и жить на земле не сможет, тогда хоть в пропасть головой.

Сегодня Касей твердо решил пойти в дом Нарыновых. Сегодня или никогда.

Он быстро вскочил с постели, умылся над тазиком, приготовленным матерью, и, шумно потягиваясь, вышел на крыльцо.

Увидела его Лифаф, улыбнулась и спросила с веселой усмешкой:

— Ты никак заболел, сын?

— Нет. Здоров.

— Заболел, вижу, заболел весенней болезнью. Это хорошая болезнь. Взглянула утром я на тебя и решила — пускай отец меня поругает, а не стану будить. Весенний сон дух человека укрепляет.

Только в полдень выбрался Касей из дома и направился в лес — на работу.

Гнедой взял легкую рысь и пошел известной ему дорогой, мимо дома Нарыновых, но Касей сдержал его и повернул на главную улицу. Решил, что нехорошо так часто показываться перед окнами Зурет. И люди могут плохо о нем подумать: дескать, нет у него самолюбия, мужской гордости, да и девушке нельзя показывать всего себя. Увидит она его слабость и посмеется над ним.

Правда, в последнее время, как Касею казалось, Зурет стала к нему приветливей, а несколько дней назад взглянула на него даже с какой-то робостью. Как он обрадовался

этому — наконец она увидела в нем сильного, волевого мужчину. А вдруг это только показалось ему? Вдруг она встретит его со сватами булыжником?

Нет, такого быть не может, Зурет добрая девушка — даже если и откажет, постарается сделать это не обидно. Но лучше не думать об отказе. И вообще хватит об этом! Что там у кузницы? Вызванивают свои песни кузнецы, им вторят молотобойцы. Подъезжают и отъезжают подводы, гудят трактора. Тут же куют летней ковкой лошадей.

Весна.

Трактористы готовятся к выезду в поле. Ходят вокруг своих машин какие-то торжественные и важные. Еще бы — механизаторы, хлеботорбы двадцатого века. Они и зарабатывают побольше любого колхозника и уважение к ним особое, ведь каждый из них со своей машиной работает, считай, за десятерых. Делает самое трудное.

Позавидовал им Касей, позавидовал, что они все вместе, что весело им, а ему вот надо идти в лес и бродить там бирюком целый день... Нет-нет, нечего им завидовать. Вот как выедут в поле и будут до самой глубокой осени мокнуть под дождями, будут их сечь злые ветры, жарить немилосердное солнце. Да пыль, да грязь! Соляркой и автолом настолько пропахнут за лето, что за всю зиму не отмоются. А Касей на своем Гнедом в это время будет прогуливаться по тенистому лесу, слушать веселое пение птиц. А то и вовсе завалится спать на лужке среди душистых трав и цветов!

Миновал Касей кузницу и увидел Хатама. В длинном тулупе, с вилами на плече, он шел от магазина.

Остановился Касей — не хотелось ему встречаться с чабаном. Но что делать? Свернуть в переулок? Хатам может подумать, будто Касей испугался его. Как бы не так: у того вилы на плече, а у Касея за спиной берданка, заряженная жаканом. Кагазежевы не из трусливого десятка, они не привыкли прятаться, не привыкли и дорогу уступать. Касей тоже так поступит — не свернет с дороги, пройдет мимо чабана, будет смотреть в другую сторону.

И все-таки не удержался Касей, кинул взгляд на Хатама. Кинул и опешил. Ему даже показалось, что перед

ним не Хатам, а какой-то другой человек — молодой симпатичный парень. Чисто выбритый, в ладном бешмете, поверх которого надет новый черный тулуп. И вроде бы почти не косили его глаза...

Вот уже больше месяца ходил разговор по аулу, будто у Хатама стали поправляться глаза. Дескать, он каждую пятницу ездит в станицу, где его лечит недавно приехавший молодой врач.

Хатам шел и улыбался Касею, словно говорил: я рад тебя видеть, ну, чего ты смотришь на меня так недружелюбно. Растерялся Касей.

— Слушай, Кагазежев-младший, я хоть и не namного, но все же старше тебя, так что не грешно бы и поздороваться со мной,— сказал с беззлобной усмешкой Хатам.— С коня можно не слезать, я не такая уж важная фигура.

Касей спрыгнул с коня, смутился:

— Здравствуй... Понимаешь, зуб у меня так сильно болит, что я белого света не вижу. Всю ночь не спал.

— Ай-я-яй, то-то вижу, болезненный ты какой-то, то нога у тебя, то зубы,— искренне посочувствовал Хатам,— знаю я, как зубы изводят человека. Я дам тебе шалфея — трава такая — заваришь ее кипятком и будешь полоскать. Хорошая трава, помогает.

Касей рад был, что Хатам говорил с ним искренне, дружелюбно, и сам хотел бы сказать ему добрые слова, но не знал какие, а потому переминался с ноги на ногу:

— Спасибо тебе, спасибо, но я не знаю...

— А и знать нечего. Сейчас куплю папирос и пойдем ко мне, дам траву, расскажу, как приготавливать лекарство, как пользоваться им.

— Валлахи, Хатам, большое спасибо, но я сейчас так тороплюсь в сельсовет — там меня ждут.

— Иди в сельсовет, а управишься, заглядывай ко мне на кошару. Только не затягивай этого дела, а то ведь знаешь как щеку разнесет. У-у-у, страшное дело. Заходи обязательно, и еще я хотел сказать... с отцом твоим мы немножко... но с тобой нам зачем это. Думаю, лучше бы жить нам дружно. Я так считаю.

Взбросил Хатам вилы на плечо и пошел дальше. И походка у него вроде бы тоже изменилась — легко шел, ходко.

Только когда Хатам скрылся за углом, Касей перевел дух. Вскочил на коня и погнал его по самой короткой дороге в лес. Скакал и все думал о случившемся.

Верно говорил отец, что Хатам связан с нечистой силой. Тогда Касей посмеивался над этим — какая еще нечистая сила! А теперь ему было не до смеха. Вот ведь он, Касей, собирался даже не здороваться с чабаном, а тут вдруг растаял перед ним, собирался отомстить за отца, а тут вдруг обрадовался, что тот говорил с ним. И как говорил! Милостиво, снисходительно. Заставил с коня слезть! Хорошо, что на улице никого не было, отец ничего не узнает. Но главное — у Хатама почти совсем выравнялись глаза! И конечно же, о новом враче Хатам сам распускает слухи, в самом же деле... Вот она, нечистая сила! Наваждение, прямо-таки наваждение какое-то!

Нехорошо было на душе у Касея, ему даже в лес хотелось ехать. Смешно сказать, но за каждым кустом чудились шорохи и вздохи. Не пошел он в лес, подстрелил на опушке зайчишку и вернулся домой.

У ворот его встретил какой-то парнишка и протянул сверток:

— Хатам просил передать тебе эту траву.

Касей отдал матери зайца, попросил зажарить его, а потом стал рассказывать родителям о встрече с чабаном, сказал о траве, которую тот передал с мальчишкой.

Отец слушал и хмурился.

— Говоришь, глаза у него выравнялись? — наконец спросил Хаджимос.

— Выравнялись, тат. Почти совсем выравнялись.

— Верные люди говорили правду — связан косою шайтан с нечистой силой. Связан. Быть такого не может, чтобы кривое стало прямым, человеку оно не подвластно... А у тебя, значит, не хватило духу пройти мимо этого мерзавца, подмял он тебя. Плохо, сын.

— Знаю, что плохо, но он прямо околдовал...

— Молчи! Кто сильнее, тот и колдун. Знай это! А его поганую траву — в печь!..

Лифаф сунула сверток в печку. Сухая трава вспыхнула, как порох.

— Проклятое зелье,— суеверно прошептала Лифаф, отшатнувшись от жерла печки,— посмотри, какой зеленый, какой страшный огонь! Шайтаново зелье.

— Помни, Касей, он чуть не убил меня. За это оскорбление нашего рода ты должен отомстить. Но отомстить тонко. Прошло время, когда люди открыто сводили счеты. Прошла пора кровной мести, но она еще может вернуться, и огонь ее будет жарче, он очистит землю Аллаха от скверны. Грядет, грядет этот огонь.

## 6

И опять не пошел к Зурет Касей, этому нашлось веское оправдание — встреча с Хатамом. Чабан испортил ему настроение. Да и вообще, решил Касей, в такой нехороший день лучше не затевать важное дело.

Три дня еще прятался от самого себя за спину Хатама Касей, а сегодня, обругав себя трусом, пошел к Чельметукову Аскалу, чтобы с ним отправиться в дом Нарыновых сватать Зурет.

Пришел, а Чельметукова не оказалось дома.

— Ушел на конюшню, в дежурку, на мужские посиделки,— сказала его мать.

Не сегодня-завтра выедут колхозники в поле, начнется горячая весенняя страда, тут уж будет не до посиделок — хотя бы отдохнуть часок, хотя бы вымыться хорошенько да спокойно поесть — и снова в поле, в поле, в поле. Когда согреется земля, тут уж поторапливайся с севом, не прозевай.

Скоро выйдут пахари в поле, а пока еще можно и побалагурить, можно посидеть со спокойным сердцем.

В дежурке хорошо натоплено и до того накурено, хоть топор вешай. Несмотря на ранний час, народу было уже много.

Кто постарше — сидел за столом. Которые помоложе — на скамейках вдоль стен, а молодые парни лежали в дальнем углу на соломе, посланной на полу.

Вошел в дежурку Касей, и ему крикнули:

— Не закрывай дверь, а то задохнемся скоро.

— Да и курильщикам бы надо меру знать, а то у нас в горле сажи скопилось, как в печной трубе.

— Оставь дверь открытой!

— Тебе около печи хорошо, а нам тут... Выстудишь комнату.

— Выстуживай, раз Касей пришел. В лесу дров много.

Касей оставил дверь приоткрытой, пошел в угол на солому:

— Хватит в лесу дров. Приезжайте.

— Ты здесь такой добрый, а там, когда поймаешь, милости не жди.

— И чего разболтались попусту, перестаньте! — прикрикнул на молодежь старик с вислыми усами, сидевший за столом.

Скоро грянет весенняя страда, а мужчины в дежурке не о земле говорили, не о семенах и тракторах — говорили о войне.

Вставил в разговор свое слово и Касей:

— Если не полезешь на рожон, никто на тебя не нападет.

— Оттого, что ты будешь сидеть сложа руки, твой враг не перестанет быть врагом, а опасность нападения на тебя увеличится. Но если ты будешь во всеоружии, если враг увидит твою силу, не враз рискнет напасть.

— Верно ты говоришь, Жечаго,— ответил ему Касей,— но это не наше дело. Для этого есть руководители, пусть они и думают.

— Если враг нападет на нашу страну, воевать будут не только руководители, ответственность за родную землю лежит на каждом.

— Э, о чем ты заговорил, ей-богу!

Касей толкнул в бок Аскала и шепнул ему:

— Пойдем, у меня есть важное дело к тебе.

— Подожди, интересный разговор получается, давай послушаем,— возразил тот.

Недовольны мужчины словами Касея, недовольны его каким-то безразличием: ведь он молод, он будущий солдат — и вдруг такое говорит.

— Воистину говорится: молодо — зелено. Но ничего, когда петух жареный клонет в темечко, каждый становится разумнее и мудрее.

Это сказал старый кузнец. Самый старый во всем ауле мужчина.

Касей снова толкнул в бок Аскала:

— Что тебе в этом разговоре на высокие материи? Пойдем со мной, не пожалеешь. Честное слово. Вставай же.

— Старики обидятся, если без разрешения уйдем.

Уже загорелись звезды на небе. Звездочками светились и мерцали огоньки в окнах домов. Прихватило морозцем оттаявшую за день землю.

Вышли Касей с Аскалом и быстрым, гулким шагом направились на главную улицу аула. Аскал насвистывал веселую песенку, а потом, спохватившись, остановился и придержал Касея:

— Чего же ты молчишь, на какое важное дело мы отправились?

Касей сказал ему о своем намерении.

— Э, ей-богу! Чего же ты молчал?! Вот чудак, разве можно так мямлить о серьезном деле. Жених должен быть похож на сокола, а не на теленка, да еще при такой девушке, как Зурет. Если сразу не возьмешь над нею верх, не покажешь ей своей силы, гордости, то пиши пропало...

Чельметуков Аскал учился в одном классе с Касеем, в прошлом году тоже школу закончил. Весельчак, балагур, танцор — каких поискать надо! И не только балагур Аскал — и к работе у него руки золотые, ум цепкий, сметливый. Еще в школе учился, а уже умел водить трактор. Старшие товарищи научили. А после школы сдал экзамены, получил права и, пожалуйста, — один из лучших трактористов колхоза. Его даже посылали в прошлом году на слет лучших механизаторов района.

— ...нельзя девушке показывать свою слабость, но не для того, чтобы по закону шариата быть ее господином, а для уважения и уверенности, что сможешь быть опорой и защитником семьи, ее рыцарем и работником. Вот как мы, комсомольцы, понимаем это дело. Но ты не трусь — вперед! Только вперед. Зурет уже знает о твоём намерении, согласна быть женой?

— Не знаю... не говорил.

Остановился Аскал. И даже в темноте Касей увидел, как тот был удивлен, как вдруг загорелись азартом его глаза:

— Да-а-а!..— выдохнул Чельметуков.— Вот это я люблю. Вот это задачка с многими неизвестными. А то, понимаешь, когда все известно, все обговорено, даже неинтересно идти, получается — ты только для формальности приглашен, и чувствуешь себя стулом, без которого нельзя обойтись за столом. А ты — молодец! Ох, уж и придется мне поработать. Спасибо за доверие. Едем дальше: что ты знаешь о Нарыновых, расскажи мне.

— Чего рассказывать? Главное — я знаю Зурет, люблю ее. Ну... знаю Фиж, с Сафером вместе учился.

— Молодец, глубочайшие сведения о роде Нарыновых ты мне сообщил,— иронически сказал Аскал,— но не об этом я тебя спрашивал. В каких отношениях находились раньше роды Кагазежевых и Нарыновых, не состоите ли с ними в родстве, не было ли между ними кровной вражды?

Касей остановился. Растерянно посмотрел на Аскала:

— Валлахи, ничего этого я не знаю... Не думал об этом, ни у кого не спрашивал.

— Задача усложняется! — еще больше воодушевился Аскал.— Крепость оказывается более неприступной, чем мы ожидали. И все-таки только вперед! Будем выше всевозможных предрассудков старины. Но не брат же ты ей? Хотя бы это знаешь?

— Нет, не брат! Что мелешь?!

— Возможно — двоюродный?

— Нет же! Тетка Кутас сказала бы.

— О, великая Кутас! С нею мы возьмем все крепости... Парни вошли во двор Нарыновых.

— Смелее, смелее. Ты как-то неуверенно двигаешься. Уж не дрожат ли у тебя коленки?

— Перестань, Аскал, упражняться в остроумии.

Постучали.

Дверь открыла Фиж. Увидела она парней, сообразила, что к чему, и растерялась: да неужели же к ее дочечке идут женихи, да неужели же она так выросла? И грустно от этих мыслей стало Фиж, и радостно. Посторонилась она, пропустила парней в комнату.

Касей покраснел. Застучало у него в висках. На лбу выступил пот.

— Эй, ты что! Разве можно так? Возьми себя в руки. На платочек, вытрись. Все будет хорошо.

В соседней комнате долго шептались. Слышно было, как протестовала Зурет, не соглашалась с матерью. Слышно, как настаивала Фиж, просила не позорить ее перед всем аулом: раз пришли гости, их надо принять, как того требует обычай.

Потом долго молчали в соседней комнате. До того долго, что даже неунывавший Аскал начал волноваться.

Но вот наконец скрипнула дверь, открылась.

Торжественная и строгая, с опущенными долу глазами вошла Зурет:

— Добрый вам вечер!

## 7

Хатам считал, что на всей земле не бывает весны красивее, чем в Дагунохабле.

Аул лежал в неглубокой, просторной долине. И весной, когда склоны покрывались зеленой травой, Хатаму казалось, что Дагунохабль с белыми цветущими садами, с горластыми петухами, с душистой землей огородов, с веселой речкой баюкал кто-то в зеленых мягких ладонях, напевая тихую песню, смотрел с высоты на аул голубыми глазами. Любовались аулом снежные вершины, задумчиво оглядывал лес. А над всем этим высилась гора Ошхамахо. Может быть, зеленая долина и была ее ладонями, может

быть, голубое небо это и есть ее глаза, а песни птиц, реки, ветра — ее песня?..

В этом году все было как по заказу, все — на радость крестьянину: вовремя прошли теплые, тихие, как здесь говорят, хлебные дожди. Вовремя они закончились, уступили место нежаркому солнышку. Двинулись в рост озимые хлеба, на лугах запустилась трава.

Вышли в поле трактора — сутками напролет пахали и сеяли колхозники.

Догорала в огородах прошлогодняя трава, кукурузные стебли.

Сажали аульчане картошку, высаживали из парников помидорную и капустную рассаду.

Гудели, гудели над садами пчелы, собирая нектар.

Радовались в этом году доброй весне колхозники, но больше всех радовался, веселее всех был Хатам — сегодня он после утомительной зимы выводил свою отару на зеленый луг.

В нетерпении блеяли на базу овцы, потягивались, порывались волкодавы и просительно смотрели на хозяина — им тоже хотелось на луг, на простор.

Открыл наконец ворота Хатам — ринулись овцы, с восторженным лаем дали круг волкодавы! Да и самому Хатаму хоть скачи вместе с ними, кричи восторженно о весне.

Улыбнулся он, сбил папаху на затылок, и, выбрасывая перед собою ярлыгу, шел за отарой крупными, хозяйскими шагами.

Из аула выехал всадник. Хатам присмотрелся — кажется, Жечаго. И ему, своему старому другу, обрадовался чабан, поднял над головой ярлыгу — возможно, Жечаго сейчас смотрит сюда, значит, увидит приветствие Хатама.

Отара успокоилась после своего первого весеннего восторга и побрела неторопливо. Овцы с удовольствием щипали траву, лежали на пригорке.

По полю шел новенький гусеничный трактор — пахал под кукурузу.

Первый раз видел такую могучую машину Хатам. Жечаго говорил, что прислали машины новой серии Челябинского завода.

Трактор остановился рядом с чабаном, из кабины выглянул Аскал и поманил Хатама:

— Приглашаю подняться на вершину современной техники. Садись, прокачу.

— А как же с отарой?..— замялся Хатам.

— Ничего с нею не случится. Дальше волчьей пасти никуда не уйдет твоя отара,— шутил Аскал.

— Э-э, какие волки, они, как огня, боятся моих собак. Я просто так говорю.

— Садись, садись!

Сел Хатам в кабину.

Взревел мотор. Зазвенело в ушах. И сердце у Хатама забилося взволнованно. Вроде бы уже пообвыклись с тракторами в ауле, а вот чтобы поездить на нем, да еще на таком могучем, Хатаму не приходилось.

Пошла машина легко, плавно, будто играючи, тащила пятикорпусный плуг.

Ложилась черная, жирная земля в пять рядов. Ложилась, чтобы принять зерно и потом дать людям хороший урожай.

— Ну как, нравится? — спросил Аскал.

— Смешной ты человек — нравится или не нравится. Разве об этом можно таким простым словом сказать? Разве расскажешь словами о том, что чувствует твое сердце? Разве можно из песни музыку выбросить, оставить одни слова?.. Послушай, Аскал, я хочу ехать на твоей машине молча. Хочу слышать, как гудит ее мотор, как бьется мое сердце. Я хочу смотреть и смотреть на землю из странного окна странной машины, думать о странных людях.

— Почему же странных?

— Молчи...

Потом, проехав в машине в два конца, Хатам лег на траву, долго смотрел в небо. Задремал, и ему почудилось, будто он в белой машине летел над землей — с большой высоты видел свой аул, поля, отару овец. Даже Ошхамахо была далеко внизу и казалась маленькой. Совсем маленькой. Госкливо стало на сердце у него, захотелось поскорее спуститься на свой зеленый луг...

— Эй, Хатам! Никак ты спишь?! — позвал его вновь подъехавший на тракторе Аскал.

— Задремал немного, а что?

— Не хочешь ли ты стать трактористом? По-моему, тебе очень понравилась моя машина.

— Очень понравилась, но трактористом стать не хочу. Умру с тоски по своей отаре. Я родился на лугу и умереть должен на лугу. Иди посидим немного, покурим. У меня есть отменный табак.

Закурили. Подымили. Пожмурились на солнышко, на дальний лес, на громады облаков, висевших над вершинами гор.

Потом Хатам спустился к речке, умылся и увидел Зурет с подругой. Они пришли по воду. Обрадовался Хатам, что увидел ее, и окликнул:

— Иди сюда, Зурет. Как я рад видеть тебя, сестра моя. Здравствуй.

Залилась краской девушка, не смогла ответить словом на приветствие Хатама.

— Иди же сюда. Я хотел бы узнать, куда писать Саферу и Аскеру. Ты, конечно, знаешь их адрес.

Она молча кивнула, приблизилась на несколько шагов.

— Они прислали мне письмо, но я как-то случайно изорвал лист на сигарки и... Что они пишут вам, здоровы ли?

Зурет успокоилась немного. Подошла еще поближе.

— Спасибо, Хатам, они пишут, что все у них хорошо. Учатся, летают уже на самолетах.

— Ну и хорошо. Будешь писать, кланяйся им, передавай привет.

— Спасибо, передам. Если хочешь, я сейчас принесу тебе их адрес.— И повернулась Зурет, чтобы побежать домой.

Хатам остановил ее:

— Принеси, только захвати домой ведра с водой.

Улыбнулся Хатам, и Зурет снова залилась краской смущения.

С того дня, когда Зурет встретила с Хатамом у речки, прошло больше месяца, а она все не может забыть ласкового, взволновавшего ее взгляда чабана. Книгу ли читает, помогает ли матери, сидит ли на уроке, — все видит Хатама, смущается того взгляда. Да и сам Хатам в тот день показался Зурет совсем другим, чем раньше. Оказывается, он и ростом высок, плечист и строен, а косоглазия Зурет почти совсем не заметила. Чуть-чуть, самую малость косили его темные, грустные глаза.

Зурет иной раз просто сердится на себя. Ну, хорошо, Хатам добрый человек, за хорошую работу его недавно наградили орденом «Знак Почета». Не косоглаз он, высок ростом и строен, печальные его глаза — что ж из этого? Почему он все время лезет ей в голову?!

Сегодня мать ушла, как всегда, на работу — высаживать помидорную рассаду, а Зурет осталась дома — надо было дополоть огород, высадить капусту. Работалось ей легко и охотно. Заливался в небе жаворонок. Над речкой в густых зарослях лозы пел соловей.

Услышала Зурет соловья и удивилась — соловьи не поют обычно среди бела дня, в такую жару. Удивилась и подумала: верно говорят люди — если пришла пора песни, ничем ее не сдержать.

И встревожилась Зурет. Вспомнился Аскер... Тоскливо ей стало, но некогда было тоске предаваться — успеть бы обед приготовить.

Быстро сделала соус, кукурузную кашу, нажарила оладьев и вышла на крыльцо — посидеть, отдохнуть от жаркой печки.

С ближних плантаций шли обедать колхозницы. Показались и Фиж с Гуцой. Они шли вдоль берега. Шли неторопливо и о чем-то разговаривали...

Тоскливо Гуце одной в доме, тоскливо без сына. Никому она не жалуется на свое одиночество, виду не подает, да разве это спрячешь, тем более от женщин. Фиж хорошо видит тоску своей подруги и поэтому старается

лишний раз обласкать вниманием, лишний раз вечером заглянуть или на обед пригласить:

— Прощу тебя, Гуца, не отказывайся. Нам с тобою веселее будет, и ты не заскучаешь.

— Спасибо, с удовольствием зайду.

Увидела Зурет, что мать идет домой с Гуцой, и забеспокоилась: Гуца ведь не просто гостья, она будущая свекровь, ей надо показать свое умение, не дай бог, заметит какие-нибудь промахи будущей невестки.

Конечно, Гуца-то, может быть, и не знает, что Зурет будет ее невесткой, но лучше заранее побеспокоиться.

Фиж тоже ничего точно не знает, но догадывается по тому, как часто пишет Зурет Аскеру, как любитесь тайком его фотографией, как вздыхает, читая его письма. И нравится Фиж выбор дочери. Каждый раз Фиж настораживается, когда к ним в дом приходит Гуца...

Пообедали женщины.

Гуца — известная на весь аул стряпуха — сказала Зурет:

— Молодец. Очень вкусно приготовила обед. Знаешь толк в чесноке, в перце, умеешь сохранить травы душистыми, мясо сочным. И подавать умеешь. Надо знать черед блюдам, надо их так подавать, чтоб гости не торопились, хорошенько поняли вкус еды. Ты все это умеешь делать. Спасибо тебе. А ты, Фиж, хорошую дочь вырастила. Кому-то достанется такая чудесная жена и невестка?

— Спасибо, спасибо, — искренне благодарила Фиж подругу, радовалась ее похвалам, а ради приличия сказала: — Смотри, не перехвали ее. Знаешь, как говорят старики: чрезмерная похвала иного человека может сделать и горбатым, и кривобоким, а другого — индюком, третьего обратит в пустозвона и бездельника. Редко кто с достоинством выносит тяжесть славы.

— Думаю, твоей дочке не грозит эта страшная болезнь. Тут и раздался стук в калитку, мужской голос позвал хозяйку.

Прислушалась Гуца:

— Кажется, Хатам пришел... Он и есть.

Фиж вышла на улицу и вернулась с Хатамом:

— Проходи, проходи, не стесняйся. У нас в гостях Гуца. Присаживайся, сюда садись, здесь тебе будет удобнее.

Зурет отошла к окошку и притихла там. Ей хотелось бы стать совсем незаметной, слиться со стеной...

Сел Хатам:

— Хорошо, Гуца, что и ты здесь. Я давно собираюсь зайти к тебе, да все недосуг.

— Что-нибудь случилось? Есть дурные вести? — испугалась Гуца.

Сел Хатам перед женщинами поудобнее, посolidнее, облокотился на стол и неторопливо, как подобает мужчине, заговорил:

— Ничего не случилось, Гуца. Просто проведать тебя хотел. А к вам, Фиж, я по делу зашел, честное слово. Хотелось ребятам в далекий город несколько слов написать, да уж больно некрасивый у меня почерк, неудобно летчикам такое письмо посылать. Красивые слова надо красивыми буквами писать. Подумал, пусть Зурет напишет. Возьми, Зурет, бумагу, возьми ручку. Я буду говорить, а ты — писать.

— Обязательно напишет, но сначала пообедай, — захлопотала Фиж, — не отказывайся, раз пришел в наш дом. Или у нас кривой стол, или плохое слышал о нашей стряпухе Зурет?

— Что ты, что ты! — воскликнул Хатам. — О вашем доме в ауле говорят только хорошее. Раз такое получается... все давай на стол, все съем... А уж потом и напишем ребятам письмо, так я говорю, Зурет?

Зурет согласно кивнула головой, не поднимая глаз на Хатама, и стала накрывать на стол.

Ел Хатам с аппетитом, похваливал Зурет. А потом откинулся на спинку стула, закурил, смачно затягиваясь.

Всплакнула Фиж.

— Что с тобой? — спросила ее Гуца.

— Так уютно и светло, когда в доме есть мужчина, так покойно на душе, — шепотом ответила ей Фиж.

— Ты сказала правду, ох, какую правду, — вздохнула и тоже смахнула слезу Гуца.

— А у нас ведь тоже были мужчины. Какие хорошие сыновья. Самые лучшие во всем ауле.

— Почему ты говоришь были, Фиж? Они ведь и есть у нас.

— Есть, есть, — в задумчивости прошептала Фиж. — Есть. Но если мужчины нет рядом, если он в далекой дороге, то в доме в каждом углу таится тревога.

— Вы еще не обо всех делах своих поговорили? — спросил Хатам.

— Поговорили, поговорили. Бери бумагу, бери ручку, Зурет. Я мигом уберу со стола.

Женщины чинно сели в сторонке, а Зурет с Хатамом — за столом.

— Сначала напиши им, как все полагается для начала. Здравствуйтесь, мол, с поклоном к вам ваш старший брат Хатам и всякое такое. Ты, Зурет, сама знаешь, как начинаются письма. Верно?

— Верно. Все напишу. Приветы от всех наших, поклоны.

— Так и пиши, кланяется Хатам, все парни нашего аула. Кланяются. Таким ребятам не грех поклониться — летчики, защитники нашей Родины. Теперь пиши — все в нашем колхозе хорошо, урожай ожидаем отличный. Дожди прошли вовремя, озимая пшеница стеной стоит.

— Не спеши так, Хатам, — робко попросила Зурет.

— Или ты не успеваешь, Зурет? Десять лет ведь учишься?..

— Что ж что десять, если ты слова будто из мешка высыпашь.

— Хорошо, не сердись, буду медленно говорить... Теперь напиши о моих делах. Живу хорошо. Интересно живу. В этом году поставил рекорд в районе — шерсти настриг по семь килограммов с каждой овцы, а от ста маток взял по сто двадцать ягнят. Да, чуть не забыл! Меня все расспрашивал о ребятах Жечаго: как, мол, у них идет учеба, высоко ли поднимаются в небо и как земля выглядит с большой высоты. Не грех бы ребятам написать письмо и рассказать самим обо всем этом уважаемому человеку. Да и нам самим хотелось бы знать — какая она, земля наша, с высоты голубого неба?.. За нас пускай не беспокоятся — в

колхозе все хорошо сегодня, а завтра будет еще лучше. До свиданья, пиши. Ждем их в гости. Лучшего барашка зарежем к их приезду, лучших лошадей пошлем встречать. Пусть хорошо учатся, прилежно несут службу. И письма, письма пусть пишут нам почаще, от этого их руки станут только сильнее, а сердце — добрее, ум — острее... А теперь прочти, что ты там написала.

Прочла Зурет.

Фиж и Гуце очень понравилось письмо. Они похвалили Хатама за добрые слова их сыновьям, сказали, что очень складно у него все получилось.

— Это не у меня, — улынулся Хатам, — это Зурет так красиво написала. Спасибо тебе, Зурет.

## 9

У Кутас с самого утра было хорошее настроение — на стан привезли свеженькую жирную баранину, мелко наколотые сухие дрова и бочку ключевой воды.

Обед трактористам Кутас сегодня приготовит на славу. Будет им и добрый полевой суп, и хороший соус из баранины, и в погребке охлажденный компот.

Бушевал огонь в печи, кипел котел. Кутас в переднике, в косынке, словно белое пламя, полыхала по стану, тихонько напевая. Вымыла студеной водой столы, врытые под навесом, нарезала гору душистого пшеничного хлеба.

Ждала Кутас трактористов. Представляла, как они, шумные, изрядно проголодавшиеся, приправляя доброй шуткой еду, будут с завидным аппетитом есть, как будет играть ветерок их вихрастыми чубами. Каждый день видела все это Кутас и каждый день снова и снова радовалась. В эти минуты ей казалось, будто она тоже вместе с ними пахала землю, водила могучие машины.

А нынче она с особенным нетерпением ждала обеденного часа.

Ждала Аскала. Конечно, ей всегда приятно видеть этого парня — и работа у него в руках горела, и слово зажигательное умел он сказать. Парень что надо. А тут еще такое дело. Оказывается, Аскал ходил вместе с Касеем

к Нарыновым, сватом ходил. Касей, негодный мальчишка, нет чтобы прийти и тетке родной все рассказать, молчит. На глаза не кажется. Похоже, не очень удачно у них получилось. Похоже, не вышло дело. Так ему, поганцу, и надо, чтобы не таился от тетки. Разве она ему зла желает? Разве она не могла бы дать своему родному племяннику умного совета? Кто-кто, а уж Кутас знает невест, ей до тонкости известны эти сватовские штучки. Но ничего, все равно будет так, как задумали Кагазежевы. Кутас не проведешь.

Кутас еще раз попробовала суп и вышла из кухни, села под навесом отдохнуть, скрестив руки на груди. Прикрыла глаза. Хотела вздремнуть, но тут же ее охватила обида за племянника: неужели Нарыновы отказали ему? Да кто они такие, кто?! Но ничего, ничего. Касей — настоящий Кагазежев: сказал — сделал, захотел — добился своего. Ничего, ничего, вот кончит школу Зурет, и Касей свое возьмет. А может быть, Касей уже договорился играть свадьбу осенью? Конечно! Кто же летом играет свадьбу.

Послышался топот. Открыла глаза Кутас и увидела скакавшего от перелеска Жечаго. Чертыхнулась и хотела уйти в кухню, но передумала: еще решит, что она его боится. Подумаешь, начальник. Всюду лезет, всюду сует свой нос — то не так, это не так, то не берите, этого не делайте. Можно подумать, что колхозное добро — только его добро. Эй, да он, кажется, проезжает мимо. Скажи ты, даже не хочет заглянуть, не хочет знать, чем и как кормят механизаторов.

Вышла на дорогу Кутас:

— Здравствуй, Жечаго! Почему мимо проезжаешь? Почему не заедешь посмотреть, как трактористов кормят?

— Некогда, Кутас. Очень тороплюсь.

— Спрашивать с трактористов работу находишь время, а позаботиться о них некогда!

— Чего мне смотреть? Хвалят тебя ребята, говорят, вкусно и сытно готовишь. Спасибо тебе от имени правления говорю и совсем не собираюсь проверять.

Растерялась Кутас от этих слов Жечаго, покраснела до ушей и, заикаясь, ответила:

— Не к тому я говорю... вижу, едешь, может, еще не обедал, зайди, отведай хлеба-соли... Недаром говорят: если хочешь знать, как живет человек, пообедай с ним.

Глянул на часы Жечаго — второй час. Почесал затылок, мол, некогда, но ничего не поделаешь, придется зайти на кухню, иначе обидишь женщину. Было, кукурузу таскала с поля домой Кутас, помидоры с огорода. Да и работала с лентой. Но теперь трактористы хвалят ее, незаметно, чтобы к колхозному добру руку прикладывала, значит, и не надо ей помнить зла. Если всегда будешь помнить это самое зло, будешь попрекать человека его недобрыми делами, как ему жить, как стать хорошим?

Замахал руками, заулыбался Жечаго:

— Все понял, все понял, величайшая из великих стряпух. Понял и постараюсь исправиться.

Придержала стремя Кутас, приняла повод и отвела коня к пряслам, привязала. Довольна, уж довольна была, что заманила-таки председателя.

— Сейчас я покормлю тебя обедом, а то с утра, наверно, ничего не ел. Дела, дела, но и без еды нельзя.

— Спасибо, но я подожду ребят, вместе со всеми и пообедаю.

— Ты что, Жечаго! Эти трактористы да прицепщики грязные, как шайтаны. С ними рядом сесть за стол страшно, а не то что есть. Ни к чему тебе это. Садись, покушай в свое удовольствие, а потом они придут, поговоришь с ними о делах. Садись, покушай спокойно, — изо всех сил старалась уважить Жечаго Кутас.

— Спасибо, спасибо... Мы с тобой крестьяне и хорошо знаем, что не та грязь, что на рабочих руках, а та, что на руках бездельника.

— Правда твоя, но такой грязнуля, как Аскал...

— Аскал? Если бы все были такими. Зря ты, зря.

— О нем, может, и зря, а другие...

— Наверно, о Хатаме хочешь сказать, — лукаво улыбувшись, сказал Жечаго.

Спохватилась Кутас:

— Нет, я совсем не о нем, а если уж заговорили, скажи, как он поживает? Ой, какого хорошего барашка Хатам сегодня прислал нам.

— Барашка?!

— Да.

— Хатам?!

— Да...

И нахмурилась Кутас. Она догадалась, о чем подумал Жечаго, — вспомнил барашков, из-за которых осрамился Хаджимос, а потом на колхозном собрании Кутас хотела отомстить за зятя, затеяла ссору с Хатамом. За чабана вступился Жечаго, и она накинулась на него.

— Не надо, Кутас. У меня, хотя еще и жиденькие, но все-таки уже растут усы, в руках достаточно силы, чтобы защитить себя, — спокойно ответил Жечаго Кутас.

Вспомнила это Кутас.

Вспомнил Жечаго.

Смутилась Кутас, а Жечаго дружески расхохотался:

— Ух, как ты тогда на меня налетела. Думал я, конец мне, останусь без глаз.

Сели они в тени на скамейку. Помолчали немного, а потом Кутас вздохнула тяжело, тоскливо:

— Плохо мне тогда было. Я как раз от мужа ушла. Когда уходила от него, думала, придет он за мной, думала, просить станет, а он... Нашлась одна — тут же и женила его на себе. Да и плевать. Живу я сейчас не хуже других: есть во что одеться, и стол гостям накрываю не хуже других в ауле, а мужа... Только помани, любой тут же прибежит. Сейчас этого товару хватает.

Засмеялась Кутас. Хотела весело, беспечно засмеяться, а не получилось.

Заметил это Жечаго и сочувственно вздохнул:

— О бывшем муже своем ты зря плохо говоришь. Что там у вас получилось — не мне судить, но парень-то он хороший. И добрый, и работающий.

— И добрый, и работающий, — глухо повторила Кутас. Отвернулась от Жечаго, закрыла лицо передником. Вздрогнули ее плечи.

Чтобы отвлечь Кутас, Жечаго сказал:

— Ну чего же ты? Обедать приглашала, так подавай.

Долго возилась на кухне Кутас — гремела посудой, делая вид, будто занята чем-то важным, а сама просто тянула время, чтобы успокоиться.

Вышла с миской супа, умытая, свежая, улыбающаяся:  
— Ешь на здоровье, Жечаго. Вкусный сегодня суп  
сварила.

Вскоре приехали трактористы с прицепами, но  
Аскала среди них не было. Вот и хорошо, подумала Кутас,  
при всех не поговоришь хорошенько, а приедет позже, она  
все и выпытает. Накормит получше — он и раздобреет.

Так и было. Съел Аскал две миски супу, с полкило-  
грамма баранины, опрокинул в себя кувшин компоту, а  
потом прилег в тени за кухней на высокой, густой траве  
и важно сказал:

— Ты не думай, Кутас, что все это так просто. Хорошую  
девушку высватать — все равно что взять крепость. Тут  
нужна стратегия и тактика. Брать в лоб — значит наверняка  
потерпеть поражение.

— Э, ей-богу! Ты можешь говорить короче? Зачем  
тянешь, как это говорят... резину.

— Тактика — это не резина.

— Возьми тактику-мактику себе, а мне сразу дело  
давай.

— Не-е-ет. Без тактики-мактики нельзя. Правда, ты  
не поймешь, что это такое, ведь тактика — понятие военное,  
мужское. Нельзя в сватовстве без тактики.

— Перестань мне голову морочить, Аскал, скажи прямо,  
что вам ответила Зурет? Гольш показала? Хороший, уве-  
систый гольш?

— Не гони рысаков, Кутас, загонишь, на чем дальше  
поедешь?.. Зурет сначала даже не хотела выйти к нам, но  
я такое слово сказал, что в комнате стало жарко. И Зурет  
вышла... Посидели мы, поговорили, и опять же такие слова  
я сказал, что теперь пусть она ломает себе голову.

— Какие же слова ты ей сказал? — насторожившись,  
спросила Кутас.

— Ха-ха, это мой секрет. Знаю, что надо говорить в  
таком случае.

— Послушай, Аскал, зря ты напускаешь туману. Я не  
только сквозь туман, сквозь землю вижу. Показала вам  
Зурет гольш. Верно говорю, а все потому, что без меня  
пошли. — Махнула рукой безнадежно Кутас и пошла в

кухню, но вскоре вернулась: — Позору, позору из-за вашей  
глупости на весь аул хватит. Воробьи вы желторотые. Вот  
я сама примусь за дело, увидишь, какая у Кутас тактика-  
мактика.

## 10

Дагунохабль похож на тихое, маленькое озерцо. Упа-  
дет в это озерцо даже крошечный камешек, и от него  
пойдет волна кругами, обеспокоит всю воду от берега до  
берега. Ничего не утаишь в Дагунохабле, самая незначи-  
тельная новость тут же распространяется от околицы до  
околицы волнами, волнами, а уж если которая поважнее,  
та и вовсе целую бурю поднимет.

Вчера приехал на побывку Аскер. В ауле только и  
было разговору, что об этом событии, а Кутас до сих пор  
ничего не знала и только сегодня вечером случайно услы-  
шала от соседки.

— Беда-то, беда какая, парень еще вчера приехал, а я  
не побывала у Данашевых, не поделила с Гуцой ее радости.  
Обидится, ой как обидится она на меня... И чего же ты,  
чего не сказала мне сразу, почему не прибежала? — наки-  
нулась на соседку Кутас.

— Разве есть на земле что-нибудь такое, о чем раньше  
всех ты не узнала бы, потому и не сказала тебе.

— Хороша, хороша соседка, — все сетовала Кутас, — раз  
такое дело, ты тоже теперь от меня ничего не дождешься...  
Беда, беда моя! Уже все, наверно, перебивали у Данашевых,  
все поздравили Гуцу с такой радостью, одна я плетусь в  
хвосте отары, как паршивая овца. Но ладно, ладно, сейчас  
поправим ошибочку.

Отчитала соседку Кутас и заторопилась в дом. Она  
только что вернулась с работы. Пришла с пустым ведром...

Говорили председателю Жечаго, что Кутас уже ничего  
не носит домой с колхозного поля.

Не носила уже с поля — не брала ни зерна, ни овощей,  
а с кухни иногда кое-что прихватывала. Но стала она  
теперь очень осторожной, никто не видел ее за худым  
делом. В ведро набросает картофельных очисток, а между

ними, смотришь, кусок мяса засунет. В другой раз кусочек спрячет у пояса под широкой юбкой...

Сегодня ничего не принесла домой Кутас, была по этому поводу сердита и сорвала свое зло на соседке. А при чем тут соседка, если уже дня три не давали на стан мяса. Скоро начнется уборка — пора горячая и трудная, вот председатель и экономил продукты, накапливал к страде.

Швырнула пустое ведро у калитки Кутас и заторопилась в дом.

В Дагунохабле молодых вдов и «разведенки» звали городским словом «дамочка». Кутас не знала толком, что оно означало, но казалось ей это слово красивым, и она с удовольствием себя называла дамочкой. И еще — в этом непонятном слове слышалась Кутас и тоска, и горькая гордость одинокой женщины.

Так вот, если б не была она дамочкой, то, наверно, прямо в рабочей одежде и пошла бы к Данашевым, а тут пришлось ей надеть праздничное платье, подвести брови, подкрасить губы, хорошенько причесаться.

Прошла перед зеркалом раз, другой, подумала, что еще ничего себе. Попривяла малость, но совсем не увяла. А если еще взбодриться, присмотреть за собой хорошенько, то и за первый сорт сойдет. У некоторых, которые и помоложе ее, могла бы мужа отбить, увести его в омут своей любовью...

...Была у Кутас любовь. Хорошая, настоящая.

Когда поженились, думала, что не насытитесь, никогда не насытитесь любовью к мужу. Уйдет он на работу, и день ей казался годом — ждет не дождется, все выглядывает из калитки. Хорошо жилось им, а потом все как-то пошло наперекосяк.

Ревнивым был ее муж. До того ревнивым, что запрещал Кутас даже смотреть на мужчин, запрещал без него ходить в магазин, на работу в колхоз не пускал. Она смеялась над ним, шутила над его ревностью, но однажды он до синяков избил ее за то, что «любезничала» с соседом. Медными пятакми Кутас свела синяки и пошла работать в колхоз. Тогда он снова избил ее, да так, что свежескоровь отливала невестку холодной водой.

— Любить буду и бить буду,— сказал муж.

— Бить будешь — любить не буду,— ответила ему Кутас.

И пошло, пошло наперекосяк.

Кутас убежала от него, а он не вернул ее...

...Вспомнилось все это Кутас, когда она сидела у зеркала, и выскользнули из подведенных глаз две крупные, светлые слезы, оставили на напудренных щеках две бороздки.

Разозлилась Кутас на себя: «Чего нюни распустила, дуреха, одна ты разве такая, одна, что ли, мыкаешь вдовье горе? И пудру испортила слезами!»

Встряхнулась Кутас, приободрилась. Запудрила следы слез, ярче наредила губы и пошла к Данашевым. Не пла, а несла себя на виду у всего аула, с вызовом несла, словно бы весь аул был виновен в ее беде.

Село солнце. Прохлада пала на знойную землю. Ревели коровы, бляели овцы, возвращаясь с пастбищ. Трубили вечернюю зорю петухи.

Думала Кутас, что у Данашевых будет уже полно народа, но двор оказался почти пустым — Хатам, Аскер да двое соседских парней. Рано еще — если кто и вернулся с работы, управляет свое хозяйство.

Торжественная и надменная вошла во двор Кутас.

— Здравствуй, Гуца, здравствуй, дорогая, я так рада за тебя, так рада. Разве может быть большее счастье у матери? Подумай, какой красавец твой Аскер! Как идет ему военная форма. И это голубенькое на воротнике и птички на нем — так красиво! Добрый вечер, Аскер, добрый вечер, наш защитник и воин. Аллах, как ты похож на своего отца Карбеча. Вылитый, вылитый Карбеч. И статью, и душой, раз приехал к матери, раз заботишься о ее добром сердце. А кто же подумает, кто позаботится о матери, если не единственный сын. Здравствуй, Аскер.

Кутас протянула Аскеру руку, сложенную узкой лодочкой:

— А как там наш дорогой Сафер? Не приедет ли он на побывку?

— Сафер здоров, хорошо учится. Через месячишко и он приедет в Дагунохабль. Как ты поживаешь, Кутас?

— Заботой Аллаха — хорошо живу.

Улыбнулся не без лукавства Аскер:

— Видно, что хорошо живешь — помолодела.

Опустила глаза Кутас:

— Спасибо. Сразу видно городского человека, а от наших деревенских вахлаков никогда приятного слова не услышишь. Учись, Хатам, быть хорошим кавалером, — и чабану протянула руку лодочкой.

— Не с кем мне на кошаре кавалериться.

— А ты почаще в аул заглядывай.

— Да вот уж, когда клуб достроят, буду на танцы ходить, — пошутил Хатам.

— Правильно, — ответила ему Кутас, — а почему бы нам и не потанцевать... Что это мы с тобой, Хатам, разболтались. Гость в доме, а мы...

— Ничего, он не обидится, — сказала Гуца, — ему, должно быть, все интересно в родном ауле. В городе — хорошо, в небе — хорошо, в родном ауле лучше.

— Мама правду говорит, Кутас. А как поживает Касей? Не вылечил ноги?

— Давно я его не видела. Лето: с темна до темна на работе, на посиделки да в гости ходить некогда... Плохо с ногами — то затянется язва, то опять откроется. И где он только эту проклятую болезнь подцепил?

— Зимой, похоже, ноги его были здоровыми, — сказал Хатам, — на свадьбах так отплясывал, что других просто зависть брала.

— И парень-то он не глупый, а иногда ведет себя непонятно, — сокрушенно покачав головой, проговорила Кутас. — Молодость в нем бродит. Легкомысленная молодость. Говорила я ему зимой, пожалей свои ноги, не ломай их в пляске. Не послушался, теперь вот снова язва открылась.

— Не говори, не говори, — возразил ей Хатам, — когда человек танцует, сердце его радуется, а когда радостно сердцу, болезни покидают тело... А зубы, не болят больше у Касея зубы?

— Разве у него они болели? — удивилась Кутас. — Я что-то не слышала.

— Как же! Очень сильно болели. Я давал ему хорошую траву и... кажется, могу вылечить его ноги. Отец мне рассказывал о болезни, похожей на болезнь Касея, и рассказывал, как ее надо лечить. Найду нужную траву и вылечу. Обязательно вылечу.

Пришли проведать Аскера бывшие одноклассники. Их будто вихрем внесло во двор — шутили, хохотали, тискали Аскера, любовались им.

Кутас распрощалась с Гуцой и ушла.

Брела неторопливо по улице и думала над словами Хатама: надо как-то помочь племяннику, вылечить его ногу. Помочь, потому что Хаджимос не может даже слышать имени чабана, а не то чтобы идти к нему и просить о помощи сыну. Уж как горды и своенравны Кагазежевы: пусть нога отвалится у сына, но Хаджимос не унижится перед своим недругом. Но ничего, Кутас возьмет это дело на себя, поможет своему племяннику.

Поможет.

Вот и о его женитьбе тоже должна заботиться тетка Кутас. Конечно, она, кто же еще?

Краем уха слышала Кутас, будто и Аскер вздыхает по Зурет, будто она к нему благосклонна. Ну и что? Пусть. Чем красивее девушка, тем больше у нее воздыхателей. Да и девушка, если не глупа, одному улыбнется, другому, третьему: как знать, кто возьмет тебя замуж, на ком твое сердце окончательно остановится.

Но сердце сердцем, а разум в этих делах тоже не последнее дело. И конечно, если по-умному, то Зурет надо выходить замуж за Касея, а не за Аскера, потому что сельской девчонке совсем ни к чему город-насмешник. Да и летчик-красавчик только для парадов, для дамочек хорош, а для семьи крестьянин лучше. Надежнее. Недаром же говорится: рыбе — вода, а человеку — земля.

Однако вот он и двор Нарыновых, а Кутас чего-то оробела. Хоть говорила Аскалу, что сама примется за сватовство, что ей проще простого уладить свадебные дела,

но... Гордая девушка Зурет, умная и образованная, к ней не подступишься с обычными аульскими приемами, она так может ответить, что потом всю жизнь краснеть будешь за свою глупость.

О! Нашла, придумала Кутас! Зайдет и поговорит с Фиж. Эта ведь своя, аульская, с нею можно и нужно разговаривать, как говорили об этом бабки и прабабки. А уж мать-то сама пусть со своей дочкой разговаривает, пусть сами думают, как жить будут дальше. А главное — с кем.

Огород у Нарыновых чистый. Вовремя пропололи, вовремя окучили картошку. И во дворе чистенько. Что мать, что дочка — работающие, любят во всем чистоту и порядок.

Сумерки уже сгустились, через минуту-другую и вовсе стемнеет, а Фиж все возилась в огороде — поливала помидоры из лейки.

— Фиж, а Фиж! — позвала ее Кутас.— Как твоё здоровье?

— А-а, это ты, Кутас. Не сразу я узнала тебя по голосу. Спасибо, здорова. Зашла бы на минутку, посумерничали немного.

— Когда ж сумерничать, если ты и в темноте работаешь.

— Заходи, заходи. Всех дел не переделаешь. Ополосну руки — и посидим немного, отдохнем на прохладе.

Вымыла руки Фиж, ополоснула лицо холодной, как ей показалось, душистой колодезной водой и вышла за ворота.

Сели на лавочке.

— Откуда идешь, Кутас? — спросила Фиж.

— У Данашевых была, поделила с Гуцой её радость. Слышала, и Сафер ваш должен приехать.

— Сегодня получила от него письмо, пишет, скоро приедет. Через неделю-другую,— радостно сообщила Фиж.

— Аскер говорил об этом. Лучше, если б они вместе приехали. Два товарища, летчики. Прошлись бы по улице — загляденье... Славный парень Аскер, такой красавец, да только... не жить ему долго. Бедный мальчик.

— Что ты говоришь, Кутас?! — всполошилась Фиж.— Ты как пророк. Разве простой смертный может знать, что будет с нами завтра?

— Зачем пророк, ты и сама знаешь, не живут мужчины Данашевых долго. Рок висит над их родом и падает им на голову в виде грозы.

Фиж молитвенно сложила руки на груди:

— Помилуй, спаси их, Всемилостивый Аллах. Бедная Гуца, как тяжело ей жить в страхе...

— Как упросишь Аллаха, если Он и сам определил эту кару.

Шла домой Кутас и радовалась, что утратила Фиж роком. Вот он тот самый ход, какой и был ей нужен. Правда, она вовсе не думала о нем, он пришел как-то сам, внезапно. Значит, это судьба, значит, нет на ней греха за этот поступок.

## 11

Касей стал опять появляться на улице на костылях. Нет, не потому что открылась язва,— просто надо было напомнить людям о его болезни, так велел отец:

— К осени всегда в армию забирают. Лучше нам с тобой побережись, а береженого, как говорят, и бог бережет.

Кутас, увидев Касея на костылях, в тот же день решила зайти к Кагазежевым и передать им свой разговор с Хатамом. Ничего, пусть посердится Хаджимос, а вдруг да смирит свою гордыню?

Едва переступив порог, Кутас обратилась к Касею:

— Послушай, племянник, когда-нибудь и ты меня должен так же обрадовать, как я тебя сейчас обрадую: Хатам сказал, что ищет нужную траву и вылечит твою ногу. Сегодня я видела — в лес пошел.

— Откуда тот дурак знает, какая болезнь у нашего сына?! — как и ожидала Кутас, рассердился Хаджимос. Бросил он на пол хомут, починкой которого занимался, вскочил.

Э, подумала Кутас, он не только рассердился, но и испугался. Чего испугался Хаджимос? Странное дело.

— Откуда, я тебя спрашиваю, тот дурак узнал о болезни нашего сына? Уж не ты ли проболталась?! — грозно наседал он на свояченицу.

Лифаф тоже испугалась, со страхом смотрела на сестру.

— Почему я... о болезни Касея знает весь аул.

— Откуда Хатам знает, какая у Касея болезнь?! Об этом я спрашиваю.

— Н...н...не знаю,— теперь почему-то овладел страх и Кутас.

— Проклятое бабье! — гремел Хаджимос.— Это вы распустили свои длинные языки! Улицы ими мести!

— Разрази меня гром, если я говорила кому-нибудь, какой болезнью болеет мой племянник. Как я могла говорить, если и сама никогда его ногу не видела.

— Не кричи на нас, Хаджимос. Ты не прав. Я ведь тоже не знаю, чем болен Касей.

— Послушай, тат, — заговорил Касей, стоявший у окна,— женщины ни в чем не виноваты. Наверно, виновен я.

— Как?! — взревел Хаджимос.— Рассказывай, поганец!

— Не сердись, тат, ничего страшного не случилось. Однажды меня встретил Хатам и попросил показать больную ногу. Как ему было отказать, не денег же он у меня просил. Я показал. Осмотрел он язву и сказал: «Ты, наверно, сжег ногу ядовитой травой. Она жжет, как крапива, а волдыри, которые появляются, потом гноятся». Сказал, старик один знает, как лечить эту язву. Вот и все.

— Вот видишь, а ты на нас...— начала было оправдываться Кутас.

— Молчи! Все молчите! — и заходил Хаджимос, твердо наступая на каблуки.

Тихо стало в комнате.

Совсем тихо, только стучали каблуки Хаджимоса, и стук этот был недобрый. Во всяком случае, так показалось Лифаф, и она не выдержала:

— Что ты ходишь, Хаджимос, что так страшно ходишь? Сядь и успокойся, пожалуйста.

Сел Хаджимос. Теперь было слышно его тяжелое дыхание.

— Этот мерзавец хочет нас доконать. То он хотел выселить нас из аула, то пытался меня убить, а теперь вот нацелился на Касея. Надо что-то делать. Делать, делать, а не сидеть сложа руки, иначе он...

Ничего не понимала Кутас: Хатам собирается вылечить Касея, а получалось, зло хотел сделать Кагазежевым. Какое зло? Что таят от нее? Что скрывают?

— Не волнуйся, тат, все будет хорошо, я ведь тоже не носом воду пью, есть и в моих руках сила. Ты вырастил себе сына и можешь теперь не волноваться за него. Он — твой сын, у него — твой разум и твоя хитрость.

— Спасибо, Касей,— немного успокоившись, сказал Хаджимос.— Спасибо. Но смотри, коварству врага нет границ. Будь осторожен и внимателен. Особенно к Хатаму — он спит и во сне видит, как нас извести...

А Хатам тем временем решил поискать ту траву, о которой ему рассказывал отец. Лет десять назад это было. Найдет ли он сейчас ту поляну, узнает ли траву, не ошибется? Ведь десять лет — срок немалый.

К обеду он добрался с отарой к валуну на опушке леса. Валун величиной с крестьянский дом, поросший мохом, а наверху росли два деревца. Маленькие, как он сказал бы, хромоногие. Сколько он их помнил, всегда они были такими маленькими. Наверно, потому, что на камне росли. Каждое поколение мальчишек Дагунохабля пытало свою сноровку, смелость и любопытство у этого валуна. Росли мальчишки, с маломальских лет поглядывали на серые уступы камня, на тучки, бежавшие над вершинками деревьев, поглядывали и ждали своего часа, когда воля одолеет страх, и каждый по-своему начнет взбираться на камень. Кто расквасит нос и снова полезет, заберется наверх и хлебнет упругого ветра, а кто и сломает ногу и на всю жизнь обретет страх перед утесами, перед высотой. А кто посмекалистей, тот без особого труда возьмет свою первую преграду: взберется на валун по лестнице, сбитой из жердей, срубленных в лесу украдкой от лесника. Без

особого труда взобрался на валун Хатам. Без особого труда взял каменный барьер. С камнем получилось просто, а с людьми куда как труднее.

Привел Хатам отару, устроились овцы в тени валуна и дремали, пережидали жару.

Хатам, приказав волкодавам быть у отары, пошел в лес. Снял папаху, расстегнул бешмет.

Прошелся ветер по бритой голове, пощекотал ее прохладой, подхватил Хатама под мышки и чуть было не приподнял над землю. И листвою деревьев забавлялся, будто весело болтал с лесом, будто рассказывал дубам и карагачам какую-то забавную историю.

Вошел Хатам в лес, вскинул на плечо ярлыгу и неторопко побрел по едва заметной тропинке. Эх, если бы не овцы, то, наверно, он стал бы лесником. Красота-то здесь какая. И сейчас красиво, и осенью, и зимой, и особенно весной, когда лес только просыпается, когда появляются первые листочки, когда свою первую весеннюю песню запекает синица, прилетает скворец, а потом и соловей.

Увидел неподалеку от старого дуба пенёк и соблазнился — сел, откинулся на рядом стоявший граб и закрыл от удовольствия глаза. Слушал, как шумел в вышине леса, заливался зяблик.

Подумал: неглупые, очень неглупые люди Кагазежевы, знают — где надо работать, гуляй себе, а нагулялся — присядь вот так на пне или приляг на полянке и отдохни. Подремлешь здесь часок — и покажется, будто в небе побывал.

Треск валежника послышался, шелест листьев.

Открыл глаза Хатам и увидел на тропинке Хаджимоса с ружьем в руках.

— Здравствуй, Хаджимос! — обрадовался встрече Хатам.— Интересно, как это мы с тобою встретились в таком большом лесу.

— Интересно,— буркнул Хаджимос.— На то я и лесник, чтобы встречаться с гостями в лесу.

Не понял язвительного намека Хатам и приветливо продолжал:

— Касей, наверно, говорил тебе о траве, которой можно вылечить его ногу?

— Говорил,— сухо, сдерживая злобу, ответил Хаджимос.

— Вот я и пришел за той травой. Пока жара, овцы будут смиренно стоять, а я найду, постараюсь найти то место у болота. Вот только не знаю, сумею ли угадать траву. Давно это было, когда отец мне показывал ее.

— Найдешь. Ты такой въедливый.

— Найду,— опять не поняв мрачной насмешки лесника, ответил Хатам.— Пойдем вместе к болоту. Это совсем рядом. Накопаем травы вместе с кореньями, и вылечишь сына.

«Будь ты проклят, собака»,— подумал Хаджимос, но все-таки пошел следом за Хатамом. Смотрел, как двигались сильные лопатки чабана под синей рубашкой, и свирепел. Почувствовал, что загорелась у него рука, в которой держал заряженное ружье.

Загорелась рука, и сердце зашлось яростной, полынной радостью: всего лишь миг — и все будет окончено, лопнет нарыв, который тянет столько лет.

Всего лишь миг.

Э, сколько в этом лесу творилось разных дел, сколько людей бесследно сгинуло в его непроходимых чащах. Что иголку в стоге сена найти, что человека в этом лесу — одно и то же.

Всего лишь миг.

Сейчас, вот у этого дерева ляжет чабан на сырую, прохладную землю. Тяжело дыша, остановился Хаджимос:

— Хатам, а Хатам, я слышу — дерево кто-то рубит. Ты иди к болоту, а я погляжу, кто там, и приду к тебе.

Побежал Хаджимос — быстро, яростно, хотел согнать с себя нахлынувшую ненависть. И просил бога спасти его от тяжкого греха, просил не допустить до кровопролития.

Бежал, молился, просил бога, а гнев не убывал, не переставал жечь сердце.

— Значит, судьба, судьба, судьба,— гнусаво и жалобно бубнил он,— значит, Аллах требует грешную душу чабана к себе на суд... Требуется Аллах... грешную душу.

Свернул круто Хаджимос, кинулся к болоту напрямик. Залег в осоке неподалеку от тропы, по которой должен идти Хатам, и замер.

Взвел курки двустволки.

Послышалась смешная песенка о смешном парне, который любит девушку и не знает, что делать со своей любовью. Вышел чабан из-за кустов, окинул взглядом болотистую поляну и нашел нужную траву. Сразу узнал ее и обрадовался, будто старого друга увидел. Вынул Хатам из ножен большой чабанский нож и стал копать им траву, продолжая напевать смешную песенку.

— Прими, Аллах, грешную душу богоотступника, — прошептал Хаджимос и выстрелил.

Упал в траву Хатам, а потом, пригибаясь к земле, кинулся в сторону, к зарослям чакана.

Промазал Хаджимос, отполз к кустам шиповника и подался от болота.

На перекрестке двух тропинок остановился, отдышался и кликнул:

— Хатам, Хатам, где ты тут?

— Здесь я, здесь! — откликнулся чабан и вскоре появился из-за орешника.

— Что тут за выстрел я слышал? Кто стрелял? Охота ведь запрещена, — озабоченно сказал Хаджимос.

— Какая охота, — ответил Хатам, — в меня стреляли. Гляди, на плече кожу дробинкой вспорол. И рубашку порвало.

Пощелкал языком Хаджимос, без поддельной искренности позавидовал чабану:

— Повезло тебе, повезло... Но скорее всего это мне повезло.

— Почему тебе? — удивился Хатам.

Нервно и как-то зловеще хохотнул Хаджимос.

— Кому ты нужен, кто в тебя стрелять станет? Это по мне палили. У лесника столько врагов, у-у. Рубашка у тебя синяя и у меня такая же — вот и спутали, ударили по тебе, думали, по леснику бьют.

— Ай-я-яй! — воскликнул Хатам. — Злодеи! Мы оба с тобой счастливые... А травки я успел накопать. Болезнь человеку творят листья травы, а лечут корни. Возьми эти

корешки. Просуши их в тени, а когда высохнут, истолки в ступе их и тем порошком присыпай язву. Через два-три дня заживет нога. Будет как новая, — широко и довольно улыбался Хатам.

Смотрел на довольного, даже какого-то счастливого чабана Хаджимос и удивлялся: «Что ж это за человек? Еще шаги его смерти не успели стихнуть, где-то рядом с ним она еще бродит, а он уже печется о Касее, о совсем чужом, чуждом ему человеке. Шайтан это, шайтан, а не человек. Вот и лицо выравнялось, и глаза уже не косые. Светятся они, как у кошки».

Испугался Хаджимос. Выхватил из рук Хатама корни травы и, стараясь не выдать своего страха, торопливо пошел прочь.

Шел, не оглядываясь, и бормотал: «Чур меня, чур меня. Огради, Аллах, от шайтана».

## 12

Вот уже который день, как получила Зурет школьный аттестат, а все не могла на него наглядеться — нет-нет да и снова выдвинет ящик стола, полюбуется оценками — «хорошо», «отлично». Слова как слова, но сейчас, в аттестате, они выглядели совсем иначе, совсем другой, какой-то таинственный смысл вроде бы имели. Конечно — особый. Конечно, в этих коротеньких словах десять лет жизни...

Перед вечером Зурет полила помидоры в огороде, вымыла в бочке руки, освежила загоревшее лицо и опять пошла посмотреть на аттестат. Только достала, только взяла его в розовые, еще прохладные от колодезной воды руки, вошла Фиж.

Вошла мать, тихонько закрыла за собой дверь, прислонилась к дверному наличнику и притихла, чтобы не помешать Зурет, да и самой чтобы еще раз вот так полюбоваться дочкой.

Всего несколько дней прошло, как Зурет перестала быть школьницей, а, поди ж ты, стала уже совсем другой. Взрослой стала. Походка у нее изменилась, взгляд. Странно. А тут еще Аскер. Когда он приходит в дом, Зурет стано-

вится и совсем взрослой, даже немного чужой, неподвластной матери. Ничего не поделаешь — все именно так и должно быть. Так устроен мир подлунный. И радостно Фиж, и грустно. Радостно, что выполнила свой долг, сделала свое материнское дело, а грустно оттого, что закончилось это трудное и счастливое дело.

— Дай мне эту бумагу, — попросила Фиж.

Вздрыгнула Зурет от неожиданности:

— Ой! Это ты, нан?

— Я, девочка. Дай мне эту красивую бумагу.

— Зачем? Ты видела ее уже много раз.

— Да и ты, по-моему, ее уже просмотрела до дыр. Духами она твоими насквозь пропахла.

Подала Зурет аттестат матери. Та смотрела на него повлажневшими глазами:

— За такую бумагу надо было ходить тебе в школу каждый день десять лет. Десять... Отец не увидел аттестата. Он тоже порадовался бы.

Капнули из глаз матери слезы, перехватила их платочком:

— Не оставайся в ауле, езжай в город. Езжай, учись. Будь счастливее меня. Поедешь, выучишься, а потом вернешься, будешь детей учить быть счастливыми.

— Я постараюсь, нан. Это трудно, но я постараюсь.

— Ну и хорошо. Я знала, что ты будешь моей радостью. Возьми, спрячь эту красивую бумагу.

Ушла мать.

Спрятала в стол аттестат, подошла к зеркалу Зурет и стала прихорашиваться — сегодня обещал прийти Аскер. Хорошо, что мама ушла — чуточку свободнее будет себя чувствовать. Самую капельку будет свободнее. Да и что ж тут такого, теперь все в ауле понимают, что Аскер женится, наверно, на ней. На выпускном вечере он почти все время танцевал с Зурет — девчонки злились и завидовали. А некоторые прямо подходили и говорили ей: счастливая ты, отхватила самого лучшего жениха.

Ждала Зурет Аскера и, когда постучались в дверь, подумала, что это пришел он с кем-нибудь из товарищей.

Хотела выскочить навстречу, но одернула себя, выдержала минутку: пусть подождут. Мужчин, говаривала мама, во многом надо сдерживать, хотя они этого и не любят.

Выждала минутку, пошла открывать, да ноги у нее так и подкосились. Касей и Аскал пришли. Загорелись у Зурет щеки — от гнева загорелись. Ведь сказала же обоим: чтоб больше не приходили!

— Мы пришли тебя поздравить с окончанием школы. С успешным окончанием. Поздравляем, желаем счастья в твоих будущих делах, в будущей жизни, — как-то многозначительно улыбнувшись, сказал Аскал.

— Спасибо, — ответила она.

— Валлахи, экзамены — дело не шутейное, — вступил в разговор и Касей, — уй, я знаю, что это за муки, но теперь у тебя все это тоже позади. Будь она неладна эта учеба-мучеба.

Расхохотался Аскал, обнажая ровные белые зубы:

— Что верно, то верно: для тебя легче стопудовые камни ворочать, чем сидеть за книгой. Зурет, мы с Касеем пришли сюда сказать тебе кое-что важное. Дерево, если его положить в воду, сгниет, вот так и молодость, если запереть ее между тяжелых стен. Пропадет самое драгоценное, что дано человеку великой матерью-природой. Мы хотим сказать, пусть не скучает, пусть не тоскует в твоей груди голубь, жаждущий свободы. Дай ему волю. Пусть летит твой голубь, ведь перед ним высокое голубое небо, прекрасная воля и этот парень, который сидит перед тобой, он прекраснее всех на нашей земле.

Что за ахинею нес этот Аскал! Зурет еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. А сидел он как! Положил ногу на ногу, лениво откинулся на спинку стула и покачивался — важно, солидно. Дескать, не шутки шутить я сюда пришел, а решать важнейшее дело. И не просить, а настаивать.

Смешной Аскал, вот уж смешной. Ну, чистый индюк. И парень-то неглупый, но вот напустил на себя эту важность, как в старину сваты важничали. Забыл, что ли, что сейчас не то время?

— Ты прав, Аскал: и небо высокое, и простор широкий, и день красив, но голубь мой пока не просится из груди. Он еще не умеет летать,— вежливо проговорила Зурет.

— Для того чтобы птица научилась летать,— заявил осмелевший Касей,— ей надо покинуть свое гнездо, а если не покинет, будет вечно сидеть сиднем.

Поняла Зурет намек Касея, посмотрела на него с упреком, покачала головой:

— Случается, что птенцу у мамы под крылышком лучше, чем в чужом гнезде.

— Зря ты, зря так говоришь,— загорячился Аскал.— Не тобой это придумано, не ты первая и последняя. У жизни свои твердые законы, и кто их нарушает, тот жалеет потом. Нет ничего печальнее, чем взрослая птица в родительском гнезде. Ты послушай, Зурет, что я тебе скажу: мы стоим на берегу ручья, не надо останавливать его быстрого и резвого бега.

— Простите меня,— покраснев как маков цвет, застенчившись, почти шепотом заговорила Зурет,— простите, но я только сегодня узнала, что в моем ручье лежит коряга.

— Как! — воскликнул Аскал.— Кто же это?!

Тут-то и постучали в дверь, тут-то и пришел Аскер со своим товарищем:

— Добрый вечер. Э, да у вас тут хорошая компания. Если бы мы знали, пришли бы пораньше.

— О, кого я вижу! — вскочил Аскал.— Я вчера приходил к вам, хотел увидеть доблестного летчика, но Гуца сказала, что ты уехал в район.

— Ездил по делам. Как ты живешь, Аскал?

Парни поздоровались, пожали друг другу руки. Зурет, как гостеприимная хозяйка, подала стулья.

— Как живу, спрашиваешь? Скукой маюсь. Село, оно и есть село, хотя и утопает в зелени садов и лугов. Скучаем. Вот пришли проведать Зурет, поздравить ее с окончанием школы.

— Какая скука? — удивился Аскер.— На тракторе работаешь, а сейчас самая страда.

— Верно,— вздохнул Аскал,— с темна до темна в поле, а хотелось бы — в небе, как ты. Ездил я в военкомат, не

берут в армию трактористов. Вот и ползаю на тракторишке. Ладно бы больной был, как Касей, а то ведь здоровый, как бык.

— Моя болезнь тоже, наверно, кончилась,— оживился Касей.— Хатам нашел траву и вылечит мою ногу. Выброшу свои костыли.

— Считай, что ты уже здоров, если сказал Хатам.

— Хорошо бы. А в будущем году я тоже мог бы поехать в город. Также хочу в военное училище.— И была в этих словах Касея искренность. Видно, и вправду тяготился он затеей отца и иногда подумывал о голубом небе.

Зурет стояла у кровати и молчала. Нетерпеливо поглядывала на Аскала — может, догадается и уведет Касея.

А Касей нетерпеливо и с явной неприязнью поглядывал на Аскера, хотел, чтобы тот ушел. Не из тех был Касей, кто просто так уступает свою тропинку другим.

Аскер улыбался: ничего, мол, все будет так, как надо, я в этом совершенно уверен, а ты, Касей, зря сердись. Может быть, нам обоим сейчас лучше уйти, а? Давай оставим девушку в покое.

— Ну, дорогие друзья,— наконец весело сказал Аскал,— гости ведь посидят, посидят да и уйдут. Не пора ли и нам прощаться с хозяйкой... Мы пришли с тобой первыми в этот дом, первым нам и уходить. Мы всегда, всюду первые.

— Да нет уж,— в тон Аскалу возразил Аскер,— все мы порядком намучили Зурет своими скучными разговорами, так что уж лучше вместе уйдем. До свиданья, Зурет. Спокойной ночи.

Однако ночь та была совсем не спокойной. Только Фиж задула лампу, только подошла к своей кровати, как комнату залило синим ярким светом, и тут же грянул оглушительный гром.

Зазвенели стекла окошек. Кольхнулась земля. Скрипнул старенький дом.

— Аллах всемиловитый, спаси, сохрани и помилуй Данашевых, окажи свою милость Аскеру,— запричитала Фиж.

Зурет тоже испугалась за Аскера, хотя разумом хорошо понимала — глупость все эти рассказы о роке над родом Данашевых. Понимала, но на сердце тяжело было.

Могучей и шквальной была гроза. Пронеслась она над аулом и раскатилась за долиной по степи, затерялась в ее просторах.

И уснули аульчане крепким крестьянским сном, не слышали они, как на западе разразилась другая гроза. Была она более беспощадной, жестокой, более кровавой, чем та, которую посылают на землю черные тучи неба.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Утро выдалось прохладным.

Прохладным казалось и голубое небо, подожженное восходящим солнцем. Прохладной была трава, униженная крупными каплями росы.

И тишина — былинки не шелохнется.

Сегодня первый день жатвы — день, которого ждет хлебороб целый год.

Встал Хатам пораньше, побрился, надел чистую рубашку.

В колхозе уже два года работал комбайн, и все-таки люди не могли к нему привыкнуть, по-прежнему смотрели на эту машину с недоверием и удивлением.

Третий раз выходил в поле комбайн, третий раз посмотреть на начало его работы собирался почти весь аул.

Хатам тоже повел свою отару к тучному пшеничному полю. Поднялся на косогор, свернул за перелесок, и перед ним открылось пшеничное поле, у края которого стоял комбайн. Похоже, еще не сошла роса с пшеницы — ждали.

Ах, как завидовал Хатам комбайнеру. Вот он там, на мостике машины, стоял над всеми людьми. Сегодня он был первым человеком. Поле, подумал Хатам, — это как

праздничный стол, а комбайнер — его тамада, хозяин. Взревел трактор. Тронулся комбайн. И пошел, пошел, клоня мотовилом тяжелые колосья к ножам косилки, оставляя после себя ровную стерню.

Восхищенно и понимающе покачивали головами мужчины, затаив дыхание глядели на работу комбайна женщины, а когда из его брезентового рукава в кузов грузовика посыпалось первое зерно, они мяли пшеницу пальцами, пробовали на зуб, словно бы не веря чуду, которое свершилось у них на глазах.

— Славное зерно!

— Добрый урожай!

В это время-то и прискакал из аула всадник на взмыленном коне.

— Что ж ты делаешь, поганец, коня совсем загнал?!

— принялся ругать парня один старик, а всадник, тяжело дыша, все никак не мог вымолвить слова и махал комбайнеру, дескать, заглуши мотор.

Взял коня под уздцы Хатам:

— Что случилось? На тебе лица нет.

— Война! — только выдавил из себя парень.

Зашумели люди, загалдели, женщины запричитали.

Жечаго повелительно взмахнул рукой. Заглохли моторы трактора и комбайна. Притихли колхозники. Замерли в тревожном ожидании. Только бил и бил копытом конь звонкую землю.

— Какая война? С кем война? — спокойно, но твердо спросил у всадника Жечаго.

— По радио передали, что сегодня на нас напала фашистская Германия. Фашистская Германия напала.

Охнули колхозники.

Поднял руку Жечаго:

— Спокойно, товарищи. Без паники. Комбайн продолжает работать — сейчас нам хлеб будет еще нужнее, будет дороже. А все остальные — в аул. К сельсовету. Там все узнаем подробнее и поговорим. Только без слез! Мужчины, успокойте женщин.

Вздывая пыль, побрели колхозники в аул.

Тронулся комбайн.

Тревожно рокотали моторы.

Тревожными волнами вздымалось море пшеницы.

К сельсовету в то утро собрался весь аул. Пришли древние старики и старухи, пришли женщины с грудными младенцами. Все понимали, что пройдет совсем немного времени и женщины останутся почти одни в ауле. На их плечи ляжет непомерная тяжесть: пахать землю, убирать урожай, ухаживать за скотом, воспитывать детей.

Тут же были Гуца и Фиж. Они-то знали, что их сыновья первыми уйдут в бой, знали, что смерть летчиков чаще всего настигает в небе...

— Повезло Кагазежевым, — сказала Фиж, — их Касея на войну не возьмут.

— Бедный, — сказала Зурет, — у него болит нога.

— Пусть бы лучше твой брат ходил на костылях, да был дома, чем сейчас...

— Что ты говоришь, мама!.. — воскликнула Зурет и огляделась по сторонам: не слышал ли кто слов матери.

Гуца тоже осталась недовольна своей подругой:

— Нехорошие слова сказала ты, Фиж. Уй, какие нехорошие. Я не хочу, чтобы мой сын был похож на Касея. Странно у Касея болит нога. Мне кажется, она болит тогда, когда им надо. Как только идти ему в военкомат на комиссию, так и нога начинает болеть.

— Зря ты так, тетя Гуца, — промолвила Зурет.

— Не зря. Сама вспомни, когда он с костылями ходил, подумай... А старый-то, старый лис, слышала, как поет? «Мой сын первым пойдет защищать отечество, мой сын настоящий воин. Да и сам я пойду».

— Может, и пойдут, — заметила Фиж.

— Все врет. Врет старый лис. Людям туману в глаза напускает.

Внезапно появился Аскер и сказал, что сейчас же идет в район, чтобы быстрее добраться до своего училища... И ни слова Зурет на прощанье. Как скажешь, если мать рядом? Стояла, ошарашенная страшной вестью, растерявшись, не могла с места сдвинуться. Проводила Зурет Аскера до калитки, только и шепнула, что будет его ждать...

На трибуну у сельсовета поднялся Жечаго и объявил открытым митинг, посвященный вероломному нападению фашистской Германии на Советский Союз.

## 2

Пустынно и тоскливо стало в ауле, потому что все меньше и меньше оставалось в нем мужчин.

Убирали урожай, пахали землю под новый посев старики да женщины. Мальчишки работали ездовыми, пасли скот.

Взрослели мальчишки не по дням, а по часам. Смотришь, и носа еще не мог вытереть как следует, а сел в бричку, взмахнул кнутом, строго прикрикнул на лошадей — вот он и мужчина.

И девчонки тоже выросли. Еще косички едва-едва заплетались, а станет дома к печке, начнет стряпать обед к приходу матери с поля, братишки с работы — и вот она, хозяйка, серьезности ей не занимать.

Война.

У магазина теперь вечерами собираются не каждый день. Да и кому приходиться? Мужчин пять-семь соберется. И разговоры стали не те. Соберутся, перескажут печальную сводку Совинформбюро об отступлении Красной Армии и молчат.

А однажды Жечаго сказал:

— Быть такого не может, чтобы наши люди смирились с временным отступлением Красной Армии. Не может быть такого. Если бы к нам пришли, разве мы сидели бы сложа руки?

— А что бы ты сделал? — мрачно спросил кто-то.

— Я?! Ушел бы в горы и оттуда гадам не давал бы покоя. Бил бы их, сволочей.

— Чем? — все тот же мрачный голос спрашивал.

Зло, язвительно рассмеялся Жечаго:

— Ты, наверно, не найдешь, чем бить, а я найду. Всякий найдет, кто захочет.

— Верно, — ответил другой голос, — в войну винтовку легче найти, чем кусок хлеба. Если придется, найдем оружие. Хоть бы у самих же фашистов отнимем.

Жечаго сейчас совмещал две должности — председателя колхоза и секретаря партийного бюро. А ночами едет с мальчишками сдавать хлеб на элеватор. Хорошо еще, что железнодорожная станция находится всего в пяти километрах от Дагунохабля — за ночь подводы успевают сделать по две ездки.

Разгрузился сегодня Жечаго, выехал со двора и стоял у переезда, ждал, пока разгрузятся мальчишки.

Утренняя заря была ярко-красной, словно отблеск кровавой войны.

Яркий свет тревожил Жечаго. Перед глазами стояли раненые солдаты с окровавленными повязками. И детишки, выглядывавшие из окон теплушек, — тоже красными казались.

Кровавая заря.

У Жечаго на правой руке нет трех пальцев, но указательный-то есть, значит, можно стрелять? Можно. Можно бить гадов? Можно.

Так он вчера и сказал в райвоенкомате. Очень просился на фронт. Ну, если не на самый фронт, то хоть рядом с ним — копать окопы, подвозить боеприпасы.

— Нет, — отрезал военком, — надо делать то, что велит тебе партия.

Неожиданно вспомнилось выступление Хаджимоса на митинге в первый день войны. Как он ладно да складно говорил. Кто не знал его, наверно, подумал, что искреннее и преданнее, чем Хаджимос, нет во всем ауле. «Если надо, то и мой больной сын, и я, старый человек, возьмем винтовки, если надо, умрем за нашу Советскую власть». Мерзавец, мерзавец — это он, только он стрелял в лесу по Хатаму. Когда Хатам рассказал все Жечаго — ни капли сомнений не осталось. Сердцем чувствовал Жечаго, что Хаджимос ненавидит Советскую власть. Хоть и не был Кагазежев кулаком, а только ради себя жил, добро скапливал, урывал, где мог...

Эшелон остановился у переезда. Жечаго услышал стук его колес, свисток паровоза и открыл глаза.

Молодые солдаты, свесив ноги, сидели в распахнутых дверях вагонов и пели:

До свиданья, города и хаты,  
Нас дорога дальняя зовет.  
Молодые, смелые ребята,  
На заре уходим мы в поход...

Заслушался Жечаго. Знакомым, армейским повеяло на него. Даже почудилось, будто он вместе с этими парнями отправляется на фронт.

Закричал паровоз, протяжно, громко, предупреждая о своем отправлении.

Вздрыгнул состав, громыхнули сцепки...

— Жеча-а-а-го-о-о!

Что такое? Кто там его зовет?

В дверях вагона стоял батальонный комиссар, махал пилоткой и звал Жечаго.

— Здорово, дружище!

Конечно, это он, комиссар Григорьев.

Спрыгнул Жечаго с повозки, кинулся к вагону...

Поезд набирал скорость. Его уже не остановить и не догнать.

— Товарищ комисса-а-ар!..

Укатил поезд. Укатил на фронт его батальонный комиссар.

Затосковало сердце, защемило, позвало в тревожную дорогу, позвало в большую солдатскую семью...

Каждое утро по радио сообщают о том, что Красная Армия оставляет города, покидает земли Украины, Белоруссии. Фашисты заняли Киев, Минск, Львов, Псков...

Жечаго знал, что в конце концов Советский Союз одержит победу над Германией, вышвырнет вон со своей земли фашистские полчища. В это он твердо верил, но если оставался один на один с самим собою, думал, что война будет долгой и трудной. Очень трудной. Не всякий одолеет эти трудности, не всякий найдет в себе силу быть стойким. Думал о страданиях, которые переносят советские люди. И самому ему в такие минуты было так тяжело, что он готов был бросить свою работу и снова идти к военкому. Но дело не отпусало.

— Ребята, наддай, наддай ходу! Надо поторапливаться! — привычно скомандовал Жечаго, и подводы тронулись в обратный путь.

На току было шумно, работали главным образом женщины и мальчишки. Руководил ими седобородый старик. В белом бешмете, в папахе, он неторопливо ходил по току, опираясь на посох, и отдавал скупые команды, взглядом из-под нависших бровей поторапливал нерадивых, приструнивал не в меру распалившихся мальчишек и девчонок, одобрительно улыбался тем, кто работал усердно.

Мальчишки крутили веялку попарно. Устав, уступали место напарникам, бросались на бурт пшеницы, закинув головы вверх, к небу, отдыхали. Высоко над ними кружили горные орлы, и гул веялки, наверное, казался им гулом боевого самолета, который высматривает фашистских стервятников... Гудит веялка, рокочет комбайн. Крутятся шестеренки машин, крутятся колеса подвод, мелькают копыта лошадей — торопит время мальчишек.

«Хорошо работают, — подумал Жечаго, глядя на бурты пшеницы, — такого еще не бывало — ведь, считай, одни женщины да дети на току... Похоже, совесть у всех строже стала».

У межи стоял комбайн. «Что такое, или поломался? Давно ли?»

— Распрягайте лошадей! — скомандовал Жечаго своей дружине, а сам поспешил к комбайну.

Спали комбайнер, штурвальный и тракторист, разбросавшись прямо на стерне. Гнев закипал в сердце Жечаго:

— Эй вы! Почему спите?! Поломалось что-нибудь?

Никто не ответил председателю. Крепко спали ребята. Растолкал Жечаго комбайнера. Тот таращил на него красные от бессонницы, от пыли глаза, ничего не понимая.

— Я спрашиваю, почему стоите?!

— А-а-а, ты про это, — наконец сообразив в чем дело, ответил комбайнер, — всю ночь работали. Хорошо работали. Ничего у нас не поломалось — роса, видишь, какая сильная, словно бы дождь упал. Пока она сойдет, поспим малость, а то ведь...

— Понятно, попятно, — виновато сказал Жечаго. — Как это я не сообразил? Спите, я сам разбужу вас, когда сойдет роса.

Рядом с током — полевой стан. Жечаго направился туда: надо сказать Кутас, чтобы она сегодня взяла у Хатама двух барашков, надо хорошенько кормить людей, а то обессилят и работать не смогут. Да и абрикосов надо взять в саду и наварить побольше компоту — пусть пьют вместо воды. Сытнее и приятнее.

У открытых дверей кухни стояла Кутас в белом переднике, в белой косынке, с подкрашенными губами. Несколько трактористов сидели под навесом. А в середине — Аскал в старенькой телогрейке, с котомкой в руках. Рядом с ним — бригадир тракторной бригады. Он кричал:

— Что ты выдумал? Если каждый начнет делать, как ему хочется, что получится?

— Все равно я поступлю по-своему, — старался перекричать бригадира Аскал, тоже размахивая руками.

— Что за шум, а драки нету? — шутливо спросил Жечаго.

— Аскал в дорогу собрался. Видишь, уже совсем вырядился. Бросает трактор и уходит, — ответил председателю бригадир.

Понял Жечаго, в чем дело, но не подал ему виду и, стараясь быть серьезным, спросил:

— Это как же получается, Аскал? Война, а ты бросаешь трактор, не хочешь работать? Отдохнуть решил?

— Э, ей-богу, что ты такое говоришь? Кто не хочет работать? — разгорячился Аскал. — Не гулять же я собрался. В военкомат пойду. Мужчина я или нет? Скажи, председатель, мужчина я или...

— Мужчина. Успокойся, мужчина.

— А если мужчина — на фронте быть должен, а не сидеть в тылу с бабами да с детьми. Позор. Позор!

— Разве позор — фронт кормить хлебом? А? Почему ты молчишь, Аскал? — спросил Жечаго. — Позор или не позор?

Молчал, не хотел отвечать Аскал.

— Я ему тоже так сказала,— вмешалась в разговор Кутас,— нас не будет — фронта не будет. Мы из села уйдем, наши солдаты с голода умрут. Я ему сказала: работай в поле один за троих, и тебя тоже солдатам считать будут, наградят, как все равно на боевом посту находишься...

— А ты бы помолчала! — прикрикнул на нее Аскал.

— Она верно рассуждает,— сказал Жечаго.— Ты уедешь, твой трактор станет, а ведь он заменяет десятки сильных работников. Вот и выходит, ты один работаешь за двадцать человек. А если станешь делать полторы-две нормы, то прикинь, что получится?

— И я ему говорю: ты со своими золотыми руками здесь нужнее, чем на фронте, ты, говорю, и стрелять-то не умеешь...— обрадованно поддержала Кутас председателя.

— Как не умею! — взвился Аскал.— Я — значкист. Ворошиловский стрелок!

— Не кричи так громко. Все знают, что ты отлично стреляешь, а Кутас просто шутит,— примирительно сказал Жечаго.

— Шутит, шутит,— ворчал недовольно Аскал,— лошадей и тех на фронт берут. Выходит, наш мерин нужнее меня. Все равно поеду в военкомат, не удержите.

Ушел Аскал, небрежно перекинув через плечо котомку. Жечаго долго смотрел ему вслед:

— Я понимаю. Обидно ему, что не на фронте. Некоторые из его товарищей уже убиты, некоторые ранены... Вот и стыдится своей молодости, силы наш Аскал.

— Ты тоже скажешь, Жечаго. Если все мужчины уедут, как нам жить? Для кого я буду готовить здесь еду?

— А разве это не мужчины,— пошутил Жечаго, указывая на гурьбу мальчишек, шедших с тока на завтрак.

Горько улыбнулась Кутас и ничего не ответила.

### 3

С тех пор как началась война, Кагазежевых почти не видно было на людях, ровно бы они и не жили в ауле. Калитка и дом всегда на замке, а ставни окон закрыты ночью и днем. То, бывало, по утрам и вечерам слышался

звонкий голос Лифаф, звавший кур, индюков, а теперь его совсем не слышать. И когда только она управляла скотину, кормила птицу? Соседки тоже забыли, когда Лифаф заглядывала к ним по хозяйским делам или просто, как бывало раньше, поговорить.

Кагазежевы рассуждали так: в такое тревожное время лучше всего быть под своей крышей — там и солнцем не обожжет, и дождем не вымочит.

Хаджимоса, конечно, по возрасту не призовут в армию, а Касея могут. Правда, пока молчат, наверно, помнят о его болезни, но в любой день могут принести повестку, и тогда прости-прощай их единственный сын. В ауле уже никого не осталось из сверстников Касея, только тракторист Аскал по-прежнему работает в колхозе и тот, слышно, рвется сам на фронт. Вот уж дурак, вот уж балбес! — думал о нем Хаджимос.

Раньше, бывало, отец с сыном каждое утро на виду у всего аула выезжали в лес и вечером возвращались оттуда. Делали это обстоятельно,— дескать, смотрите, знайте нашу силу, нашу неусыпную бдительность и страшитесь закона. Вроде бы — закона, а в самом деле — нас, Кагазежевых, страшитесь.

Теперь же, когда уезжали в лес Кагазежевы, когда возвращались оттуда, никто не видел. Затемно отец с сыном появлялись на улице, а то и вовсе оставались ночевать в лесу, в добротном, в глухомани сооруженном шалаше.

Да и караулить лес сейчас не было смысла — ведь никому и в голову не приходило в такое тревожное время строиться, плести плетни, обновлять заборы и сараи. У всех были поважнее дела.

В лесу стояла такая тишина, будто не было на земле не только войны, но и вообще ничего беспокойного. И если стихал ветерок, который изредка легонько и трепетно пробегал по вершинам могучих деревьев, то и вовсе казалось, что нет на земле ничего, кроме леса. Особенно в той чащобе, где соорудил шалаш Касей. Даже солнце на землю под теми дубами и карагачами заглядывало лишь ранней весной, поздней осенью да изредка зимой, когда на деревьях не бывало листвы.

На небольшой полянке шагах в двадцати от шалаша лежал Касей на копешке свежего сена и смотрел на одинокое облачко в небе. Там вверху, похоже, не было ветра, и облачко почти не двигалось, висело прямо над Касеем. Он смотрел на него и думал, что так же одинок, как это облачко. Касея так же неизвестно куда несет непонятная, пугающая судьба. Касея так же может растрепать жестокий ветер судьбы.

А где Сафер с Аскером? Они тоже в небе, но к ним судьба относится иначе. Они не одиноки, у них есть стальные крылья, с ними не так-то просто справиться ветру.

До слез стало больно и обидно за себя Касею и, чтобы смягчить эту боль и обиду, он и оборвал себя: где они сейчас, Сафер и Аскер, в каком небе, и живы ли? Вон в газетах пишут, сколько каждый день сбивают наших самолетов. Ну и пусть, никто их туда не толкал, сами хотели летать, быть самыми лучшими в ауле.

Острая боль пронзила ногу Касея. Он закрыл глаза, застонал. Язва опять начала сочиться — отец приложил к ней свежей травы. Так надо, ведь каждый день могли прислать повестку из военкомата. Холодный пот выступил на лбу. Похолодели, занемели пальцы на ногах. Минут пять длился приступ боли, потом стало легче. Оттого, что стихла боль, все вдруг стало красивее, милее. Цвет листьев и цветов девясила, зверобоя стал ярче.

Странное дело, так было всегда после приступов боли. Выходит, если хочешь познать доброту и любовь, сначала познай зло и ненависть. Выходит, что так. А вот ведь в школе ничего не говорили об этом. У них там все получалось уж слишком просто и понятно, все в розовом цвете, а теперь вот и мучайся, терзайся сомнениями, тычься в темные углы, как слепой теленок. Есть, конечно, и такие, которым все понятно. Аскер, Сафер. А теперь за ними тянется и Аскал: заладил одно — хочу на фронт. Повоевать ему, дураку, захотелось. Повоевать, будто на танцы сходить. А вообще, он, наверно, глуп. Конечно, глуп. И как об этом Касей раньше не догадывался. У Зурет, например, он нес такую чушь, что просто уши вяли у Касея, и правильно она сделала, что показала им на порог.

Улыбнулся Касей — хорошо, что есть на свете эта девушка, что о ней можно думать, ее даже можно увидеть. И не важно, что она их с Аскалом выпроводила, не важно, что не сказала ему о своей любви. Но кто из девушек скажет парню, мол, одного тебя люблю? Нет, не дождешься от них этого, так уж они устроены. Только в книжках девушки пишут любовные послания, признаются в своей пылкой и вечной любви...

Позавчера Касей видел, как у речки стояли Зурет и Хатам. Вспомнил об этом и усмехнулся: пусть они думают, что их никто не слышал. Мальчик, которого попросил Касей, сидел в кустах и все слышал, а потом рассказал об их разговоре ему. Разговор вроде бы у них был пустой, вроде бы случайно они встретились, но... разве узнаешь, что на уме у Хатама? Коварный он человек и молчун, а от молчуна можно ждать чего угодно. Они такие, молчуны, — ничего не говорят, но уж если втемяшится им в башку какая блажь, колом ее оттуда не вышибешь. Неужели же и этот косоглазый вслед за Аскером хочет попытаться у Зурет своего счастья? Пусть только попробует, Касей тогда сочтется с ним за все разом. Не будет ему пощады.

Хатам Хатамом, он получит свое, но неужели же Зурет предпочтет его Хатаму, грязному чабану? О, Касей этого не потерпит. И чем сильнее у него к ней любовь, тем сильнее будет ненависть и... страшно подумать — беспощаднее месть за свою поруганную любовь.

Со стороны болота послышался топот коня — этой тропой ходит только отец, но Касей все же насторожился...

Вскоре из-за куста показался Хаджимос:

— Как дела, сын? Все тихо?

Касей принял повод коня из рук отца, привязал к кусту. Разнуздал, ослабил подпругу:

— Вроде все спокойно. Я вчера тебя ждал, да так и не дождался.

— Дела были в ауле, потому и задержался, — ответил Хаджимос и вытащил из-за пазухи котенка.

— Зачем это? — удивился Касей.

— Мать велела. Говорит, все не так скучно сыну будет.

— Валлахи, верно нан сказала,— обрадовался Касей. Взял котенка в руки, а тот прижался к нему и замурлыкал.

Отец отвязал от седла котомку:

— Еды привез. Лепешек горяченьких мать передала. Поешь, пока не остыли.

Котенок юркнул в шалаш и стал обнюхивать закоулки, наверно, слышал запах лесных мышей.

Отец с сыном уселись на сене. Касей принялся за еду.

— Что нового в ауле?

— Семерых парней вызвали в военкомат и четверых старшего возраста.

— Аскала не взяли?

— Нет. Не трогают трактористов.

— А мне повестки не было? — спросил Касей, и если бы отец был повнимательнее, то наверняка услышал бы в вопросе сына тоску.

Не услышал этого Хаджимос, не подозревал, что сын иногда стыдится своего безделья и постоянного обмана, на который толкает его отец.

— Пока не присылали тебе повестки, а что будет дальше, посмотрим. Вчера встретился мне Жечаго, справлялся о твоём здоровье. Уж не нашептал ли каких гадостей ему Хатам?.. Пусть шепчутся, плевать нам на них. Недолго им осталось командовать нами.

Снизил голос Хаджимос. Хоть и были они в лесу, с предосторожностью огляделся вокруг:

— Немец прет. Красная Армия бежит. Без боя оставляют города и села. Рассказывают, у немцев такие самолеты и танки, что наши против них совсем ничто. Бегут, бегут большевики. Скоро и мы поспразднуем, вспомним все свои обиды и отомстим за них сполна.

Совсем тоскливо стало на душе у Касея от этих слов отца. Касей не представлял себе иной жизни. Всякая другая казалась неестественной, чуждой. И в то же время, когда отец говорил о какой-то особой доле для них, Кагазежевых, радовался: может, Зурет хоть тогда обратит на него внимание? Кроме Зурет, Касея ничто не интересовало.

Напрасно Хаджимос привез в лес котенка: когда вернулся он из леса домой, увидел на столе повестку, вызывавшую сына в райвоенкомат.

Лифаф плакала, а Кутас ругалась на нее:

— Чего ты раскисла, чего ревешь? Касей не хуже других парней будет служить в армии, не хуже других добудет себе славу. И о нем напишут в газете, как писали о Жечаго, пишут сейчас о других аульчанах, которые воюют с проклятым немцем.

— Ах, Кутас, не было у тебя детей, поэтому ты не знаешь, как болит материнское сердце, когда его разлучают с сыном, когда посылают его на войну. Бедный мой сыночек, кровиночка моя... Будешь ты там голодный и холодный, будут враги стрелять по тебе, и некому там заслонить — защитит тебя от злой пули...

Не выдержала Кутас и тоже зарыдала, заголосила. Может быть, она не столько голосила по Касею, сколько потому, что у нее не было детей, что ей некого оплакивать, не по кому проливать материнские слезы.

Хаджимос еще на улице, подходя к своему дому, услышал рыдания жены и Кутас, подумал, что плохие вести его ждут. Не стал он расседлывать коня, а привязал его прямо у калитки и быстрыми шагами направился в дом. Вошел в комнату и, не спрашивая в чем дело, закричал на женщин:

— Эй! Чего вы тут гам подняли? Чего слезы льете? Или в доме покойник? А?! Я вас спрашиваю! И перестаньте орать!

— Забирают нашего Касея, забирают единственного сына на войну, убьют его там, покалечат...

— Замолчи, дура! Чтоб тебя за твои дурацкие слова громом разбило. Разве наш Касей не мужчина, разве он менее храбр и удал, чем другие? — с напускным спокойствием говорил Хаджимос. Слова эти он произнес для Кутас — она завтра же разнесет их по всему аулу.

— Верное твое слово, Хаджимос, мудрое твое слово, — вытирая слезы, поуспокоилась Кутас, — не один же наш Касей идет на войну. И не пошлют его с больной ногой, а

сначала вылечат. Военные доктора — самые лучшие. Успокойся, Лифаф.

Хаджимос читал повестку и уже не слышал, о чем говорили женщины, не обращал на них внимания. Думал о своем: все идут на фронт, все воюют — и пусть воюют, а ему-то зачем поступать так, как поступают все. Он не баран из стада, а человек. Пусть все воюют, пусть возвращаются домой калеками или остаются лежать в чужой земле, а Хаджимосу и его сыну это ни к чему. Надо сделать все, чтобы Касея не призвали в армию. Надо сегодня же парня отвезти в район и показать врачу, надо найти главного из призывной комиссии и поговорить с ним, пощупать, возможно, он согласится на деньги или на золото. Есть у Хаджимоса золотишко, есть. Не сдал он его в тридцатые годы государству, утаил про черный день. Вот он и пришел этот день. Нужно спасти сына, не для того он родил его на старости лет, чтобы отдать смерти. В народе говорят: пока топор вскинута вверх, полону ничего не страшно, но это время так коротко. Чего же медлит Хаджимос, чего он так долго и нудно рассуждает, вместо того чтобы действовать?

— Умная ты женщина, Кутас, — стараясь быть спокойным, заговорил Хаджимос после долгих размышлений, — войну не люди затевают — это кара Аллаха людям за их преступления. Переполнилась, переполнилась земля грехами нашими тяжкими. Если возьмут Касея, значит, так угодно Аллаху. Лучше бы взяли меня, лучше бы мне, старому, умереть, чем молодому, моей опоре и надежде...

Заливаясь слезами, с трудом сдерживая рыдания, чтобы не гневить мужа, Лифаф проговорила:

— Правда, старик, правда.

— Успокойся, старуха, прошу тебя, не рви моего и своего сердца. Мы-то посылаем одного сына, а у других двое, трое ушли воевать.

#### 4

Зурет стала ходить на ток. Женщины давно привыкли к тяжелой работе, а ей в первые дни было ох как трудно.

Придет, бывало, домой, умоется и сразу в постель — ни есть, ни пить ей не хотелось. Спала крепко, и все же боль в руках, в спине до того была сильной, что Зурет стонала во сне. Мать просыпалась от этого стога и подолгу сидела у кровати дочери, не зная, чем ей помочь.

Так было с неделю, а потом молодость взяла верх — трудная работа стала для Зурет обычной, как и для всех. Обветрилась она, загорела. Загар был у нее, как говорят, с вишневым соком. Девушки и женщины завидовали красивому загару Зурет и допытывались, какими она мазями мазалась. Зурет только пожимала плечами и застенчиво улыбалась.

Любовались Зурет пожилые мужчины и подростки, любовались ею женщины и роняли слезы на пшеницу, вспоминая своих сыновей, ушедших на фронт. Каждая из матерей думала, какую работящую, скромную и красивую жену мог привести в дом ее сын, если бы не война, если бы ему довелось спать не в сырых окопах, а дома на материнской перине.

Кутас, с тех пор как стала работать Зурет, проторила тропинку с кухни на ток:

— Каждый должен помогать, чем может. Пока варится говядина, я помогу грузить зерно или еще что-нибудь.

Говорила так женщинам Кутас, а сама-то думала иначе: ей надо было поближе познакомиться с Зурет, чтобы потом начать действовать, рассказывать девушке, какой хороший парень Касей и всякое такое.

Женщины похваливали Кутас за помощь, но Гуца сразу разгадала замысел тетки Касея, и это ей очень не нравилось. Всякий раз, как только появлялась на току Кутас, Гуца хмурилась и уходила прочь, ворчала:

— Бесстыдница, вот уж бесстыдница, посмотрите, как она крутит задом. Фу, срамница.

А Кутас хоть бы что. Ничего она не замечала.

— А ты все, Жечаго, говоришь, я плохо работаю, — похваливала она себя.

— Напрасно ты это, — ответил ей Жечаго, — я бригадиру сказал, чтобы он тебе писал трудодни за кухню и за ток. Молодец ты, хорошо работаешь. Спасибо тебе... Послушай,

Кутас, трактористы с кухни машут чего-то, наверно, суп уходит.

— Если уходит, крышку откроют, а я поработаю. Сегодня мясо старое, ему еще долго кипеть... Эй, Мамырхан, до чего же красивый у тебя муж,— шутит с женой Жечаго Кутас,— смотри за ним, а то как бы он не забыл дорогу в твой дом.

— А я и так уже не помню, когда видела его дома,— смеется Мамырхан,— вечером он приходит с работы, я сплю, утром уходит, тоже еще сплю.

— Ой, смотри, Мамырхан,— притворно пригрозила Кутас.

Женщины, стоявшие рядом, рассмеялись.

Жечаго, смутившись, махнул рукой и пошел прочь. В это время подъехал на подводе старик — женщины сразу же смолкли, неудобно при старике вести такие разговоры.

— Как там Касей поживает? — прервала неловкую тишину Гуца.— Как его нога?

Кутас горестно покачала головой:

— Он уже третий день в больнице. Лечат его.

— Бедный, бедный.

— Видно, чем-то прогневили Аллаха родители.

— Аллах милостив, Он наказал, Он и простит.

Это переговаривались между собою женщины, сочувственно поглядывая на Кутас. Та выслушала их почтительно и ответила:

— При чем тут Аллах, я давно говорила Хаджимосу, чтобы отвез мальчика в город к хорошему доктору, а он только махал рукой. Вот и домахался, чуть не загубил сына.

Гуца отошла в сторонку — грустно ей стало, заныло сердце: Аскер, как уехал из дому в день начала войны, написал ей всего одно письмо. Написал, что доехал благополучно, и больше ни слова.

Как он там?

Где он?

Если на фронте, жив ли?

И Сафер тоже не пишет.

На стане ударили в рельс — Кутас звала всех обедать. Тут уж она и вовсе в центре внимания. Орудует черпаком, наливая борщ, накладывает в миски кашу, поливает соусом. Смешит трактористов шутками, иногда вводя их соленым словцом в краску.

Вокруг полевого стана уже убрана вся пшеница, осталась неширокая полоса вдоль леса — там бывает поменьше солнца, зерно созревает позже. Подборщики собирают солому и подводят туда, где старики мечут скирды.

По стерне пасется отара овец, а Хатам помогает старикам скирдовать солому. Он ловко работает вилами, умеет вершить скирды, и старики за это к нему относятся с уважением — далеко не каждый из хлеборобов умеет вершить.

Подходит к концу уборка колосовых. Уже поспевают кукуруза, подходит подсолнух, а там подоспеет и уборка свеклы.

Работы, как обычно,— много, а людей все меньше и меньше. Вчера забрали четырех лошадей — две подводы остались безлошадными. Значит, придется оставшимся поднатуживаться, придется работать всем в две смены.

Работа, работа, работа...

Огурцы с помидорами надо убирать, потом картошку и капусту. Сами колхозники, наверно, как-нибудь и перебились бы без помидоров, накопили бы картошки себе в своих огородах, но ведь надо кормить армию, надо кормить фронт.

Работа, работа...

Но не она страшит крестьян, их пугают беспощадные сводки Совинформбюро о сдаче городов Белоруссии и Украины, их угнетает то, что фашисты рвутся к Москве.

Жечаго думал, что его мог бы заменить на посту председателя какой-нибудь толковый старик, хотел уйти на фронт, но... Если воспитываешь тракториста Аскала, умей и себя держать в руках, партия считает, что здесь сейчас нужнее Жечаго.

Красивая скирда получается у Хатама, подумал Жечаго, подходя к отдохавшим колхозникам. Война, можно бы и попроще как-нибудь сложить, не до красоты, но, похоже,

мастер не может иначе — он всегда делает свое дело ровно, хорошо.

Увидели колхозники подходившего к ним председателя, стали подниматься, братья за вилы — вроде бы неловко сидеть в такое горячее время.

— Отдыхайте, — сказал Жечаго, — я знаю, если вы уж сели отдохнуть, значит, пора отдохнуть.

Съехал со скирды, будто на салазках, Хатам:

— Ну и жарыща сегодня. Ветер горячий, как из печной трубы. Теперь бы водицы из ручья, да не возят.

— Не возят, — согласился Жечаго, — не на чем возить, лошадей не хватает.

— Да я просто так сказал. К слову пришлось... Э, а кто там скачет? Никак Хаджимос? Он и есть.

— Что случилось, чего это он в поле прискакал? Лет десять он, по-моему, не показывался в полях.

— Как из колхоза ушел, так и не бывал, — подтвердил кто-то, — наверно, припекло ему, вот и скачет.

Подскакал Хаджимос на взмыленном Гнедом, не по годам ловко соскочил с коня:

— Валлахи, хорошо, что нашел вас, Жечаго и Хатам.

«И я ему понадобился?! Вот дела», — подумал чабан.

Жечаго тоже удивился: наверно, действительно клонул жареный петух, если пришел к председателю колхоза за помощью.

— Что случилось, Хаджимос, чем я могу тебе помочь? — весело, но без насмешки спросил Хатам. — Может, трава нужна для Касея?

— Я только что из района, — растерянно проговорил Хаджимос, — там эти... они говорят, что Касей симулирует. Грозят военным трибуналом.

Никто и никогда еще не видел таким жалким Хаджимоса, никто не видел его просящим милостыню, а сейчас он, кажется, просил ее.

— Симулирует? Трибунал? — удивленно переспросил Жечаго.

Колхозники притихли, окружили Хаджимоса, смотрят с удивлением и сочувствием.

— Э-э, дело твое плохо, — сказал тракторист Ужибов, — трибунал не штрафует, как ты любил это делать, он если приварит...

— Пожалуйста, помолчи, Хазрет, — попросил Жечаго. — А ты, Хаджимос, расскажи все толком.

— Я знаю, почему они так говорят, — сбивчиво заговорил Кагазежев, — это мы виноваты с Хатамом: решили Касея вылечить травой. Я приложил ту траву, которую дал мне Хатам, а нога распухла еще хуже. Ты давал, давал мне траву, Хатам? Скажи правду перед всеми людьми, перед богом скажи. От твоего слова зависит жизнь моего сына. Хазрет правду говорит, трибунал шуток не любит.

Еще тише стало у скирды. Напряженнее. Все ждали, что скажет Хатам. Подтвердит он или нет? Хатам не собиравшись своим молчанием пытать Хаджимоса, он просто думал. Наконец заговорил:

— Давал я Касею траву, но траву, которая лечит язвы...

— Давал, давал! Все слышали, — он давал! — радостно воскликнул Хаджимос.

Хатам нахмурил брови:

— Давал, но давал хорошую траву. Ею пользовался мой дед, потом отец, — это целебная трава.

— Не знаю, не знаю, — посветлел лицом, оживился Хаджимос, — может быть, дед и отец лечились травами, но ты-то не лечился и мог ее спутать. Мог. Да и люди знают, ты никогда нам не желал добра, не друзья мы тебе, вот ты и...

— Что-о-о-о! — не своим голосом закричал Хатам и двинулся с кулаками на Хаджимоса. — Я убью тебя за эту гадкую ложь!

Как знать, возможно, и убил бы, силы для этого у чабана было достаточно, да его вовремя оттащил Жечаго.

## 5

Начались осенние ливни.

Уже убрали подсолнух — на полях только стояла кукуруза, ждала своей очереди. Пахари поднимали зябь,

пахали пары, готовились к севу озимых. На дальних вершинах гор обновился снег и горел, казалось, ярче солнца.

Зурет не поехала в город.

— Какая учеба, нан, в такое время? В колхозе некому работать, а я уеду? Нет. Кончится война, тогда и буду учиться.

И с матерью не хотела расставаться Зурет. Фиж давно страдала сердечными приступами, а как началась война, как уехал Сафер, они стали учащаться, стали тяжелее. Мать старалась не показывать своей болезни дочери, чтобы не расстраивать ее, и, как только начинался приступ, уходила в свою комнату и там отсиживалась. Думала Фиж, Зурет ничего не замечает, но Зурет все видела. Она свозила Фиж в районную больницу, там матери категорически запретили работать, и теперь она не ходила в поле. Дома, конечно, управлялась по хозяйству, бодрилась, но Зурет видела, как плохо ей было. А тут еще Сафер — его досрочно выпустили из училища и отправили в боевую часть. Написал он об этом в начале войны — и с тех пор от него нет писем.

Нет писем с фронта от сына. Что можно рассказать о страданиях матери, о ее больном сердце? Разве для этого найдутся нужные слова?

Как-то выдался погожий день. Свежий южный ветер подсушил кукурузу, подсушил землю, и с обеда бригадир послал на кукурузное поле. Зурет попросила соседку присмотреть за матерью и пошла на работу. В поле взяла свои два рядка и стала ломать початки. Работалось ей легко. Она тихонько напевала и спрашивала, откуда и почему к ней пришло сегодня хорошее настроение. Вдруг ей показалось, что ее кто-то позвал.

Оглянулась — высоко в синеве неба торжественно белела Ошхамахо, возвышаясь над грядой гор. Давно Зурет не видела таких ярких и ясных гор. Обрадовалась их обманчивой близости. Раньше-то Зурет ничего не замечала... Недаром в народе говорят: если сердцу больно, то глазам печально.

— Осенью Ошхамахо так красива, правда, Зурет? — это сказала соседка по кукурузным рядкам. Она тоже

смотрела на гору, тоже любовалась ее красотой, и сама от этого становилась красивее.

Зурет согласно кивнула головой — ей не хотелось разговаривать, хорошо и покойно было у нее на душе. А потом вдруг сама начала:

— Ты не знаешь, далеко ли до Ошхамахо?

— Говорят, далеко. Кажется, близко, а люди говорят — очень далеко. Да и зачем тебе это знать? Зачем?

Странное дело, из уроков географии девушки знали точное расстояние до горы Эльбрус...

Не ответила на вопрос подруги Зурет, сама спросила у нее:

— А скажи, за что мы любим Ошхамахо? За то, что она так высока, что так чисты ее белоснежные купола, что ли?

— Ошхамахо нельзя не любить. На то она и Ошхамахо, чтобы ее любили.

— А другие называют ее Шат-горою, третьи Эльбрусом и тоже любят. Каждый народ по-своему украшает свою землю легендами и сказками.

Солнце уже клонилось к закату, когда Зурет со своими подругами закончила работу у дороги близ аула. Закончили работу и пожилые женщины. Все вместе спустились к ручью, умылись, а когда опять поднялись на дорогу, увидели три подводы, на которых сидели незнакомые детишки, женщины, лежали чемоданы, мешки.

— Кто это едет к нам в аул? — заволновались женщины.

Зурет вспомнила, что Жечаго вчера говорил ей о беженцах с Украины. Может быть, это они и есть?

Не ошиблась. Они.

Жечаго спрыгнул с подводы:

— Здравствуйте, женщины! Встречайте гостей...

Одна за другой остановились подводы. Стих скрип колес. Женщины и дети сошли, робко поздоровались, поклонились, как кланяются, впервые входя в чужой дом, и остановились в нерешительности.

Ждали гости, что им скажут хозяева. Молчали хозяева, пристально и тревожно рассматривая нежданных гостей. Детишки жались к подолам матерей, прятались за их спи-

ны. Маленькая, истощенная голодом девочка, сидевшая на руках, вероятно, бабушки, едва слышно, тоненько тянула:

— Есть хочу-у-у...

Веками складывалось известное кавказское гостеприимство, Жечаго не сомневался в добрых сердцах своих аульчан, но сейчас у него екнуло тревожно сердце — уж больно необычными были гости, уж больно необычным было время для радушной встречи гостей.

— Разве же они гости? Они наши родные,— сказала Гуца и твердой походкой хозяйки направилась к первой подводе. Подала руку пожилой женщине, а потом погладила девочку, которую женщина держала на руках: — Не плачь, маленькая, сейчас я накормлю тебя.

Тут же стоял мальчуган лет десяти. Русоволосый, с большими светлыми глазами. Рядом — смуглая женщина. Зурет подошла к ней и неожиданно для себя обняла ее. И заплакали они обе.

Вздыхнул облегченно Жечаго. И у него повлажнели глаза. Заговорили женщины. Говорили по-адыгейски, говорили по-русски, но понимали друг друга своими сердцами.

Вскоре перезнакомились. Начались расспросы, начались рассказы о войне. С разговорами двинулись к аулу, как заметил Жечаго, одной большой семьей.

Жечаго дорогой прикидывал в уме: куда, к кому пристроить семьи беженцев, а вскоре понял, что все само собой разберется.

Въезжали беженцы в аул, а Жечаго казалось, что это вторгалась в аул война...

Во дворе Зурет сказала матери:

— Наверно, мне не следовало этого делать, не посоветовавшись с тобой... я пригласила к нам жить этих людей, нан.

— Я очень рада, что у тебя доброе сердце,— ответила ей Фиж,— ты правильно поступила... Проходите, проходите в наш дом.

Улыбнулась Фиж:

— Как зовут тебя, мужчина?

— Владиком.

— Вот и хорошо. Как я рада, что в нашем доме опять будет мужчина. Проходи, пожалуйста. А как зовут твою маму?

— Ее зовут Фаиной, нан,— ответила за мальчика Зурет.

Фиж подала Фаине руку и ввела в дом. Говорила она с гостями на смешанном русско-адыгейском языке, но всем было понятно. Пока умывались гости, ужин, приготовленный на двоих, Фиж разделила на четверых. Принесла из погреба побольше молока, сыра — едой заставила весь стол.

Владик стал есть суп и сморщился:

— Не горячий, а жжет, как горячий.

Фаина рассмеялась:

— Ты забыл, что мы на Кавказе, здесь очень много едят перца.

Фиж подала Владиду кружку холодного молока:

— Попей, это сразу смягчит. Я не знала, что ты приедешь. В другой раз я меньше буду класть перца.

— Ни в коем случае,— возразила Фаина,— он мужчина, пусть становится настоящим джигитом.

— Я буду, обязательно буду,— ответил Владик и стал мужественно есть крепко наперченный суп, а затем и соус.

Целую неделю Фаина и Владик не видели горячего и теперь ели, словно за все дни сразу.

— Если так, я научу тебя есть горький перец прямо стручками, как подобает настоящему джигиту, а соседние мальчишки научат ездить верхом на коне.

— Обязательно научат. Ты не боишься лошадей? — спросила Зурет.

— Боялся,— ответил Владик,— а теперь уже не... буду бояться.

Вечером в доме Нарыновых, как, впрочем, и в других домах аула, долго горел свет.

Долго не спал в эту ночь весь аул.

Рассказывали беженцы о своей родной Украине, рассказывали о горе, которое ничем не измерить. Как их бомбили, как нападали даже на санитарные поезда, как расстреливали из пулеметов мирных жителей на дорогах.

Чужие люди — они становились в этот вечер родными, их роднила общая беда. В каждой семье был кто-то на фронте, кто-то находился уже в госпитале раненый, а кто и остался лежать в украинской земле.

Когда пришла пора спать, Фиж повела своих гостей в соседнюю комнату и сказала:

— Здесь жил мой сын, теперь эта комната ваша. Пусть вам будет здесь хорошо. Пусть хорошо вам будет у нас в ауле. С сегодняшнего дня ваша беда — наша беда, ваша обида — наша обида...

## 6

Пришла капризная осень — то задождит на целую неделю, то подует холодный ветер, срывая последние листья с деревьев, а то нагрянет жара, ни дать ни взять — лето. Пыльно становится в ауле, душно.

Хатам два раза был в военкомате, но отказали ему наотрез. То ли овцам он нужнее, то ли из-за проклятого косоглазия. Старался не думать об этом Хатам. Работал, где надо было.

Все ждал Хатам, может быть, позовут его в район, может быть, обвинят, что он дал Касею не лечебную, а зловредную траву. И вот ведь как получилось, Хатам отнесся к Касею со всею душой, думал помочь ему, думал, что беда Кагазежевых — это его, Хатама, беда, а обернулось вон как, чуть ли не виноватым он оказался. Хорошо, хоть люди в глаза не обвиняли.

На днях Жечаго сказал Хатаму, что Касея выписали из больницы и призвали в армию. Обрадовался этому Хатам, обрадовался, что выздоровел парень и теперь пойдет бить фашистов. Но зачем Хаджимосу понадобилось принародно глупость говорить о Хатаме, о зловредности той травы? Зачем? У-у-у, хитер старый волк, что-то было у него на уме. Надо бы выпросить его, надо бы покопаться в его мозгах, да все никак не доводилось Хатаму встретиться с Кагазежевым. Не сходились их дороги: тот — лесник, а этот — чабан. Но как бы ни путались, как бы ни разбегались в разные стороны дороги, рано или поздно

они все равно пересекутся. Пересеклись дороги лесника и чабана.

Встретились они у грейдера, который ведет в район.

Хатам, как и подобает младшему, первый поздоровался со стариком, а потом спросил:

— Чего-то ты ничего о нашем деле больше не говоришь?

— О чем это еще? Какие у меня с тобой дела? — сердито отозвался Хаджимос.

— Вот как! — удивился Хатам. — То сам прискакал, просил при людях, а теперь...

— Оставь меня в покое. Ничего я не знаю и знать не хочу, — совсем сердито сказал Хаджимос и тронул коня, взял легкую рысь...

Ах ты старый мерзавец, ах ты старый наглец, вот я сейчас догоню тебя и отхожу по спине ярлыгой! Как ты смеешь со мной так разговаривать, что я тебе сделал дурного?! погоди, погоди у меня!

Так должен был сказать Хатам, должен бы догнать Хаджимосу и отходить его по спине ярлыгой, но не сделал он этого, не крикнул вдогонку ругательных слов. Обида оказалась сильнее гнева, и он уныло побрел к своей отаре.

А вскоре и обида на старика у него прошла. Что ж на него обижаться, рассуждал Хатам, единственного сына призвали в армию. Да если бы еще в мирное время, а то ведь — война. Не надо на старика сердиться. Не надо таить на него зла в такое страшное время. Все люди сейчас должны быть ближе друг к другу, от этого будет сильнее весь народ.

С тех пор как приехали в Дагунохавль беженцы, у Хатама появился маленький друг — Владик. Он приходил к Хатаму, если отара недалеко от аула пасется, а по воскресеньям — на целый день. Он играет с волкодавом, учит русскому языку Хатама, помогает пасти овец, которых ему раньше, в городе, видеть не доводилось. Хатам учит мальчишку адыгейскому, рассказывает сказки. Особенно Владик любит слушать, как поет Хатам старинные адыгейские песни. Наденет косматую бурку, нахлобучит папаху, обопрется на ярлыгу и поет. Владик сидит не

шелохнувшись. Случалось, у Владика затекали ноги и он не мог встать, тогда Хатам брал его на руки, щекотал густой бородой и хохотал, носил, как маленького ребенка, и был счастлив, а мальчишка — вдвойне.

После дожδικов на стерне поднялась неплохая трава — корма овцам хватало, и вели они себя спокойно.

— Э-гей! Чабан! Иди-ка сюда! — как-то позвал Хатам Владика.

Мальчишка пустился наперегонки с волкодавом. Громкий пес громко, басовито лаял, бегая вокруг Владика.

— Давай, приятель, поедим немного.

— Спасибо, я сыт. Я очень хорошо позавтракал, — застенчиво ответил мальчик.

— То был завтрак, а теперь время обеда, — возразил ему Хатам, расстилая бурку. — Садись.

Только они уселись, услышали голос Кутас. Она стояла у кухни и махала косынкой.

— Что там ей еще понадобилось от нас, — сказал недовольно Хатам, — может, дело какое? А? Придется подойти.

Кутас встретила сердито:

— Все горло изорвала кричавши, а вы все не слышите. Поглохли, что ли?.. Это сын Фаины, что живет у Нарыновых?

— Он. А ты откуда знаешь?

— Смотрю я на тебя, и парень ты неглупый... Разве мимо меня пройдет хоть одна новость, а?.. То-то. Я не могу жить, как ты живешь. Бродишь и бродишь с отарой, а нет чтобы прийти в аул, поговорить с людьми, повеселить кое-кого, самому повеселиться.

Хатам слушал ее и удивлялся: чего это она вдруг такой ласковой стала с ним, чего подмигивает? Вот чертова баба. Вон как, вон как бровями выделяет. Может, Хаджимос теперь кается, что так грубо разговаривал с Хатамом, и попросил свояченицу заглядить свою вину? Смешно, ей-богу, смешно. Не лучше было бы Хаджимосу самому сказать пару слов.

— Чего ты накинулась? Бываю я и у людей, новостей не меньше твоего знаю. Да и сейчас рядом с твоей кухней отару пасу — все вижу, все знаю.

— Верно, ходишь. Знаем мы, куда ты ходишь, знаем, на кого поглядываешь! Пожелаю тебе только успеха.

«Э, лукавая баба, что она затеяла, куда клонит?» — подумал Хатам и насторожился.

— Да ты не смущайся, — подмигнула Кутас, — я просто так люблю пошутить. Садитесь за стол, накормлю вас хорошим супом. Иди, мальчик, сюда. Как тебя, милый, зовут?

— Владик.

— Ты понимаешь по-адыгейски?

— Немного понимаю.

— А я разболталась, надо попридержать язык.

— Если есть что сказать важное, говори при мальчике.

Он славный, умница.

— Нет. Я просто так, — вдруг погрустнела Кутас. — Просто так. Тоска одолевает. Одна и одна. Домой приду — и тоже одна. Так досидишься до седины в одиночестве, и некому будет глаз закрыть в смертный час.

— О чем ты говоришь, Кутас, о какой смерти? Молодая, красивая женщина...

— То-то оно и есть, дуб ты дубовый. Ешьте лучше, хороший суп сегодня удался.

И совсем погрустнела Кутас. Отошла к кухне, привалилась спиной к дверному косяку, сложила руки на высокой, полной груди и смотрела куда-то вдаль тоскующими глазами, а когда Хатам и мальчик, пообедав, поблагодарили ее, она обратилась к Владиду:

— Маме передавай привет. Говорят, она хорошая портниха. Скажи, тетка Кутас обязательно к вам зайдет. Надо сшить себе красивое платье по городской моде. Хоть и война, а платье красивое не помешает. Верно я говорю, Хатам?

— Верно говоришь.

— Хоть бы дождь пошел, — сказала Кутас, отворачиваясь от Хатама и мальчика, словно самой себе говоря, — да с грозой бы! С такой грозой, от которой бы горы расколотись.

— Хватит, старуха! Хватит живого сына хоронить. Что ты его оплакиваешь. Замолчи, и без того голова раскалывается от боли!

Хаджимос швырнул на стол ложку и отвернулся от миски с супом. Лифаф, сидевшая у печки и тихонько плакавшая, испуганно вскочила и кончиком косынки стала торопливо вытирать слезы.

— Прости, старик. Сердце совсем слабым стало, слезы сами из глаз бегут. Пусть Аллах пошлет нашему сыну благополучие, пусть Аллах высушит наши слезы, уймёт боль нашу.

Смягчился Хаджимос:

— Успокойся, не рви свое сердце. Не пропадет наш сын, не дураком мы его родили, неплохо воспитали — найдет он себе дорогу. Он и с людьми умеет сходиться, если захочет, и к сердцу чужому приласкаться.

— Это верно, но все-таки война есть война, на ней убивают и умных, и глупых. Она такая, ей все равно.

— И там все не так, как ты думаешь. И там надо уметь жить, надо уметь прятать голову от пули... Я ему кое-что успел сказать. Надо знать, с кем водиться, кому уважить, а кому и спину свою подставить, лишь бы голову спасти. Спасешь голову — тогда и спину разогнешь... Он еще будет со своей частью в городе, так что я успею наладить связь с его командирами. Сумею подмазать кому надо. Смотришь, вместо винтовки дадут ему поварской черпак. С ним и безопаснее и сытнее. Да и не только сам будешь сыт, другому харчами угодить можешь. Харч на войне — первейшее дело. Перед ним равны солдаты и генералы.

Слушала Лифаф складную речь мужа, и сердце ее постепенно успокаивалось: она прожила с Хаджимосом почти сорок лет и хорошо знала: раз уж он сказал, то делает, добьется своего. Помнит Лифаф, как в гражданскую войну, помогая белым, Хаджимос воевал с большевиками, помнит, как он со своими друзьями в одном ауле зарубил красного комиссара и его товарищей. Думала тогда Лифаф, что пропадет ее муж, казнят его большевики, но он схитрил

и помирился с ними — ему даже землю дали наравне с бедняками. Потом — в тридцатых годах, — думала, что раскулачат и Кагазежевых, сошлют в Сибирь, но Хаджимос опять как-то вывернулся.

— Только ты не медли, старик, живее поворачивайся, а то увезут парня на фронт, там уж ничем ты ему не поможешь.

— Делаю, делаю, старуха, давно все делаю, что надо. Если бы не делал, Касея уже отправили бы на фронт, — не без удовольствия сообщил Хаджимос. — И дурака Хатама я тоже хорошенько припугнул. Трус он, трус этот Хатам, но... повезло нам, старуха. Докторша, старая женщина, которая лечила Касея, догадалась о траве, знала она эту траву, но не сказала об этом военному следователю. Сына ее убили на фронте. Пусть, говорит, теперь ваш сын идет воевать и тем испушит свою вину.

— Мерзавка она, от гулящей собаки рождена! Хочет, чтобы и нашего сына убили, как убили ее. Может, ты мало дал ей денег?

— Если бы взяла, я отдал бы ей все, даже дедовский серебряный пояс, лишь бы не залечивала ногу...

Прислушался Хаджимос:

— Стучатся к нам. Кто бы это?

— Сосед стучит. Он всегда вот так стучит, палкой.

Выглянул Хаджимос: верно, сосед стучал посохом, увидел в окне Хаджимоса и звал его.

Вышли Кагазежевы на крыльцо.

— Нарыновы получили сообщение, что их сын Сафер убит на фронте. Надо пойти к ним.

— Бедный мальчик! — горестно воскликнула Лифаф. — Боже милостивый, сохрани нашего сына. Пойдем, старик, пойдем к несчастной женщине.

Во дворе Нарыновых было немного народу — война. Несколько стариков сидело на скамье у сарая, а которые помоложе — Аскал и его товарищи — у изгороди. Тут же стояли Хатам и Владик. Мальчик испуганно смотрел на дом, в котором голосили женщины. И он бы заплакал от

страха и жалости, но на его плече лежала рука Хатама. Тяжелая рука мужчины, ее тяжесть будто говорила Владу — только не плакать, слезы — это женское дело, а не мужское.

Жечаго тоже пришел. Стоял, опустив голову.

Кагазежевы вошли во двор. Лифаф пошла в дом, а Хаджимос направился к старикам.

Холодно было сегодня. Черные тяжелые тучи обложили все небо, грозились людям ненастьем.

— Где-то недалеко выпал снег, — сказал Хаджимос.

— Да пусть бы и у нас выпал — в поле работы закончили, — ответил кто-то.

— Нет уж, пусть лучше не идет пока: подольше, попадутся по стерне овцы — сэкономим корма.

Из дома вышла Гуца, а за нею и Фаина. Обеспокоенные и растерянные, они направились к Жечаго.

— Фиж потеряла сознание, — сказала Гуца. — Я не знаю, что делать.

Услышав это, старики встали. Жечаго быстро пошел в дом и вскоре вернулся оттуда. С крыльца скомандовал:

— Аскал — быстро за врачом.

— Он уехал в район. Только что уехал, я видел его.

— Тогда — бегом на конюшню, заложи мою линейку, положи побольше сена на нее — и сюда.

Когда приехал на линейке Аскал, Фиж была уже мертва.

Умерла Фиж, не приходя в сознание.

## 8

Сорок дней после смерти Фиж пробыла ее сестра в Дагунохабле, справила поминки и уехала к себе домой. Звала с собою Зурет, но та отказалась — не захотела покидать могилы отца и матери. Да и родной аул — он всегда родной. Все в нем свое: и земля, и вода, и небо, и люди, среди которых она выросла. Здесь жила Гуца, сюда писал письма и приедет после войны Аскер.

Двух овечек Нарыновых взял к себе в отару Хатам:

— Мне они работы не прибавят, а тебе, Зурет, будет легче. Да и не знаешь ты, как с ними обращаться.

С индюками, с курами Зурет управлялась вместе с Фаиной. Фаина, хоть и горожанка, но сразу как-то приноровилась к работе в поле и дома у Зурет. Правду говорят: человек все может, если хочет.

Прошло время, и Зурет, кажется, начала свыкаться со своим горем. Успокоилась немного, но только стала более молчаливой, чем раньше. И похудела. Щеки уже не наливались румянцем, как прежде. И в глазах навсегда осталась печаль. Случается, весело смеется Зурет, шутит с подругами, а печаль из глаз не уходит.

Ну, конечно, и повзрослела она не по годам. Все в черном и в черном ходит. Пробовала отговаривать ее Фаина, мол, что ж теперь так убиваться, что ж так сердце бедное свое наказывать, не у одной тебя, мол, такое большое горе и побороть его надо.

У Фаины тоже погибли во время бомбежки мать и младшая сестра, фашисты разорили дом, прогнали с родной земли, и неизвестно, как бы она справилась со своей бедой, если бы не люди вокруг. Фаина считала теперь Зурет своей младшей сестрой, старалась помочь ей и делом, и словом, и улыбкой. Так и свое горе легче переносить.

Как-то вечером Зурет учила Фаину прясть шерсть на прялке. Сначала они мыли ее, потом чесали, а сегодня подошел черед прясть. Зурет умела это делать очень хорошо — нитка у нее получалась тонкая, ровная. И быстро работала Зурет. Даже опытные мастерицы, бывало, завидовали девушке.

— Золотые руки, прямо-таки золотые, — говорили они.

А у Фаины долго ничего не получалось. Вернее сказать, нитка получалась неровной, толстой и часто рвалась. Утомилась Фаина, рассердилась на себя, называла неумехой и хотела бросить прялку, как вдруг нитка будто сама пошла. Пошла и пошла. Весело завертелось большое колесо, казалось, запела прялка, постукивая в лад своей песне.

Просияла Фаина, а потом вдруг заплакала.

Испугалась Зурет:

— Что случилось, кто тебя обидел? Почему ты плачешь?

— От радости плачу. Когда ехала сюда, боялась,— думаю, как жить среди чужих? А теперь счастлива, что приехала в ваш аул, встретила вашу семью, Гуцу, Жечаго, Хатама...

В дверь постучали.

— Это дядя Хатам идет,— обрадованно воскликнул Владик.

И в самом деле вошел Хатам:

— Э, подруги, что за слезы?

— Заходи, Хатам, не обращай внимания. Женщины такой народ: горе — плачут, радость — тоже плачут,— сказала Фаина, вытирая глаза.

— Если от радости плачете, плачьте на здоровье. А что ж у вас так холодно? Владик, это непорядок. Или ты не мужчина, почему не затопил печь? Пойдем, нарубим дров и разведем огонь.

— Я говорил, а они не хотят,— защищался Владик.— Но теперь я их не буду слушать: как только в доме холодно, сразу буду топить. Я ведь уже умею, дядя Хатам? Скажи им, а то они не верят.

— Умеет. Очень ловко растапливает он у меня печь.

Вскоре Хатам и Владик вернулись с охапками дров. Хатам стал разводить огонь.

— Давай я сама разведу,— попросила Зурет,— тебе ведь у себя надоело это делать каждый день.

— Что ты говоришь, Зурет. Разве есть более веселая работа, чем разводить огонь?.. Рассказывают старики, что настоящий человек пошел с огня. И самое лучшее веселье у костра. Горожане и те это знают... Приду я домой, холодно в нем, неудобно, хоть поворачивайся и уходи обратно, а разведу огонь, запляшет он в печке — и откуда красота берется?

Хатам умело сложил поленья в печке, чиркнул спичкой — и вся топка занялась пламенем. Озарило пламя комнату, запело, загудело. Раскалило плиту...

Тепло стало в комнате. Потептели и глаза у женщин. Хатам сел к столу, стал непривычно торжественным:

— Я только что был в сельсовете и слушал там радио. Красная Армия под Москвой бьет проклятых фашистов. Наступает Красная Армия. Можете плакать от радости, женщины. Владик, ты тоже можешь. Это такая большая радость для всех, что... и у меня дыхание перехватило...

Владик с разбега кинулся на шею Хатаму и чуть не свалил его вместе со стулом:

— Можно кричать ура, дядя Хатам?

— Можно.

— Ура-а-а-а! Мой папка бьет фашистов! Бьет гадов!

Когда улеглась волна радости и волнения, когда все успокоилось, Фаина сказала:

— Ты такую дорогую весть нам принес, что мне хочется хоть как-нибудь это отметить, хочется, чтобы не забылось это... Знаешь, Хатам, у меня есть хороший материал, я сошью тебе праздничную рубашку. Мы сошьем с Зурет.

— Но я не умею шить,— возразила Зурет.

— Я научу тебя. И твоя первая работа будет — рубашка Хатаму. Праздничная рубашка в память о сегодняшнем дне.

Залилась румянцем Зурет.

Это заметила Фаина.

Это увидел Хатам.

Это почувствовала и сама Зурет. Впервые после большого горя в сердце ее затеплился огонек радости.

## 9

Вечером повалил снег — густой и мокрый.

Хаджимос лег в постель рано, пытался уснуть, и не мог. Он был потрясен смертью Сафера и Фиж. Ему чудилось, что это пришло извещение с фронта о гибели Касея. Он гнал эту глупую мысль, ругал себя, но ничего не получалось — стоило ему только закрыть глаза, как перед ним возникало извещение, на котором значилось имя не Сафера, а Касея.

Долго ворочался, стонал и чертыхался Хаджимос, а потом решил, что надо не завтра, как он решил вечером, ехать в город, а сегодня, сейчас же. Пока то да се — и

наступит утро, а то, не дай бог, случится так, как недавно случилось у одного аульчанина: ему сказали, что сына увезут из города через два дня, а увезли на другой же день.

Поднялся Хаджимос и зажег лампу:

— Вставай, старуха.

— Что случилось? — испугалась Лифаф. — Приснилось тебе что-нибудь нехорошее?

— Ничего не приснилось, — буркнул Хаджимос, — надо ехать к парню. Сейчас же.

— Но вечер еще, а не утро.

— Знаю.

И все-таки глянул на свои карманные часы. Десять. Выходит, он не так уж долго валялся в постели, а показалось — целую вечность.

Со звоном закрыл крышку часов, положил часы в кармашек:

— Затопи печку и грей воду, а я пойду зарублю индюшку.

— Говоришь, сейчас надо ехать, а индюшку-то надо варить долго.

— Знаю. Не вчера я родился. Поторапливайся.

Сказал индюшку, а вернулся в дом с двумя — решил, так будет лучше. Жирный кусок легче в горло проскакивает.

Через полтора часа у Лифаф все было готово — индюшки — хорошо наперченные, сдобренные чесноком — лежали на столе и исходили душистым паром.

— Ты готова, старуха? — спросил Хаджимос, войдя в дом. Он уже запряг Гнедого, потеплее оделся, прихватил в дорогу сена.

— Вот оденусь и готова.

— Не о тебе я спрашиваю. Об индюшках. Ты сиди дома. Снег в колено выпал. Холодно. Да не плачь ты, не реви! Не могу я этого видеть.

Лифаф согласно закивала головой. Вытерла передником слезы. Завернула в полотенце индюшек и подала мужу.

Ни огонька в ауле.

Темно и тихо. Глухо, нехотя пролаяли собаки ближних соседей и умолкли — учуяли своего.

Скрипел под полозьями свежий снег, мелодично позванивали в тишине удила, громко дышал, а то и восторженно похрапывал Гнедой. Хаджимос не поехал по аулу, а свернул в долину. Вырвался в степь и подался напрямую, благо места ему здесь знакомы очень хорошо. Он еще в гражданскую, когда дрался против большевиков, получал благодарности от начальства за то, что водил разведчиков по ему одному известным тропинкам, по заброшенным дорогам и глухим оврагам. Водил, можно сказать, на ощупь.

Подался Хаджимос первым, нетронутым снегом напрямик и задолго до рассвета уже был на перевале. В мирное время отсюда видны огни города, а сейчас — глухо. Война. Светомаскировка. Ее ввели в городе недавно, потому что однажды сюда уже прилетали ночью немецкие бомбардировщики. Разбили они в тот налет железнодорожный вокзал, подожгли состав с нефтью.

Война пришла сюда, хотя фронт еще был и далеко. Окна в городе, увидел Хаджимос, когда въехал в него на рассвете, были заклеены полосками бумаги крест-накрест. На улицах висели объявления: «Соблюдайте ночью светомаскировку». «По сигналу «воздушная тревога» укрывайтесь в бомбоубежищах».

Подстегнул измыленного Гнедого Хаджимос и помчался по непривычно пустынному городу к казармам, где находился Касей. Мчался, взвихривая снег, и все тревожился, боялся, что увезли сына.

К счастью, паренек, дежуривший на вахте, сказал:

— Сейчас позвоню и вызову. Он раза два прибежал сюда, беспокоился, не приехал ли его отец. Славный у вас сын, уважительный.

Вскоре появился и Касей. Уже одетый в военную форму, он почти бежал, увидя у ворот отца.

— Хорошо, отец, что ты приехал, кажется, сегодня нас увозят.

— Вот оно, вот оно отцовское сердце. Чувствует беду и радость сына. За сто верст чувствует... Пойдем поговорим

немного. Эх, надо бы, надо бы мать захватить, попрощалась бы с тобой. Пойдем. А куда вас повезут?

— Никто не знает. Разве скажут? Дело военное.

— Верно. А все ж попытаюсь поговорить с твоим командиром роты. Тут мать приготовила двух индеек. Одну себе возьми, а другую я попробую дать командиру роты. Может, он тебя на кухню пристроит. Безопаснее и сытнее на кухне. Травку эту тоже возьми. Увезут тебя в Россию, там нет такой травы, значит, и доктора не узнают, что за болезнь у тебя... А если из этого ничего не выйдет, тогда, как я тебе говорил, выставь из окопа руку. Лучше жить без руки, чем без головы. Сам себя не стреляй, сейчас доктора узнают, если сам стрелял. Сразу в трибунал и расстрел... Пусть Аллах бережет тебя, мы будем молиться с матерью, будем просить Аллаха о милости. Иди и позови командира роты.

— Нет, отец, прогонит тебя командир роты,— уныло сказал Касей.— Не буду его звать, зря ты это затеял.

Отвернулся Хаджимос и пошел прочь, чтобы не показывать своей слабости Касею.

Потом оглянулся:

— До свиданья, Касей. Совсем забыл сказать тебе: Нарынов Сафер погиб, Фиж не вынесла горя и умерла. Сердце разорвалось. Молись Аллаху, сын. Молись, и Он услышит тебя.

В полку, где служил Касей, занятия шли своим чередом. Подъем в шесть утра, отбой в десять вечера. Только перерывы на завтрак, обед и ужин, а все остальное время — учеба. Учили стрелять, рыть окопы, передвигаться по-пластунски, ходить в штыковую атаку, преодолевать препятствия...

Кончались занятия, и Касей едва добирался до постели, чтобы отдохнуть, хорошенько выспаться, но это не всегда удавалось, потому что и ночью устраивались командованием учебные тревоги, марш-броски на пятнадцать-двадцать километров.

Иногда Касею казалось, что он не дотянет до вечера, упадет где-нибудь на дороге, а то и вовсе зависнет на заборе, который надо одолеть в полной боевой выкладке. Так бы, наверно, и было, если бы не приезжал отец, не привозил ему добрую еду. В полку-то кормили скудно — паек запасного полка не баловал солдат, страна все лучшее отдавала фронту.

Под Москвой утихли бои. Немцам удалось остановить наступление Красной Армии. Да и сами немцы зимой не наступали. По всему фронту от Белого до Черного моря, как сообщало радио, шли бои местного значения.

Затишье на фронтах, но от берегов Дона, где стояли фашисты, до берегов Кубани каких-нибудь триста километров, танкам и моторизованной пехоте ходу несколько дней.

Затишье на фронтах, а эшелоны с ранеными все шли и шли. Сегодня Касей весь день ползал по мокрому снегу — учились скрытно подходить к окопам противника. За день он настолько замерз, что ему казалось, будто теперь уже никогда не отогреется. Но забрался под одеяло и согрелся. Съел кусок индейки.

Согрелся, и до того ему стало жалко самого себя, что он заплакал. Закрылся с головой и плакал. Совсем не стыдился своей слабости. Да и какой уж тут стыд, если перед тобою страшная неизвестность. Уснул Касей на мокрой от слез подушке.

В эту же ночь полк и подняли по тревоге — Касей подумал, опять учебная, опять просто не дают отдохнуть, но оказалось другое. Пришли на станцию, где их ждали вагоны. Погрузка заняла считанные минуты.

Свисток — и тронулся поезд. Заскрежетали на стрелках колеса, застучали на стыках, отбивая последние часы мирного солдатского времени.

Погрузились бойцы в вагон, забрались, втиснулись на нары. И тут же захрапели под стук колес — судьба дорогу знает, не собьется, довезет до назначенного места.

Касей не мог уснуть. Он только теперь вдруг с необыкновенной ясностью понял, куда его везут и зачем. Он вспомнил похоронки, приходившие в аул, вспомнил Сафера и представил, как его сбивали высоко в небо. Вспомнил

ночную бомбежку города, пылающие цистерны с нефтью и бензином, убитых детишек, женщин.

Вспомнил и сказал себе: не хочу, не поеду на фронт, если поезд не остановится, выброшусь на ходу и убегу.

Остановился поезд минут через тридцать после того, как отправился из города.

— Что за станция, ты не знаешь, сосед? — спросил Касей.

Ему никто не ответил. Он приоткрыл дверь. Выглянул. В темноте двигались две фигуры.

Остановились.

— У нас, кажется, все в порядке, лейтенант, идите спать.

— Слушаюсь, товарищ полковой комиссар.

И разошлись они. Пошли в свои вагоны.

Ни души на станции.

Темень.

«А где часовые?» — спросил себя Касей. Сам же ответил: «На тормозных площадках сидят. Дремлют».

Взял вещмешок и тихонько спустился вниз.

Тихо.

Никто не окликнул его.

Шмыгнул под вагон. Прислушался.

Тихо.

Протяжно и как-то сонно загудел паровоз и дернул состав.

Касей выскочил из-под вагона, опрометью бросился к деревьям, к кустам, которые темнели на фоне звездного неба.

Когда ушел поезд, огляделся Касей и узнал знакомый разъезд, километрах в пятнадцати от Дагунохабля. Хорошо, что недалеко до дома, часа за два можно добраться до родного аула, а там уж будь что будет. Придумают они что-нибудь с отцом. Дома, конечно, жить не придется — завтра же в полку обнаружат его бегство и сообщат в город, а оттуда в Дагунохабль... Нет, не такой он дурак, чтобы погибнуть, как погиб Сафер. Ладно бы, если б сходились в рукопашном бою, ладно, если б твоя жизнь зависела от твоей силы, ловкости, сноровки, а то ведь нет, ты просто

козявка перед этими бомбардировщиками, перед пушками, которые бьют за многие километры, перед стальными танками. Ты даже не видишь, кто в тебя стреляет, кто убивает. Нет, нет, так Касей воевать не станет.

Выпавший снег за вчерашний день на дорогах почти весь растаял, и теперь по морозцу было идти легко. Прошел Касей километров пять, улеглась на сердце тревога, он почувствовал себя почти счастливым. Прибавил шагу и незадолго до рассвета был в ауле.

Белые дома, заснеженные белые крыши.

Спустился Касей с пригорка в долину, увидел свет в окошке Хатама и замер на месте.

«Вот кого надо послать на войну, — подумал Касей. — Если он такой честный, если такой радеть за правду, пусть и подыхает на фронте, а я не хочу. Мне ничего не надо — просто жить, дышать, видеть Зурет, радоваться свету».

Хотел было двинуться напрямик мимо фермы, но вспомнил, что волкодав Хатама за версту чует чужого человека, решил пройти стороной. Только тронулся с места, как залаял волкодав. Касей так и грохнулся на землю, припал к ней лицом и дышать перестал. Нет, так пес не лает на чужого человека, наверно, спросонья залаял или овцы какую-нибудь суматоху устроили...

У Хаджимоса с вечера разболелась спина. Он грел ее уютюгом, прикладывал к пояснице мешочек с горячей солью. Провозился почти до полуночи, а потом уснул крепким сном, и когда постучался Касей, Хаджимос слышал стук, но никак не мог открыть глаз и встать.

— Старик, а старик, стучатся к нам... Эй, проснись! Говорю, стучатся, надо лампу зажечь.

Наконец пришел в себя Хаджимос:

— Замолчи, говорю тебе. Кто в такой час стучится в дом, тому не нужна лампа. Лежи, я сам выйду погляжу, кто там.

Поднялся старик, сунул ноги в опорки, накинул полушубок и направился к выходу. «Сын, сынок пришел. О Всемилостивый Аллах, сделай так, чтобы это был мой сын, молю Тебя, Аллах».

Вышел в сени и, задыхаясь от волнения, открыл дверь.  
Сын.

Обнял его Хаджимос, чего сроду не делал, и потом пропустил в сени.

— В дом не заходи.

— Там чужие?

— Одна мать, но все равно не надо. Так будет лучше.

Где есть женщина, там нет секрета.

Лифаф слышала, как шептался с кем-то в сенях Хаджимос. Пыталась понять, с кем он говорил, и не могла, туговата стала на ухо.

Хаджимос вскоре вернулся в комнату:

— Послушай, мать, все, что у нас есть в доме из харчей, собери в сумку.

— Кто там пришел?

— Не твоего ума дело.

— Хорошо, хорошо, не моего ума, но я не могу в темноте собирать сумку, надо зажечь лампу.

— Я же сказал тебе!

— Будь по-твоему, только не сердись. Сейчас, только не сердись.

## 10

В Дагунохабле у многих радио, в аул регулярно приходят газеты, так что о положении на фронтах аульчане знали, как говорится, из первых рук. Казалось бы, какие тут могут быть кривотолки, неясности? Однако они всегда есть в любом уголке земли — кто-то от кого-то получил письмо, кто-то что-то слышал в городе. Одни говорили: фашисты собираются наступать, вот-вот будут на Кавказе, рвутся к нефти. Другие утверждали, что наступает Красная Армия, наступает по всем фронтам, и летом война обязательно закончится. Слышали люди, что у Красной Армии появилось новое оружие, которое сжигает вокруг себя на два километра все живое.

И все-таки разговоры кончались своими, сельскими новостями. Одна такая новость всколыхнула притихший за зиму аул.

Лифаф, услышав, что ее сестра вместе с другими женщинами собирается вместо мужчины сесть на трактор, так и обмерла:

— Аллах наш милостивый, что же это творится в ауле? Аллах на всех нас обрушит за это свой карающий меч.

Влетела Лифаф в дом к сестре, словно ветер, сердито хлопнула дверью и набросилась на Кутас:

— Слушай, правду люди говорят о тебе или зло шутят?

— Что же они обо мне говорят?.. Да ты садись, садись. На тебе лица нет. Чем ты расстроена? Что обо мне говорят?

— Не прикидывайся дурочкой, я тебе этого не разрешаю. Говорят, будто ты собираешься стать трактористкой.

— Собираюсь. Не стоять же машинам.

— Ах ты богохульница! Какое тебе дело до тех адских машин? Работаете на кухне — и работай. Это место женщине определено самим Аллахом. Весь аул над тобою будет смеяться, когда залезешь в своей длинной юбке на трактор. Срам, срам какой! Я твоя единственная, я твоя старшая сестра, почему же ты, бесстыдница, не пришла ко мне посоветоваться? Почему?!

— Не сердись, Лифаф. Я знала, что ты не разрешишь, потому и не пришла за советом, а что аул будет надо мною смеяться... посмеются, посмеются — да и перестанут. И почему ты говоришь, надо мною будут смеяться, — я ведь не одна буду водить трактор. Да и сказать тебе надо, сестра, поздно теперь об этом говорить, мы давно учимся, всю зиму учились и уже умеем ездить. Завтра выедем в поле. Это наш будет праздник. Приходи к кузнице и увидишь, никто не станет смеяться. Разве смешно, когда люди пахут землю, когда сеют зерно? Еще и огород тебе вспашу!

— Тьфу, тьфу, срамница! Аллах покарает тебя!

— Разве работать грех, сестра? За что же Он нас покарает?

— Тьфу, тьфу! — и так хлопнула дверью Лифаф, что с потолка посыпалась глина.

Утром следующего дня Кутас проснулась, чуть забрезжил рассвет.

Проснулась и лежала с закрытыми глазами.

Почему же Лифаф не понимает, как хорошо управлять такой сильной машиной, думала Кутас. Кухня да кухня, пропади она пропадом. Да и что толку с той кухни, если в поле некому работать. Пусть старухи и становятся к котлам, пусть занимаются этим делом, а кто помоложе, тот поведет тракторы, а там, смотришь, и комбайны.

Лежала Кутас с закрытыми глазами, вроде бы слышала, как движется время, как приближается минута, когда при народе придется сесть на трактор, и волновалась. Вроде бы все у нее в порядке — и ездит хорошо, и машину знает неплохо,— а волнение все нарастало и нарастало.

Встала Кутас, выглянула в окошко — в чистом небе гасли последние звезды. Занимался погожий день. Она наскоро умылась, но тщательно причесалась, подвела брови, подкрасила губы, надела рабочий костюм, который специально сшила Фаина. Женщина всегда должна быть красивой, а если работает на машине,— тем более.

Осенью забрали на фронт всех трактористов, оставили одного Аскала, чтобы готовил смену. До чего же он строгим учителем оказался, а думали — краснойбай, балаболка. Молодец парень.

Хотела Кутас прийти во двор кузницы раньше всех — проверять себя еще раз у трактора, но оказалось — у машин уже собрались почти все трактористки. Рассердилась на себя Кутас — нечего было вылеживаться, надо бы сразу идти сюда, как только проснулась.

Вошла она во двор и спросила у женщин:

— Вы что, или ночевали здесь?

— Не волнуйся, придется еще не раз ночевать с машинами в поле,— ответил подошедший Аскал.

— А ты-то чего так рано пришел? И не жалко было на зорьке оставлять свою молодую жену?

— А тебя что, завидки берут? — отшутился Аскал.— Моя жена не хуже других, тоже пришла посмотреть, как вы сегодня оседлаете технику. Бери-ка ведро, Кутас, и заливай воду в радиатор. Пока ты потягивалась в мягкой постельке, мы уже приготовили свои машины к работе. Бери в кузнице теплую воду.

Пришел и Жечаго:

— Ну, как? Готова твоя гвардия, Аскал?

— Так точно! — по-военному отрапортовал Аскал.— Все машины находятся на линейке готовности. Давайте-ка по местам!

Успела залить воду и стать на свое место Кутас.

Жечаго вышел вперед, улыбнулся женщинам:

— Дорогие товарищи женщины и девушки, поздравляю вас с окончанием учебы и с началом весенней пахоты на полях нашего колхоза. От имени районного комитета партии, от имени нашей партийной организации я благодарю всех за доброе дело, за то, что вы стали на смену своим мужьям и братьям, ушедшим на фронт. А сейчас я вручу вам удостоверения на право вождения тракторов.

Жечаго выкликал трактористок, вручал им удостоверения и крепко, по-мужски жал им руки:

— Теперь, дорогие товарищи, в добрый путь. Кто первый заведет свою машину, кто проложит первую женскую борозду?

— Я! — крикнула Кутас и покраснела от смущения. До того покраснела, что щеки казались ярче напомаженных губ.

— Молодец, Кутас. Спасибо тебе. Я всегда знал, что не подведешь,— снова улыбнулся Жечаго.

— Садись за руль,— скомандовал Аскал,— для первого раза я сам крутну ручку, а потом уж ты будешь полной хозяйкой.

Взревел мотор, тронулась машина, ведя к меже плуг.

Во дворе к этому времени собралось уже много народу.

Пришли старики, пришли ребятишки, пришли женщины и теперь, затаив дыхание, следили, как выезжала из ворот на тракторе горянка.

Выехала Кутас, и все пошли за нею следом.

Взрезали лемеха черную, жирную землю, и гул одобрения, удивления и трепетной радости раздался над полем — так провожали аульчане свою первую женщину-трактористку.

Здесь же стояли Гуца с Зурет. Слезы текли из глаз Гуцы, и она их не вытирала — тяжелыми каплями они

падали на первую борозду, поднятую Кутас. Зурет смотрела трактору вслед, видела, как развевалась на ветру косынка Кутас, и завидовала трактористкам.

Лифаф тоже пришла. Стояла около кузницы, выглядывала из-за угла, молитвенно сложив руки на груди, и воспаленными глазами смотрела вслед сестре.

...Прошла неделя.

Жечаго нарадоваться не мог на женскую тракторную бригаду и на ее бригадира Аскала. По вспашке колхоз занимал первое место в районе, держал переходящее знамя, вручать его приезжал сам секретарь райкома партии.

Жечаго фронтовикам из Дагунохабля от имени партийной организации написал письма, в которых рассказывал о женской тракторной бригаде, заверял воинов, что аульчане все сделают для фронта и для победы.

Как-то утром Кутас подошла к Аскалу:

— Не знаю, как сказать... я хочу у тебя отпроситься.

— А ты смелее, смелее. Если надо, значит, надо, за твой отличный труд отпущу на сегодня.

— Да я... не знаю... отпусти меня с трактором.

— Во! Это зачем же?!

— Я поклялась Лифаф, как только научусь работать на тракторе, вспашу ей огород. Ты не смейся, я серьезно говорю.

— Вот это номер, вот это да! А у председателя ты спрашивала?

— Если бы председатель разрешил, зачем у тебя спрашивать? Но разве ты сам не можешь разрешить? Я ведь клялась сестре.

— Э, дернуло тебя с клятвой, но что делать, придется отпустить. А если председатель и рассердится, ничего он мне не сделает плохого. В армию пошлет? Я сам давно туда прошусь. Езжай, Кутас, держи свою клятву.

Услышав гул трактора у своей калитки, Лифаф вышла из дома. Увидела Кутас на машине, рассердилась:

— Какого шайтана тебе здесь надо, богоотступница? Ты что тут всю дорогу у двора изгадила проклятой машиной!

— Открывай ворота, я приехала, чтобы сдержать свое слово. Открывай, вспашу вам огород. Открывай, бесплатно вспашу.

Подобреда Лифаф:

— Ты не шутишь? Въезжай, если так. Жалко нет дома Хаджимоса, пусть бы полюбовался мужиком в юбке. Пошутила я — заезжай и паши себе на здоровье. А сможешь ли хорошо вспахать?

— Вспашу не хуже самого Аскала.

— Да неужели же правда? — Лифаф широко распахнула ворота. — Паши, а я приготовлю хороший обед. Курочку зарежу. Сестра ты мне все-таки.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Совсем затосковала Лифаф: прошло столько времени, а от Касея все не было писем. Что ж это такое, что с ним? На фронт ведь уехал, а не в гости. Мог бы и с дороги написать письмишко, чтобы успокоить свою бедную мать.

Целый месяц прошел — тоска заела Лифаф. Руки ни на что не поднимаются, целыми днями только и дела, что ждет почтальона, хотя и знает, что придет он только вечером.

Ходила к гадалке, отнесла курицу ей. Та сказала, что жив сын, что пути-дороги его недалеко от дома увели. У цыганки была, та сказала то же самое.

Лифаф не верит ни цыганке, ни аульской ворожее — все врут, говорят хорошее людям, чтобы выдуривать у них хорошую плату. Ведь кто хорошее предсказывает, к тому люди охотно идут.

И с Хаджимосом происходит что-то странное — стал он до того молчалив, что слова единого за весь день из него не вытянешь. А потом еще стал куда-то пропадать по ночам, возвращается домой чуть ли не перед рассветом, а

один раз и вовсе не ночевал дома. Пыталась она спрашивать, где пропадает ночами. Он молчит, только машет рукой, мол, не твое дело.

А то вдруг вернется домой и по его лицу блуждает какая-то непонятная радость. Что за радость, чему он радуется, если от сына столько времени нет писем?

Не выдержала наконец Лифаф и спросила мужа:

— Ты что молчишь, как бирюк, почему ничего не скажешь мне о нашем сыне, ведь он не прислал ни одного письма? Где он, что с ним? Как в воду канул. Что ты себе думаешь?..

Хаджимос улыбался и молчал.

— Вы смотрите, люди добрые,— вскинулась Лифаф,— у меня сердце разрывается на части, а он улыбается! Ему весело. Ты что, не в своем уме?

— Не кричи так, старуха, успокойся. Напишет нам сын, обязательно напишет. Сон я видел: в добром здравии наш Касей, в безопасности и где-то недалеко от нас. Ты должна знать, что у солдата очень мало свободного времени. Поспать ему и то бывает некогда.

— Эй, старик, мне кажется, ты что-то знаешь, но таишь от меня. Скажи, пожалуйста, иначе я не вынесу этой муки. Скажи, не томи мою душу, пощади.

Насторожился Хаджимос. Может быть, старуха подслушала его ночной разговор с Касеем и все знает?

— Ты вот спрашиваешь меня, а получается, я тебя должен спрашивать: почему ты такое говоришь, может, знаешь что-нибудь, да не говоришь?

— Не знаю, а догадываюсь. У Надоковых погиб сын, и старик до сих пор скрывает это от своей жены.

— А-а, ты вот о чем,— вздохнул облегченно Хаджимос,— нет, я такого не стал бы таить. Не смог бы. Первый свалился бы от беды, а не то что... Успокойся. Сердце мое чувствует, что хорошо Касею, наверно, скоро получим от него весточку.

После этого разговора Лифаф немного успокоилась, но лишь немного. По-прежнему каждый вечер то и дело выходит за ворота и выглядывает почтальона. Соседка научила ее гадать на пестрой фасоли, и Лифаф теперь

постоянно носила горсть пестрых зерен — чуть только выдастся свободная минутка, разбрасывает их на столе.

Кроме этого, стала думать старуха о ночном госте. О таинственном ночном госте. Не бывало такого, чтобы старик таил от нее гостей. Хоть что-нибудь да скажет, а тут ровно воды в рот набрал. В гражданскую войну и первые годы Советской власти случались разные ночные гости, о них всегда знала Лифаф, старик хоть коротко, но что-то говорил.

Э-э, вот и получается, что ночные гости появляются в смутное, тревожное время, подумала Лифаф. Должно быть, теперь к Хаджимосу приходил кто-нибудь из давних друзей.

Старуха кормила цыплят, когда у калитки показалась знакомая цыганка. Обрадовалась ей Лифаф, позвала во двор:

— Заходи, погадай, скажи, где мой сын, что с ним? Зашла цыганка, раскинула на крыльце карты:

— Тревожно, тревожно у тебя на душе, мама. Так я говорю, скажи, верно я говорю?

— Верно, верно.

— Ждет тебя, мама, большая радость — получишь известие о своем сыне. Верное дело тебе говорю.

— Когда же, когда получу?

— Но знаешь что я тебе скажу, милая, весточка от сына,— хорошо, а если бы пришел твой сын домой, то было бы лучше. Верно я говорю?

— Ой, верно! Но как его вернешь из того пекла.

— Можно, милая мама, если сильно захочешь.

— Говори, что надо — все сделаю. В землю заруюсь.

— Зачем зарываться. Надо пятьсот рублей.

— Это пустяки. Сейчас.

Лифаф принесла из дома деньги, отдала их цыганке.

— Нет, милая, не так. Положи их себе на правую руку. Вот так. Теперь думай о сыне. Думай, что хочешь его видеть. Крепко думай.

Цыганка пошептала, склонившись над деньгами, потом взяла их, подула на все четыре стороны и положила деньги себе за пазуху.

— Теперь... — цыганка села на землю, закрыла глаза. — Вижу твоего сына. Нужна парная кровь.

— Какая?

— Подожди, не мешай. Парная. Все парное.

Встала цыганка, опять подула на четыре стороны.

— Неси две курицы, два килограмма топленого масла, два стакана холодной воды.

Все исполнила Лифаф. Взяла цыганка стаканы с водой, пошептала над ними. Один отдала Лифаф:

— Пей воду и думай о сыне. Крепко думай. Теперь так — если в моем стакане закипит вода, значит, сын твой жив и скоро вернется, а если не закипит, плохо наше дело.

Побледнела Лифаф, едва удержалась на ногах.

— Не пугайся, милая мама. Я с тобой, значит, все будет хорошо. Закрывай глаза и крепко думай о сыне.

Закрыла глаза Лифаф, а цыганка достала из кармана тряпицу и высыпала из нее в стакан какой-то порошок.

— Смотри, милая мама, смотри! — радостно воскликнула цыганка.

Вода в стакане кипела.

— Господи, Аллах наш все милостивейший! — всплеснула руками Лифаф и подняла глаза к небу. — Благодарю тебя, боже, благодарю, великий и могучий...

— Молиться будешь потом, — таинственно сказала цыганка, — надо поторапливаться. Значит, так — сын твой жив, а теперь, чтобы он вернулся, нужна парная кровь. Пара кур у нас есть. Нужно сегодня в двенадцать часов ночи зарезать их около двух дубов в долине и там же закопать вместе с топленным маслом и деньгами. Это должна сделать ты.

— Что ты! Я боюсь. Пусть это сделает Хаджимос.

— Ни-ни! — зашептала цыганка. — Нашу тайну никто не должен знать, иначе всему конец, не вернется сын. Если ты боишься, могу сделать это я.

— Сделай, добрая женщина. Я тебе за это заплачу.

— Что ты! Какая плата. Я не за плату делаю, а за совесть. Вижу, как ты убиваешься по сыну, и решила помочь. Я ведь тоже мать.

— А когда же вернется мой сыночек?

— Дня через три-четыре. Думаю, так.

— Спасибо, спасибо, — закланялась цыганке Лифаф.

— До свиданья, милая, — попрощалась цыганка, и ее будто ветром сдуло со двора.

Ожила Лифаф. Подмела двор, в комнатах поубрала, обед приготовила. Все в ее руках, что называется, горело. И в коровнике вычистила, чего раньше никогда не делала — это работа Хаджимоса.

Вот придет Хаджимос из лесу, и она обрадует его...

Нет, цыганка сказала — тайна. Никто, кроме их двоих, не должен знать, иначе все пропадет. Не скажет Лифаф Хаджимосу, даже виду не покажет.

Пришел Хаджимос. Она подала ему умыться, разула, вымыла ноги, подала обед.

Взял в руки ложку Хаджимос, улыбнулся:

— А теперь скажи, старуха, что у тебя случилось, ты блестяшь, как солнышко после дождя.

— Ничего не случилось. Просто хорошее настроение.

— Вот и спрашиваю, почему хорошее настроение. Ну, не хитри, я ведь все вижу.

— Ой, Хаджимос, у тебя такой глаз, что ничего от него не скроешь. Я скажу, но, знаешь, это великая тайна, смотри же...

— Клянусь тебе — никому ни слова. Говори.

Расплылась в улыбке Лифаф и все рассказала мужу о цыганке.

Потемнел от злости Хаджимос, так треснул ложкой по столу, что она раскололась пополам:

— Дура, дура набитая! Была ты придурковатой дочерью Дударовых, ею и осталась. И денег жалко, и кур жалко, но обиднее всего, что грязная цыганка так легко надула тебя. Ну, как, как можно жить на белом свете среди хитрющих людей с такими мозгами. Состарилась ты уже, а ничего не поняла в жизни.

Горько заплакала Лифаф — не обидно было, что муж ее так ругал, а обидно, что так глупо обманула ее цыганка... Обманула?

— Послушай, Хаджимос, а как она в прошлый раз узнала имя нашего Касея?

— Дура-а! — загремел старик. — У твоей же соседки узнала, а потом тебе как за чудо выдала.

— Но вода-то в стакане кипела! Сама я видела, как холодная вода кипела. Прямо бурлила.

— Э, ей-богу, — стал успокаиваться Хаджимос, — есть такой порошок, цыганка высыпала его, когда ты сидела с закрытыми глазами, и вода закипела.

Заплакала навзрыд старуха. Подошел к ней Хаджимос, погладил седые волосы:

— Ладно уж, успокойся. Только никому не говори об этой своей тайне, а то засмеют в ауле.

— Нет, не скажу, ни за что не скажу.

— Мне-то сказала, — смеялся старик.

— Ты — шайтан, — рассмеялась и Лифаф. — От тебя ничего не скроешь.

## 2

Пришла весна. Зацвели абрикосы, алыча. Зазеленели дуга.

Все реже надевала траурные одежды Зурет. Налились ее щеки румянцем, округлились бедра.

Как-то увидела Фаина у зеркала Зурет, подошла к ней тихонько сзади и обняла.

Они долго вместе смотрелись в зеркало. Обоим им было и хорошо, и грустно.

— Ну вот, и зима миновала, Зурет, светит солнышко и в наши окошки, — говорила Фаина, — сошью я тебе очень красивое платье, и ты в нем встретишь Аскера. Посмотришь, Зурет, все будет так, как я тебе говорю. Главное — не унывать.

Фаина взглянула в окно:

— А посмотри, посмотри, кто к нам заворачивает. Почтальонша тебе письмо от Аскера несет. Не смотри так, не сдвигай брови — она доброе письмо несет.

В конверте было не только письмо, но и фотография.

— Посмотри, Фаина, у него теперь два ордена, — воскликнула Зурет.

— Почитай-ка, не пишет, за что его наградили?

— Не напишет. Не любит хвастунов. Они и с Касеем из-за этого не дружили. Тот любит прихвастнуть, а Аскер не такой, он скромный.

— Значит, настоящий мужчина. Пойдем к Гуце, покажешь ей карточку. Мать обрадуется. Пойдем.

— Нет, что ты! Стыдно.

— Чего стыдно-то?

— Стыдно, если мать узнает, что мы... я... Да и ей он, наверное, прислал.

— Если бы прислал, Гуца давно бы прибежала к нам поделиться радостью, а потом... ты плохо знаешь парней. Они сначала пижут девушкам, а уж потом матерям.

— Возможно, и так, но я все равно не могу пойти с карточкой. Не принято у нас так, пойми ты!

— Зря ты скрывать пытаешься. Гуца наверняка обо всем если не знает, то догадывается. Пойдем, порадуем старуху.

— Нет. Никак нельзя мне. Да и Кутас меня ждет. Пойду я.

...Когда готовилась Кутас стать трактористкой, Фаина сшила ей из грубого черного материала рабочий костюм, но он быстро изнашивался: частенько ломался трактор, потому что не было нужных запасных частей, и Кутас приходилось его ремонтировать вместе с Аскалом, лезть под машину. Потому и стала она носить мужские кирзовые сапоги, брюки и телогрейку.

Совсем мало осталось у Кутас губной помады, кончилась пудра, духи. Ключевая вода да старый гребень, как хочешь, так и наводи красоту.

Огрубела в нелегкой работе Кутас, но Фаина завидовала ее ловкости и сноровке, когда она орудовала слесарным инструментом, завидовала, как она ключевой водой да старым гребнем, шуткой и лукавыми, а то и озорными глазами умела сделать себя красивой и даже женственной.

Конечно, водить трактор дело не такое уж трудное, но без конца ремонтировать его и под дождем, и в жару, и на ветру — дело трудное и не женское. Но что делать — война. Разве девушкам — связисткам, санитаркам — было легче на фронте?

Как-то за обедом на полевом стаде Кутас сказала Фаине, тяжело вздохнув:

— Кончится война, вернутся с фронта наши мужчины, увидят меня в штанах, кирзовых сапогах и, наверно, покатытся со смеху. Скажут, баба в мужика превратилась.

— Почему же в сапогах ты встретишь их? Разве не найдешь во что одеться получше?

— Есть во что одеться, но пусть они на меня на такую посмотрят, — взвилась вдруг Кутас. — Пусть знают, как мы здесь работали. А то, видишь ли, иные заставляют мыть им ноги, и такое у нас водилось... Я бы и сейчас могла вечерами после работы одеваться в красивые платья, да стыдно. Вон сколько женщин, и помоложе меня, носят черные траурные платки. Сидишь рядом с ними, и кажется, что рядом покойницы... Посмотри, как Зурет постарела, как старит ее черная одежда.

— Зурет уже сняла траур, — сказала Фаина.

— Да? Вон как! Это хорошо. Я ведь работала уже целый месяц без прицепщицы, никого не хотела брать, ждала, когда Зурет снимет траур. Как ты думаешь, Фаина, пойдет она ко мне работать прицепщицей?

— А почему бы ей не пойти к тебе. Ты ведь лучшая из трактористок во всем нашем ауле. А тут две красавицы будут работать на одной машине.

— Ой, какая там я красавица. Одна как перст, никому не нужна.

— По-моему, это виновата война, — мужчинам не до женитьбы.

— Просто поухаживать и то некому, — подмигнула, повела бровью Кутас. — Так поговоришь ты с Зурет? Она тебя послушает.

— А возможно, пусть с нею поговорит Аскал? Он же бригадир.

— Нет, нет, — замахала руками Кутас, — не может он дела обделывать. Я его как-то попросила помочь в одном деликатном деле, так он все испортил. Удивляюсь, как это он сумел сам жениться. Окрутил такую хорошенькую девушку... Если бы Аскал был поумнее, Зурет давно бы

была невесткой в доме моей сестры. Жалко, ты не видела нашего Касея. Красавец. Умен, удал.

— Зачем ей Касей, — заметила Фаина, — у нее есть отличный парень.

— Об Аскере Данашеве ты говоришь? Нет, что ты! Разве его можно сравнивать с нашим Касеем? Как там говорится: дали сороке глаза, а она еще и брови попросила. Я не хочу и слышать об Аскере. Конечно, он летчик, хороший сын — матери пишет письма часто, но с Касеем его не сравнишь. Аскер не пара Зурет. Не пишет нам Касей, ни одного письма от него не получили. Лифаф вся извелась. Может, Касея послали на специальное задание, откуда нельзя писать писем? Бывают такие задания?

— Бывают, — ответила Фаина.

— Хаджимос написал командиру Касея письмо. Думаем, что скоро придет от него ответ.

Уже третью неделю работали Кутас и Зурет вместе. Работали ладно и весело. Кутас ведь знает уйму всяких историй, и чуть только выдастся свободная минута, рассказывает их.

Зурет с удовольствием пошла прицепщицей, но собиралась стать и трактористкой. Сказала об этом Кутас, и та охотно уже два раза сажала ее за руль.

Теория Зурет, конечно, давалась намного легче, чем Кутас. Прочитала книгу, сверила все на практике с машиной, ну, а умение ездить — тоже не очень сложная штука.

— Учись, учись водить машину, хорошее это дело, в жизни пригодится. Это сейчас трудно работать, потому что нет запчастей, самим приходится заниматься ремонтом. А если исправная машина, работать на ней одно удовольствие. Но главное в этом деле знаешь что?.. То, что ты становишься сильной. Ты будешь зарабатывать больше любого парня, и прав у тебя станет больше, твердо будешь на ногах стоять... Не держись так крепко за руль, руки быстро устанут. Легче, свободнее держи. И смелее. Машина любит уверенность.

Очень нравилось Зурет вести машину. Когда сидела за рулем, и в самом деле чувствовала себя сильнее. «А если летчик? У-у, какая сила в его руках. В руках Аскера. А

ведь есть и девушки-летчицы. Счастливые», — думала Зурет. И это счастье казалось ей недостижимым. Но ей, пожалуй, хватит и трактора да Аскера-летчика.

Одного боялась Зурет — как бы Кутас не заговорила с ней о Касее.

### 3

В землянке тепло. Пахло свежевырытой землей, сухой осокой.

Потрескивали дрова в железной печурке. В крошечное окошко падал свет весеннего солнца. За окошком помахивала ветвями старая осина. На ней уже проклюнулись зеленые листочки.

Пройдет еще неделя-другая, и лес оденется в зеленые одежды, сотканые весной. Позарастут тропы травой, землянку укроет шатер плакучей ивы. Тогда Касея найти в лесу будет не легче, чем иголку в стоге сена.

Тепло в землянке. Дремотно шумел лес.

Касей вспомнил ту ночь, когда он сбежал. Вспомнил, как его напугал пес Хатама, как он воровски стучался в свой родной дом, как, таясь от матери, он разговаривал в сенях с отцом, и ему стало жалко себя: почему все люди живут людьми, а он — волком, загнанным в темную берлогу? Чем он хуже того же Хатама, Аскала и других, которые, может быть, его ногти не стоят?

И тут же разозлился. А что это он жалеет себя? Расслабился, разнюнился, как кисель. Не хочешь сидеть в землянке, надо было ехать на фронт и сдохнуть там от шальной пули. Боишься? Тогда не ной.

Встал Касей, открыл бесшумную, хорошо смазанную дверь — солнечный свет ударил ему в глаза, резкий от утренней прохлады воздух шибанул ему в грудь. Он закрыл глаза и пошатнулся.

Сделал Касей осторожный шаг вперед, как суслик из норы, огляделся вокруг: все величаво-спокойно в лесу.

Опустился на земляную ступеньку и стал глубоко, с наслаждением дышать. Есть захотелось. Вернулся в землянку и поел вяленого мяса с хлебом, напился воды, опять

прилег и опять задумался: что будет с ним, если отец ошибается, если сюда немцы не придут... Потом pokrылся, вздрогнул от внезапного ужаса. Нет-нет! Такого быть не может!

Касей отдышался и стал себя уговаривать: что ты за дурак, чего ты пугаешь себя всякой дичью? Ничего, скоро придут немцы, и Касей вернется в аул, скажет, что не воевал против них, и получит достойное место. Так говорил Касею отец, такую картину будущего рисовал перед сыном. Что ж, старик не столь образован, как Касей, но мудрости ему не занимать. Будет все так, как он говорит. Вот тогда поглядит он, Касей, кому станет улыбаться Зурет.

Поговорить бы теперь с Кутас, узнать бы, разговаривала ли она с Зурет? Они ведь целыми днями теперь вместе... Да неужели же это правда, что тетка Кутас села на трактор? Позор! Женщина взялась за мужскую работу. Чего доброго, потом еще станет бригадиром и будет руководить, командовать мужчинами. Позор!

Однако Касей не поверит этому, пока своими глазами не увидит тетку на тракторе. Отец-то не видел сам, а слышал от людей. Может, что и напутали.

А вот он и отец — Касей слышал по хрусту валежника, по размеренным, неторопливым, но твердым шагам. Коня он, похоже, опять оставил вдали от землянки, чтобы не делать копытных следов.

Вошел Хаджимос в землянку. Сын первый поздоровался с ним. Отец степенно ответил ему, положил сумку на столик, сделанный из деревянных плашек:

— Мать еды прислала. Горячего передала — в завернутом горшке. Женщина есть женщина — для нее главное, чтобы сын вкусно поел.

— Спасибо, тат. Матери тоже передавай спасибо. Что нового в ауле и... вообще?

— Добрые вести, сынок, — улыбнулся Хаджимос, — немец опять пошел в наступление. Думаю, недолго тебе придется сидеть в этой берлоге. На станции большое передвижение войск. Пешие тоже идут. Вчера через наш Дагунохаль полк прошел. С запада идут. Видно, здорово

потрепанные. Во главе-то полковник, значит — полк, а по числу — не больше двух батальонов.

Повеселел Касей, и ужас, который охватил его совсем недавно, прошел. Приободрился Касей, налились у него плечи, отяжелели руки, — показалось: взмахни он кулаком, ударь — никто не устоит против Касея.

— Спасибо, тат, за добрые вести. Передай матери, чтобы не беспокоилась сильно. Я тут крепко сижу.

— А чего ей сделается у печки. Не думай о ней, у тебя есть думы поважнее. Скоро настанут горячие денечки. Письмо написал? Давай. И проводи меня.

Они вышли из землянки, прошли полянкой и очутились у глухой тропинки, где и стоял привязанный к орешнику конь. Касей отвязал его, придержал стремя, когда отец поднимался в седло.

— Ты, Касей, поосторожнее здесь. Огня поменьше и поаккуратнее. Топи лучше ночью, дыму никто не увидит. Теперь взгляну к тебе через недельку, если ничего важного не случится.

Уехал Хаджимос. Он и в этот раз не сказал сыну, что таится от Лифаф. Домой он приехал засветло. Лифаф и Кутас уже управились по хозяйству. И Гнедому уже был заготовлен корм в яслях. Хаджимос поставил коня и пошел в дом. Женщины встали, когда он вошел.

Лифаф принесла тазик теплой воды. Дала мужу умыться.

Мылся он долго, а потом тщательно, до красноты вытирался холщовым полотенцем. И лишь когда сел за стол, произнес свои первые слова. Произнес их угрюмо, ни на кого не глядя:

— Как живешь, Кутас? Давно не видели тебя в нашем доме. Этот проклятый трактор стал тебе слаще сестры. Сестру родную из-за него забыла.

— Я решила, так лучше будет. Когда ни зайдешь к тебе, ты все молчишь, хмуришься. Подумала, может, обижаешься, что хожу к вам.

Хаджимос не ожидал такого оборота и только сердито хмыкнул, метнул в Кутас недовольный взгляд.

— Что ты говоришь, сестра?! — вмешалась Лифаф. — Старик всегда к тебе очень хорошо относился. Просто тебе самой за этой проклятой машиной некогда и заглянуть к нам.

Хаджимос был зол на Кутас за то, что она стала работать на тракторе, сердился и за то, что хотела спровадить Касея на фронт. Надо бы, надо бы ей указать на ее собачье место, но Хаджимос не таков: даже паршивую собачонку не зли, чтобы она потом не укусила тебя исподтишка.

Когда прикрикнула Лифаф на сестру, он примирительно поднял руку:

— Не надо ссориться, а сегодня — тем более. Добрую весть я привез, старуха, — письмо от Касея. Хорошо, что и Кутас сегодня у нас, — порадуетесь с нами да и другим завтра расскажет о нашей радости.

— Ой, старик, дорогой ты мой! — воскликнула Лифаф, кинулась к Хаджимосу, взяла у него письмо и, обливаясь слезами, стала целовать исписанный лист бумаги. — Вечная хвала Тебе, о Великий Аллах, услышал Ты мою смиренную молитву, боль сердца моего материнского. Возьми письмо, Кутас, и читай.

— Садись, Кутас, читай, — важно согласился Хаджимос. Кутас, задыхаясь от волнения, стала читать.

Касей писал, что он находится на фронте, что ему часто приходится выполнять специальные задания командования, поэтому он так долго и не писал. Некогда. Просил передать приветы и поклоны всем своим знакомым аульчанам. Особый привет он посылал Кутас. Одобрял ее поступок, желал успехов в работе на тракторе. И пусть все спокойно работают, он и его товарищи сумеют их защитить от врага.

Дочитала письмо Кутас и заплакала:

— Видите, как умен наш Касей, видите, он хорошо понимает свою тетку, желает ей успехов, а вы... Если б не бабы — кто бы работал на тракторах? Молодец мой племянник, не пустит фашистов на нашу землю, а вы еще не хотели, чтобы он шел на фронт. Вот увидите, Касей вернется героем.

Хаджимос готов был взорваться от гнева: оказывается, родная сестра его жены настоящая большевичка. Но все-таки он виду не подал. Когда Кутас собралась уходить, стал задерживать ее, дескать, посиди, поговорим по-родственному.

Но не осталась Кутас.

— Пойду я, пока мы снова не поругались. Да и соседям расскажу о письме Касея.

А поздно вечером, когда Кагазежевы уже спали, к ним громко и властно постучались.

Первой проснулась, как всегда, чуткая Лифаф. Растолкала Хаджимосу:

— Там кого-то принесло к нам, старик. Да проснись ты, или не слышишь, как барабанят.

Вышел Хаджимос, накинув на плечи полушубок.

— Эй, кто вы, что вам надо?.. А, это вы. Зачем так поздно пришли? Или до утра не могли подождать, какое такое срочное дело вас привело?

Потом Хаджимос прикрыл за собой дверь, и Лифаф уже ничего не слышала.

— Ах, старый хрыч, опять таится от меня, опять ночные гости, — сказала она и направилась в сени. Приоткрыла дверь. Увидела в сенях Жечаго и двух мужчин с винтовками. Жечаго сказал:

— Не надо шуметь, Хаджимос. Вот ордер на обыск твоего дома.

#### 4

Уже который день шел дождь — то проливной, то какой-то нудный, морозящий, переходящий в густой, непроницаемый туман, и тогда казалось, что нет на земле ни леса, ни гор, ни даже самой Ошхамахо, словно бы все превратилось в непроглядную серую мглу, словно бы только и осталось на земле живого, что аул Дагунохабль.

Сегодня с утра потянуло ветерком с востока, показалось в разрывах туч далекое голубое небо. Думали: к обеду перестанет дождь и трактористам можно будет выехать

в поле, но опять ничего не вышло. Восточный ветер стих, и тяжелые серые тучи, туман снова взяли свое.

Трактористки совсем приуныли. Кутас сказала:

— Говорят, не доверяй осени и детскому заду, но сегодняшняя весна не лучше осени. То ждали дождя, а теперь вот. Хотим, чтобы он унялся. И такая у нас, девочки, скучища, такая скучища, хоть в петлю полезай. Один у нас с вами мужчина, и тот стал каким-то недотепой, как женился. Скажи ты нам хоть слово живое, Аскал. Таким был весельчаком, а сейчас...

Потянулся Аскал, зевнул громко.

— С молодой женой, похоже, не очень поспишь, — рассмеялась Кутас, рассмеялись вслед за нею остальные трактористки. Только Зурет покраснела и отвернулась, будто не слышала.

— Ну, и длиноязыкая же ты, Кутас, удержу на тебя нет, — проговорил недовольно Аскал, — дождь, наверно, на весь день зарядил, идите, девчата, домой, отдыхайте, а завтра просыпайтесь с рассветом и, если небо начнет разведриваться, поторапливайтесь к машинам.

— Слава богу, обрадовал. И долго же ты молчал, долго думал. По домам, трактористки! — весело скомандовала Кутас.

— Скажи, Аскал, нельзя хоть тихонечко, хоть понемногу пахать и в такую плохую погоду? — спросила Зурет. — Обидно простаивать, так мы можем и опоздать с севом.

— Правда, Зурет, можем и опоздать, — ответил ей Аскал, — но пахать нельзя. Трактор не потянет плуг по такой грязи. Может, придется и после дождя переждать, смотря как земля раскиснет.

Женщины уныло поплелись в аул, и когда пришла пора разойтись по своим домам, Зурет обратилась к Кутас:

— Опять ты будешь сидеть одна, опять будешь тосковать со своим котенком. Пойдем к нам. Все веселее.

— Спасибо, Зурет, — обрадовалась Кутас. Они было и пошли, но, поравнявшись с домом Кагазежевых, увидели сидевшую на крыльце Лифаф.

— Э, что-то неладно у моей сестрицы. Чего это она сидит на дожде мокрой курицей? Ну-ка узнаю... Эй, Лифаф, чего ты мокнешь, что случилось?

Лифаф подошла к калитке, взглядом показала, что не может говорить, поманила Кутас в дом.

— До свиданья, Зурет,— сказала Кутас и ушла с сестрой.

В доме Лифаф расплакалась:

— С утра сижу, мокну, жду Хаджимоса, жду страшных вестей.

— Ты можешь толком сказать, что у вас случилось? Ведь какое хорошее письмо получили от Касея, весь аул радовался этому событию. А теперь что случилось?

— Прошлой ночью у нас был обыск.

— Что искали, кто искал? — Кутас испуганно попятилась, наткнулась на кровать и плюхнулась на светлое покрывало.

— Жечаго был и двое военных, с ружьями.

— Аллах! Ты можешь сказать, что они искали? Ведь говорили же они, говорили?!

— Ничего не говорили. Искали, и все. В сараях, на чердаке, в погребке искали. Лазили по огороду. Ой, чего же ты такая грязная села на чистую постель. Кутас!

— Шайтан с ней, с этой постелью. Снявши голову, по волосам не плачут. А чего же ты не спросила у Жечаго, ведь свой человек, сказал бы?

Если с этими военными был Жечаго, значит, неспроста обыскивали, не мелочь тут была замешана, думала Кутас. Это Хаджимос натворил что-нибудь. Он всегда с разной грязью связан, и где он только находит гадких людей. Единственный сын воюет, кровь проливает, а этот старый хитрюга опять затеял какую-нибудь гадость. И ни стыда у него, ни совести. Сколько лет живет с ним Лифаф, столько и мучается. Молчит, молчит, хмурится, как дикий кабан.

— Скажи, сестра, уж не Хаджимос ли натворил чего?

— Что ты говоришь, Кутас, ведь он целыми днями в лесу, стережет народное добро. Ни дня ни ночи покоя не знает старик.

Не понравились эти слова Кутас, недовольно посмотрела она на свою старшую сестру. «Аллах мой, Аллах, как он ее обработал, какой рабыней сделал. А какая она была в девичестве. Веселая да бедовая. Даже не знали, какого ей парня подыскать, чтобы она его почитала», — думала Кутас с горечью. Потом спросила настойчиво:

— Может, и ты скрываешь что-нибудь? Может, что-то знаешь, да помалкиваешь?

— Нет же, ничего не знаю...

Лифаф хотела сказать сестре о ночном госте, который был зимой, но смолчала. Иногда совсем чужой кажется ей родная сестра Кутас, хотя вскормлены они одной материнской грудью, выросли под одной отцовской крышей. Ничего Лифаф не скажет сестре. Лучше молчать. Тут старик сто раз прав — даже дурак за умного сойдет, если будет молчать.

Рассердилась Кутас:

— Что ты все заладила: не знаю, не знаю. Овечка ты в отаре, что ли? Если ничего не хочешь говорить, зачем тогда позвала, зачем мне голову морочишь вместе со своим хитроумным Хаджимосом?

Встала Кутас с белой постели, оставив на ней следы замасленных брюк. Прошла по комнате, грохоча кирзовыми сапогами.

Испугалась этого грохота Лифаф, самой Кутас испугалась, у, какая она сердитая, у, какая сильная, наверно, не слабее самого Хаджимоса. Съежилась Лифаф, испуганно сложила руки на груди.

— Чего ты на меня так смотришь, первый раз видишь, что ли?.. Говори мне прямо, может быть, опять ночные гости у вас появлялись?

— Аллах с тобой! Какие гости?! — совсем испугавшись, замахала руками Лифаф. — Откуда ты знаешь, что у нас бывали эти самые гости? Наверно, из аульских сплетен. Верь, верь чужим людям, а родной сестре не верь, богохульница, отступница.

— Не кричи так, Лифаф. Ты мне сестра родная, потому я тебе и говорю, не скрывай от меня гадостей Хаджимоса.

Говори, были гости, которые еще до войны к вам приходили? Так?

— Аллах свидетель, не хотела я тебе говорить, но ты — ведьма, силой из меня вытягиваешь. Скажу, но клянись молоком нашей матери, что не скажешь ни слова нигде и никому, клянись.

— Говори. Чего ты дрожишь, будто тебя убивать собираются.

— Приходил к нам ночью гость, но я не знаю, кто это был, не видела и по голосу не распознала.

— Опять — не знаю, не распознала. До смерти своей доживешь, а так и не распознаешь, что за люди Кагазежевы. Даже сына своего хорошенько не знаешь. Только стоишь у печки, целыми днями жарись да старишься, седеешь да горбишься.

Лифаф сидела у стола и со страхом смотрела на сестру, которая все грохотала и грохотала кирзовыми сапогами, бросала ей в упрек страшные слова... Страшные? А возможно, справедливые? Но тогда эти слова еще страшнее. Если справедливые, тогда лучше в петлю головой... Нет, и на это у Лифаф уже не хватит силы. Растеряла она ее у печки, в коровнике.

И уже не страх в глазах Лифаф — холодное спокойствие, а затем и презрение к сестре.

Встала Лифаф, отошла в угол к окну и оттуда сухо сказала Кутас:

— Да — у печки, да — не знаю. Ничего не знаю и знать не хочу.

— Зачем же ты меня позвала? — возмутилась Кутас.

— Думала, перед сестрою облегчу свое бедное сердце, а ты пришла, как и те, которые обыскивали. Пришла искать, допытываться. Нечего у нас искать, нечего допытываться. Мы честные люди.

— Честные? Почему же они к вам пришли, а не ко мне, не к Нарыновым?

— Говори что хочешь, но мы чисты, как омытые молоком, мы гости Аллаха.

— Да-а-а, заладила. Видно, плохо твое дело, сестрица. «Гости Аллаха».

Вышла Кутас из дома, остановилась на крыльце. Косой дождь — холодный, колючий — хлестал ее по лицу, ручьями сбегал за воротник. Она стояла, закрыв глаза, не шелохнувшись.

Что ей делать? Плюнуть и больше никогда не приходиться сюда? О, с какой радостью она это сделала бы, если бы у нее были другие родственники, если бы у нее был муж, дети.

Нет у нее никого. Некуда голову приклонить. Какие они ни плохие, а приняли, когда она разошлась с мужем, жила у них, пока не забылось горе. Не прогоняли они ее — сама ушла.

Звенели стекла окон под напором косога ливня.

Прогремела кирзачами Кутас по гулким порожкам крыльца и зашлепала по лужам, по быстрым мутным ручьям.

Направилась прямо к председателю Жечаго.

Мамырхан увидела ее, вышла навстречу:

— Заходи, Кутас, заходи, а то совсем размокнешь. Как же мы тебя замуж тогда отдадим.

— Жечаго дома? — угрюмо спросила Кутас.

— Ты зайди сначала, а потом уж и спрашивать будешь. Скорее, скорее шлепай. Ах ты моя хорошая, совсем измокла. Дома Жечаго, заходи. Чаем тебя горячим напою.

В сенях Кутас причесалась гребнем, который дала ей Мамырхан, а потом вошла в комнату к Жечаго:

— Не обижайся, что пришла незваной да еще в такую погоду.

— Что ты говоришь. Спасибо, что пришла. Даже такого дождя не испугалась.

— Я по делу пришла.

— По делу — тоже хорошо.

— Оно совсем коротенькое. Один вопрос. Если хочешь, не отвечай на него. Что за обыск был в доме Хаджимоса? Кого искали?

— А разве Лифаф тебе не сказала? — удивился Жечаго.

— Нет. Сказала только, что зимой к ним приходил ночной гость.

— Вот этого-то гостя мы и искали.

— Кто он?

— Не обижайся, Кутас, если тебе сестра не сказала, я тебе тоже пока ничего не могу сказать. Садись к столу. Ух, какой душистый калмыцкий чай сделала Мамырхан.

## 5

Скоро лето.

Дни стали длинными, а солнце поджигало утреннюю зарю яркими красками, пробуждало цветы, пробуждало певчих птиц,— смотрите, мол, как все красиво, люди!

Некогда людям наслаждаться зорями, пением птиц. Встают затемно и ложатся затемно, работы столько, что некогда голову к небу поднять. Каждый день приносит людям беды, одни только беды. Приходят с фронта похоронки. Каждый день высоко в небе летят с запада на восток вражеские бомбардировщики, летят бомбить города и железнодорожные станции, летят, чтобы пролить кровь не только солдат, но и мирных жителей, как это было на прошлой неделе: бомбили районный центр, убили много детишек, женщин, стариков. А недавно два фашистских самолета с бреющего полета стреляли по колхозникам соседнего аула, работавшим в поле.

Каждое утро, когда собираются аульчане в ожидании подвода, чтобы ехать в поле, Зурет видит печальные глаза, слышит разговоры о горе, которое ничем не измерить.

Сегодня утром Зурет не видела печальных глаз, не слышала надрывающих сердце разговоров. Сегодня Зурет одна шла на работу. Опоздала немного — подводы ушли. Шла полевой тропинкой и радовалась высоким травам, цветам, радовалась тишине, а когда подошла к речке, заслушалась говором воды. Молодость есть молодость...

На косогоре паслась отара Хатама. В белой чабанской шляпе он бродил с волкодавом неподалеку. Интересно, о чем он думал? Может быть, смотрел, как и она, на цветы, смотрел на речку и, кто знает,— на нее, Зурет.

Странное дело, от этой мысли на сердце потеплело.

На востоке в белой папахе облаков появилась гора Ошхамахо.

Улыбнулась Зурет: получилось так, что она оказалась между великой доброй горой и добрым человеком, Хатамом. И гора смотрела на мир с высоты, из-под белой папахи, и чабан, опершись на ярлыгу, смотрел на луг, на поля из-под белой чабанской шляпы. А Зурет смотрела на них.

Жалко, что в эти минуты не было рядом с нею Фаины, они вдвоем постояли бы здесь у воды. Хорошо, что в аул приехала эта женщина. Зурет и представить не могла, как бы она обошлась без нее в такое трудное время, что бы она делала одна в своем доме, где каждый угол напоминал о смерти матери и брата Сафера.

У самого полевого стана ее догнал на коне Жечаго. Он спешился:

— Аскал говорил, что сегодня у тебя отгул.

— Да. А что мне дома делать?

— Верно,— улыбнулся Жечаго,— тем более весной, в твои годы. Так я говорю?

Зурет пожала плечами, опустила глаза.

— Э! Посмотрите, кто идет! — воскликнула Кутас.— Эта тоже дома не усидела. Погода такая, кому хочешь голову вскружит. Вы посмотрите на нашу тихоню, на Фаину. Просто красавица. Я даже не думала, что она так красива. Счастливый человек ее муж.

— Муж у нее тоже очень красивый,— сказала Зурет.

— А ты откуда знаешь? — удивилась Кутас.

— Видела фото.

— Разве на фото увидишь красоту человека? Да ты сфотографируй Хатама, так и он может показаться красавцем.

— Напрасно ты так говоришь, Кутас. Хатам по-своему очень красив. Он благороден душой,— сказала Фаина.

— Ох, уморила! Хатам благороден душой, по-своему красив. Вы послушайте, что она говорит. Уж не влюбилась ли ты в него? Если он красив, тогда я тоже красавица.

— Кутас, когда ты говоришь плохие слова о человеке, это тебе совсем не идет. А разве ты не красавица? Особенно когда смеешься, когда лучше всех пашешь.

Фаина говорила это серьезно, с грустным упреком, а Кутас гнула свое:

— Если бы я была красавицей, так не жила бы бобылкой, женила бы на себе Аскала.

— Но ведь у него уже есть жена,— заметила Мария.

— А что мне его жена. Отобью!

— Я отобью язык твой. Это просто какая-то длинноволосая ведьма,— рассердился Аскал, возившийся у трактира.

— А ты услышал-таки! — и расхохоталась Кутас. Перепалку прервал Жечаго:

— Давайте-ка все сюда, вместе почитаем свежую газету, побеседуем немного о наших делах.

— О господи,— прошептала Гуца,— опять, наверно, худые вести с фронта.

## 6

А вечером Кутас была у Кагазежевых и вернулась домой сама не своя.

Еще бы! Хаджимос разговаривал с нею так, будто это она приходила к ним с обыском. И все с какими-то подковырками, с намеками. Выспрашивал у нее что-то, но что — и понять невозможно. Видно, рыльце у Хаджимоса в пушку, напакостил, вот и ищут у него какого-то нехорошего человека. Вот и выспрашивал он, не слыхала ли она чего в ауле, от Хатама или Жечаго? Выспрашивал, это понятно, раз уж напакостил, надо выкручиваться, а зачем Жечаго-то так поносил? Зачем грязными и черными словами обзывал честного человека?

И Лифаф тоже ему подпевала, как всегда. Противно так, будто собачонка подскуливала. Но самое страшное, что Кутас услышала в этот день,— Хаджимос ждет фашистов.

Вспомнила Кутас эти слова и снова вся злостью закипела. Взяла веник и стала подметать чистый пол. Видишь ты, лихорадочно металась ее мысли, сам, пакостник, ждет немцев да еще и обижается, что у него устроили обыск, еще поносит ее, будто она заодно с Жечаго... А разве не заодно? Если не с ними, то с кем же? Уж не с Хаджимосом ли, не с фашистами ли? О-о, вон какое дело получается, значит, он и ей «покажет», когда придут фашисты. Ишь

ты, овечкой на людях прикидывается, а сам волк волком. Верно люди говорят: где дождь, там и гром.

Подмела пол Кутас и зачем-то стала мыть чистую посуду. Мысли в ее голове все металась, обгоняли одна другую, сшибались. Старый пакостник, думала она, ждет врага, а его родной сын сражается на фронте, бьет проклятых фашистов. Что же это такое получается? Как-то здесь не сходятся концы с концами. Касей... Касей... Что Жечаго таит от Кутас? Почему не сказал, какого гостя они вот уже второй раз искали в доме Кагазежевых?

И сегодня Жечаго что-то уж очень дотошно спрашивал у нее о Касее. Все допытывался, не видела ли она конверта, в котором пришло письмо, не видела ли на том конверте почтового штемпеля?

Эй, куда он клонит, этот Жечаго? Не-е-ет, Касей порядочный малый, он никогда не докатится до такой гадости, до какой докатился его отец, выживший из ума.

Но постой-постой, Кутас.

Лифаф-то цыганке отдала пятьсот рублей, двух кур, масло, чтобы вернуть Касея из армии. Вернуть, когда весь народ воюет с врагом. Вот она и получается закавыка. Кутас тоже добра желает своей единственной сестре, за Касея горой станет, коли понадобится, но, как говорится, она не станет на похоронах свадьбу играть. Она любит радоваться вместе со всеми, но и от горя не уйдет, возьмет положенную долю на свои плечи. Подолом платья сына не укроешь от пули, когда фашисты топчут родную землю, от народного суда сына тоже не спрячешь.

Душно в комнате. Кутас вышла во двор.

Тихое послеобеденное время. Жара пошла на убыль. На полях золотился ячмень. Трогалась на припеках и пшеница пока еще бледной позолотой. А в огородах — буйствовала зелень. Набирал силу лук. Разрастались укроп, петрушка.

Аскал уже приготовил к жатве оба комбайна, на линейке готовности стояли тракторы. Еще пройдет день-другой — и начнут убирать ячмень, потом начнут делать прокосы по пшенице.

Такая добрая пора стояла, а Кутас донимали дурные мысли, болело сердце за племянника, за сестру и старого пакостника — Хаджимоса.

Направилась она было на огород, чтобы прополоть лук, но вспомнила о плетне — в нем куры проделали дыру и лазили в огород. Взяла в куче хвороста несколько веток, заделала дыру.

Прополола лук, чеснок. Прошла по картошке. Нужен еще хотя бы денек, чтобы огород был чистым. Потом, когда начнется уборка, лишнего часа для своего огорода не вырвешь. Разве что в лунную ночь.

Собралась идти в дом, из-за плетня ее окликнул Хатам:

— Добрый день, Кутас, как поживаешь?

На нем новая коричневая рубашка, на голове белая чабанская шляпа. Чисто, до блеска выбрит.

— Здравствуй, Хатам, заходи в гости. Уй, какой ты сегодня праздничный. В честь чего это?

— Да вот, Фаина новую рубашку сшила, надел ее сегодня, потому что праздник у меня. Мой праздник... Письмо получил и еще, посмотри, фотокарточку.

— Да никак это Аскер, сын Гуцы?!

— Он самый. Угадала.

— Как не угадать такого красавца. Что он пишет хорошего?

— На письмо, почитай. Вслух читай. Хорошее письмо, красивое.

Взяла Кутас письмо и долго не могла читать, разволновалась. Кто такой Хатам Аскеру? Чужой человек. А он ему уже не одно письмо прислал, а теперь еще и фотографию. Касей же скупое письмишко прислал матери, единственное. Мог бы, конечно, и тетке прислать, мог бы и сфотографироваться... Может быть, люди верно говорят, что яблочко от яблоньки далеко не падает...

— Читай же, Кутас.

— Сердце заболело. Прямо стиснуло его болью. Какой хороший парень Аскер.

Она, запинаясь, волнуясь, стала читать.

Аскер писал, что ему приходится очень много летать, делать по несколько боевых вылетов в день. Пусть в Дагу-

нохабле знают, что фашисты недолго будут на советской земле. Весь истребительный полк, где служит Аскер, велел передавать хлеборобам Дагунохабля поклоны за помощь фронту.

— Разве тут не расплачешься, разве утужишь? Такие красивые и трогательные слова он написал. Кланяйся ему, Хатам, от нашей женской бригады трактористок. Напиши, мы тоже не пожалеем сил, будем работать столько, сколько потребует фронт. Так и напиши.

— Спасибо, обязательно напишу. Я писал ему о вашей женской бригаде, но Аскер, наверно, еще не получил того письма. А скажи, как там наш Касей?

«Этот тоже о Касее спрашивает. Что ему сказать? Что? Лучше промолчать».

— Хорошие вести ты принес, — увернулась Кутас. — Спасибо тебе. Зайди в дом, у меня сегодня хороший обед. И запить чем найдется. Заходи.

— Я знаю, ты вкусно готовишь, но я сыт, недавно поел. В другой раз с удовольствием зайду и попробую твой знаменитый соус. Не знал, что ты дома, пришел бы пораньше, — подмигнул Хатам, — думал, трактор ты свой готовишь к уборке.

— Готов уже. Через пару деньков начнем убирать ячмень. Урожай нынче хороший. И об этом напиши Аскеру.

Спустилась ночь. Хотела Кутас сходить к Нарыновым, рассказать Зурет и Фаине о фотографии Аскера, о его письме, но уж очень устала — пошла спать. Проспала она часа три, а показалось, будто только закрыла глаза, как кто-то постучался в окно.

Давно к ней никто не заглядывал ночью, а поэтому она хоть и сразу проснулась, засомневалась. Может, померещилось?

Осторожный стук повторился.

Неужели и ее пришли обыскивать? Нет, этого быть не может. Встала, подошла к окну, спросила:

— Кто там? Чего надо?

— Это я. Касей, — донеслось негромкое из-за закрытых ставен, — открой мне.

Будто кипятком обдало всю Кутас.

Как же это? Что же это?

Накинув на плечи одежку, вышла в сени, отодвинула засов и открыла дверь:

— Это и правда ты?

— Я, — отдышавшись, ответил Касей.

— Заходи в дом и расскажи мне...

— Некогда заходить, — торопливо перебил он ее, — дай что-нибудь поесть, я голоден, как волк.

— Да чего ты, словно вор. Заходи, накормлю.

— Не смей говорить так громко. Я не найду. Быстро давай еду.

— Бог меня наказал за грехи мои тяжкие, бог покарал меня позором, — заголосила Кутас.

— Я же сказал, не ори! Быстренько давай еду! — зло приказал Касей.

— Не-е-ет, племянничек, значит, ты продал душу. Значит, все воюют, а ты в кусты?! Не дам я тебе куска хлеба, не помощница я тебе в твоих срамных делах.

— А-а! Ты так, тетя! — Касей угрожающе двинулся на Кутас. Она попятилась в сени.

Он прошел в дом, взял две буханки хлеба, вареную курицу. Уходя из дома, сказал:

— Дай знать нашим, что я жив. А Жечаго передай, пусть оставит меня в покое, не то ему не сносить головы.

Кутас, растерянная и испуганная, стояла в сенях.

## 7

Ушел Касей.

Кутас долго, как полоумная, стояла у раскрытых дверей, а потом побрела к кровати, легла и недвижно смотрела в темный потолок.

Может быть, все это ей почудилось, может, приснилось?

Луна заглянула в окно. И встал перед Кутас невымытый, заросший, с глазами, светящимися страхом и ненавистью, Касей. Тот самый Касей, что недавно был в ее доме. Нет,

это не ее племянник. Показалось, значит, ей все, во сне привиделось, но в это время где-то за огородом раздалось несколько винтовочных выстрелов. Потом — еще.

Залаяли собаки в ауле, завыл соседский старый пес.

Вскочила Кутас и в одной сорочке выбежала на крыльцо. В мертвенно-бледном свете лежал аул. Лежал в тревожной тишине.

Закрывает дверь Кутас, заперла на засов и побрела к кровати. Что же ей делать теперь? Пойти к Кагазежевым, рассказать им? Или к Жечаго? А может быть, уже ни к кому не надо идти, может быть, во время стрельбы убили Касея? Жалко ей стало племянника. Увиделся он ей распростертым в траве, с пробитой грудью, с мертвыми закрытыми глазами.

Кинулась Кутас в огород, побежала по дорожке к заднему плетню. Там, в той стороне стреляли. Пока бежала, все слышала стон, доносившийся из кустов шиповника. Остановилась у плетня, прислушалась. Ничего не услышала. Перемахнула через плетень, обошла ближние кусты, прошла подалее, сходила к канаве. Ничего нет — только холодная роса да серое небо.

Был у нее племянник. Почти сын. Ни мужа, ни любовника, ни детей — один племянник. Думала, женит его на первой красавице, на Зурет, и будут у нее внуки. Нет у нее племянника. Даже если живой, все равно нет его...

Солнышко встало из-за чистого горизонта, обещало добрый, безветренный день. Это хорошо, быстрее созреют хлеба, тяжелый колос не пригнет к земле, легче его будет брать комбайнеру.

Вышла Кутас покормить кур. Ее окликнула соседка:

— Доброе утро. Не хочешь ли парного молочка, только что подоила корову.

— Спасибо. Не хочу.

— А кто это ночью стрелял? Я так перепугалась. Думала, может быть, уже эти... проклятые немцы к нам подступили.

— Я тоже слышала стрельбу, — пряча глаза от соседки, ответила Кутас, — где-то у речки стреляли, а кто стрелял?..

— А все ж возьми крынку. Сейчас не хочется, потом выпьешь. Давно я тебя не угощала молоком... Стреляют, стреляют, чтоб их Аллах покарал.

— Правда, правда,— машинально ответила Кутас,— надо мне по воду сходить, а потом в бригаду, может, сегодня косить ячмень начнут?

— Нет, рано еще. А воды принести надо... Плохо тебе в одиночестве жить, тоскливо, но зато — спокойнее. Я вот вырастила сынов, из сил вся выбилась, пока вырастила, а они теперь ушли воевать. А матери снова боль, снова бессонные ночи. Знала бы, не выходила бы замуж. Перебилась бы как-нибудь, перебесилась...

Не слушала соседку Кутас. Пошла в сени, чтобы взять ведра и идти за водой. Ведра оказались полными. Это вечерняя вода, сказала себе Кутас, надо принести утренней, она чище.

Не в воде было дело. Просто Кутас хотелось осмотреть еще и прибрежные кусты. Возможно, там раненый или убитый лежит Касей. Повесила на коромысло ведра и пошла тропкой к речке.

Другие чабаны еще не вышли с отарами, а Хатам уже выгнал свою на луг, пасет.

Кто это там к нему подсказал?

Два всадника. Одного сразу узнала — Жечаго. Узнала и остановилась, вздрогнула: если увидит ее Жечаго, что она скажет ему?

Хорошо, если ничего не спросит о Касее, а если спросит? Сказать, что он приходил ночью? Так прямо и сказать — приходил, мол, говорил, что Жечаго не сносить головы? Да скорее у нее отсохнет язык, чем она произнесет эти слова. И все-таки придется сказать председателю правду. Конечно же, два раза они приходили ночью к Кагазежевым — искали Касея. Конечно же, тот ночной гость, о котором говорила Лифаф, — Касей.

Подошла к речке, взглянула на косогор — всадников не было видно, значит, ускакали в дальние поля. Вздохнула облегченно Кутас — не придется ей сегодня рвать свое сердце на части.

Пришла домой, затопила печь, но чай не стала греть — не хотелось есть.

Решила пойти к Кагазежевым. Пораньше пойти, пока еще не совсем пробудился аул, а то ведь каждый встречный начнет говорить про стрельбу ночью, начнет расспрашивать. И как знать, возможно, в ауле уже все знают о дезертирстве Касея. Если знают, как тогда людям смотреть в глаза, как разговаривать с ними? Нет, лучше провалиться сквозь землю.

Заторопилась Кутас, но на полпути остановилась. Новые сомнения стали одолевать ее: почему она, Кутас, должна быть посредницей между дезертиром Касеем и его родителями? Если так, то выходит, что она помощница Касею? Выходит, что так.

Эй, дура, сказала она себе, чего же ты стоишь пнем посреди улицы? Скажут люди, наверно, Кутас умом тронулась — стоит посреди улицы и целый час смотрит себе под ноги.

Наплевать ей на Касея, но жалко Лифаф. Жалко эту женщину, из которой Хаджимос сделал рабыню. Если ее не пожалеет единственная родная сестра, кто подаст ей руку помощи? Кто?

Хаджимос у сарая рубил дрова. Увидел Кутас, но сделал вид, будто не заметил, отвернулся.

«А мне бы и век тебя не видать», — подумала Кутас, глядя на Хаджимоса, и прошла прямо в дом.

— Аллах мой, Аллах, что случилось? Чего тебя принесло в такую рань?! — воскликнула Лифаф, возясь у печки.

— Случилось прошлой ночью то же самое, что и у вас случается по ночам,— сердито ответила Кутас и села к столу.

— Эй, сестра, какая муха укусила тебя, ты можешь мне сказать что-нибудь толком?

Вошел Хаджимос. Он по походке Кутас догадался — неспроста она пришла, потому и заторопился в дом.

— Ты слышишь, старик, она говорит, у нее прошлой ночью случилось то же самое, что у нас случается по ночам.

— А что у нас случается? — зло спросил Хаджимос, не глядя на Кутас.

— Я не глупее тебя, Хаджимос, хотя ты меня и считаешь душой. У тебя всю жизнь какие-то тайны от Лифаф, от меня, от всех людей.

— Дура ты, дура и есть. Какие еще такие тайны? — загремел Хаджимос.

— Я о ночных гостях.

— Не болтай лишнего, Кутас, а не то я живо укорочу твой язык!

— Не пугай, зятек. Лучше послушай меня. Сегодня ночью приходил ко мне в дом Касей... Что же ты молчишь? Или не знал, что твой сын дезертир?

— Не болтай, сестра! — воскликнула оторопевшая Лифаф.— Какой Касей, какой дезертир?! Ты скажи, он живой, живой мой сын?

— Мертвые не ходят по домам, не просят есть. До свиданья! Больше я вам не помощница в ваших грязных делах.

— Постой, Кутас! — грозно сказал Хаджимос.

Но Кутас не обернулась. Ушла, хлопнув дверью.

## 8

Всю прошлую неделю, почти каждый день вражеские самолеты бомбили райцентр и железнодорожную станцию, что недалеко от Дагунохабля. Взрывы там бывали такими сильными, что в ауле позвякивали оконные стекла.

Жечаго и Хатам ходили по дворам и объясняли аульчанам, как надо и в каком месте лучше вырыть щели, объясняли, как нужно вести себя в случае налета.

Не зажигали лампы по вечерам аульчане, и аул казался вымершим. Да и днем почти не видно людей на улицах. При встречах они говорили приглушенно, почти шепотом.

Позавчера перед заходом солнца в Дагунохабль прилетела «рама». Об этом разведывательном самолете аульчане уже много слышали. «Рама» спустилась, низко пролетела вдоль главной улицы и потом скрылась за лесом.

Сразу же на улицу высыпал весь аул. И разговору, разговору было! Тоже шепотом, будто враг мог их услышать. Говорили, самолет так летал, что чуть не цеплялся за деревья и трубы домов. Говорили, что даже летчика видели, который вроде бы погрозил из своей кабины кулаком.

Потом через Дагунохабль прошла еще одна воинская часть с запада на восток. Не поймешь, что это была за часть: прогромыхали два танка с солдатами на броне, четыре орудия, запряженные лошадьми, прошли. Пехота, тяжело груженные повозки, грузовики. Проскакало несколько эскадронов кавалерии.

У дома Нарыновых остановилась легковая машина. Из нее вышел генерал-майор и попросил у Фаины напиток. Пока пили генерал и его шофер кислое молоко, подъехал еще один легковик. Из того легковика выскочил полковник, взял под козырек и отрапортовал:

— Все верно, товарищ генерал, танки прорвали...

Генерал нахмурился, покосился на Фаину и Зурет.

— Виноват, товарищ генерал, — сказал полковник.

Уехали машины.

На глазах Фаины показались слезы.

— Что случилось? — взволнованно спросила Зурет. — Я ничего не понимаю, Фаина. Что случилось?

— Фронт прорван... Сегодня на рассвете я слышала артиллерийскую канонаду. Фашисты уже близко. Если они придут сюда, если кто-нибудь из ваших аульчан скажет, кто я такая, нас с Владиком расстреляют. Ведь мой муж коммунист, офицер.

— Зачем ты такое говоришь? Разве кто-нибудь из аульчан посмеет это сделать? У нас люди хорошие, честные. Даже те, кому ты не по нраву, не посмеют причинить тебе зла — ведь ты гость аула, а по обычаям нашего народа самый страшный позор падет на голову тому, кто обидит гостя. Да и разве ты одна такая...

— Все это верно, и все-таки мне надо бы уехать с частью, которая шла сегодня.

— Но куда ты поедешь, куда? Разве ты бросишь меня?

— И ехать некуда, и тебя бросать жалко,— вздохнула Фаина.

— В ауле нас с тобой называют сестрами. Так и будем говорить в случае чего. Мы даже немножко похожи друг на дружку. Чернявые.

— А Владик? Он же такой... как ясное солнышко.

— Ну и что? У адыгов тоже есть рыженькие.

Обняла Фаина Зурет.

Владик теперь пропадал на кошаре у Хатама целыми днями. Фаина волновалась, если сына долго не было, а потом привыкла. Сначала по вечерам его приводил домой Хатам, но вскоре мальчишка запротестовал:

— Что я, не мужчина, что ли? Я не боюсь темноты!

— Чистый джигит! — весело смеялся Хатам.— И по-адыгейски говорит не хуже аульских.

Вот и сегодня, уже стемнело, а Владика еще не было.

— Скоро придет наш адыг,— сказала Зурет,— наверно, уже поставили на ночь в загон отару, теперь скоро придет. Да и ты, Фаина, неплохо говоришь по-адыгейски, совсем тебе бояться нечего. Наша ты, моя сестра родная. А вот он и джигит наш.

— Какой еще джигит? — послышался от калитки голос Кутас.— Вам, бесстыдницам, все джигиты мерещатся. О сестре своей одинокой совсем забыли. Хоть сдохни я там от тоски или по какой другой причине, вы и знать не узнаете.

— Зря ты так, вот уж зря,— выходя ей навстречу, сказала Зурет,— мы вчера приходили, но твой дом был на замке. Садись, пожалуйста, посумерничаем.

— Садись, садись, да на нас не сетуй, подружка,— заговорила Фаина,— приходили мы вчера к тебе. Э! Ты слышишь, Зурет, от нее пахнет духами.

— Правда, пахнет духами от меня сегодня. А если скажу, какими духами пахнет, не верите... В день свадьбы мне подарили флакон духов «Красная Москва». Побрызгалась я тогда один раз духами и спрятала их. До сегодняшнего дня не трогала их.

— У-у-у значит, у тебя сегодня праздник? — удивилась Зурет.— Что ж это за праздник?

— Пойдем в дом, там вам все и скажу.

Зашли. Зурет зажгла лампу. И платье на Кутас шелковое, и шарф цветастый газовый, и новенькие со скрипом туфли.

— О! Надо же, и платье шелковое, вроде бы и не ко времени,— сказала Фаина.

— Сейчас все узнаете,— Кутас достала из лифчика письмо, подала его Зурет, а сама села на кровать и заплакала.

— Вот тебе раз! Праздник, а сама плачешь,— подбадривающе сказала Фаина.

— Немножко я, немножко. Читай, Зурет. Это письмо моего бывшего мужа.

Письмо было коротким. Шеретлуков писал, что находится на фронте уже целый год. Пока жив и здоров — пули и осколки его милуют. Сейчас они стоят на отдыхе, скоро снова в бой. А написал он это письмо Кутас, чтобы напомнить о себе, узнать, как она поживает.

— Чего же ты плачешь? — удивилась Фаина.— Хорошее письмо.

— Хорошее,— согласилась Кутас,— но ведь у него есть жена.

— Что делать. А все-таки тебе письмо прислал,— задумчиво сказала Фаина,— возможно, не живет больше с той женой? Ведь ничего не пишет о ней. Он знает, что ты не замужем?

— Не знает.

— Наверно, поэтому и не пишет о своей жене. Хочет, чтобы ты ему написала о себе. О своих чувствах как-нибудь намекнула.

Опять всплакнула Кутас. Газовым шарфиком вытерла слезы:

— Как ему намекнешь?.. Да и чего я, дура, плачу? Не траур же мне носить по его второй жене. Она-то по мне не носила. Наверно, радовалась, что заполучила такого мужчину... А ну его! Давайте, девочки, я вас побрызгаю «Красной Москвой».

Достала Кутас из-за пазухи флакон, открыла пробку, но тут же закрыла ее:

— Нет, не стану я расходовать такие дорогие духи на ваши лохмотья. Быстренько надевайте свои лучшие платья! Чего же вы сидите? Одевайтесь! Живо!

— Что ты выдумала? — возразила робко Зурет. Робко, потому что и самой хотелось одеться, хоть разок посмотреть на себя не в рабочей робе, а в девичьем платье.

Фаина тоже возражала не очень настойчиво, ей хотелось, чтобы немного повеселела Зурет.

Через несколько минут все трое были похожи на невест.

— Вот это здорово! Ах, как красиво! — восхищалась Кутас.

И у Фаины на глазах слезы, и у Кутас, и у Зурет с ними за компанию.

— Хватит, девочки, побаловались и хватит, а то войдет кто-нибудь — и нам придется краснеть за свое озорство, давайте раздеваться, — уговаривала Фаина. А Кутас все прохаживалась перед зеркалом под руку с Зурет:

— Пусть кто хочет, тот и заходит. А если зайдет мужчина, тем более, ему есть на что посмотреть, есть чему порадоваться, а то ведь теперь все давно позабыли, какая бывает женская красота.

В дверь с улицы постучались.

Женщины с визгом разбежались по комнатам.

Вошел Хатам с Владиком.

— Эй, есть тут кто живой?

Услышав голос Хатама, все вышли к нему. Хатам с широко открытыми глазами стоял посредине комнаты и никак не мог сообразить, что тут происходило. Он даже вспотел. Владик жался к Хатаму и тоже смотрел растерянно.

— Эй, королевы! — наконец подал голос Хатам. — Вы так красивы, что у меня голова кружится. В честь чего это?

— В твою честь! — сказала Кутас. — Иди-ка я тебя побрызгаю духами.

## 9

Жатва была в самом разгаре.

В поле с темна до темна все — и стар, и млад. А комбайн работал круглые сутки. Комбайнеров хватало — под руководством Аскала работали на степных кораблях Кутас, Фаина, Зурет, Мария...

Старики нашли в сараях свои старые косы, хорошенько отбили, наточили и вышли в поле. Становились рядами, как в старину, и широкими взмахами клали наземь пшеницу.

Следом за косарями шли женщины и вязали снопы. Детишки носили в поле студеную воду и кислое молоко.

А в небе все чаще появлялись не только тяжелые бомбардировщики, но и пикирующие, появлялись штурмовики и истребители.

Уже не один раз видели аульчане воздушные бои. И как знать, говорил Жечаго, может быть, над родным аулом дрался на своем истребителе и Аскер.

Теперь войска не проходили через аул на восток. Дымились походные кухни за околицей. На опушке леса стояли замаскированные ветками танки. Неподалеку от станции расположилась зенитная батарея. Как только налетали на станцию вражеские самолеты, она вела звонкую, частую стрельбу.

Смотрели в свое родное небо крестьяне и не узнавали его — оно стало грозным, оно посылало на землю кровь и страдания.

Хлеб теперь возили на станцию только ночами, потому что фашистские штурмовики нападали на обозы — расстреливали из пулеметов. Убили старика с внуком, разбили три подводы с зерном.

Теперь не так часто плакали женщины по своим ушедшим на войну сыновьям, не плакали солдатские вдовы — стали крепче женские сердца.

Однажды подводы вернулись со станции неразгруженными. Молча окружили их аульчане, словно они привезли обратно не пшеницу, а горе. Все понимали, почему вернулся хлеб, и все-таки Аскал спросил у Жечаго:

— Пшеница наша оказалась плохой, негодной?

— Разве хлеб может быть плохим, если он уродился? На станции нет вагонов и... они уже не придут.

Жечаго прямо здесь же на току собрал членов правления колхоза:

— Что будем делать с пшеницей? Сдать государству ее не сумеем. Хранить в колхозных амбарах небезопасно, если придет враг, заберет ее и поблагодарит нас за ротозейство. Что будем делать?

— Может, раздать на трудодни?

— Но ведь получится очень много. Мы еще и половины зерна не вывезли.

— Пусть будет много. Будем хранить у себя, а если понадобится, опять свезем в колхозные амбары.

— Пожалуй, другого выхода нет, — согласился Жечаго, — спасибо вам за мудрый совет. Только дома надо зерно понадежнее спрятать — фашистам все равно из чьих амбаров брать.

— Не беспокойся, Жечаго, — подмигнул Аскал, — спрячем так, что сам шайтан не найдет.

— Скот придется гнать в горы, а там в случае необходимости, через перевалы в Закавказье. За перегон скота отвечают старшие чабаны, табунщики и пастухи. Приказ такой: немедленно собираться — и в дорогу. Куда гнать скотину, какими дорогами, я скажу каждому, кто отвечает за перегон. Пути эти надо держать в строжайшем секрете. Так будет лучше. А сейчас не будем терять ни минуты.

Первым увел огромную отару овец Хатам.

Сутки прошел благополучно, вторые тоже, а на третьи овцы, не привыкшие к большим переходам, стали прихрамывать. Вскоре две подводы были заполнены больными овцами, и с полсотни овечек едва брели. Часто приходилось останавливаться на отдых, но и это не помогало.

— Что будем делать? — спросил Хатам у стариков. — Останавливаться здесь мы не можем, не имеем права.

— Думаю, надо младшему чабану вернуться назад, на большую дорогу, это не очень далеко, верхом часа за три он доскачет туда. Там стоят наши части. Нужно найти, кто нуждается в мясе, и сдать им больных овец. Оставим в отаре только здоровых овец, с ними дойдем до места.

Долго думал над предложением старика Хатам. Не было у него разрешения сдавать племенных тонкорунных

овец на мясо. Но что же делать? Ждать, пока поправятся, времени нет. Жечаго, когда провожал его в дорогу, отвел в сторону и сказал: «Поторапливайся в ущелье, не ровен час... немцы, говорят, идут быстро».

— Быть так, как сказал старший из нас. Ильяс — на коня и марш на дорогу, ищи воинскую часть, которой нужно мясо.

К вечеру пришли три грузовика. Военные забрали всех больных овец, выдали форменный документ Хатаму. Отблагодарили подарками — дали сахару, соли и каждому чабану по паре добрых солдатских сапог.

## 10

В назначенном месте, в глухом ущелье Хатам со своими помощниками сдали под расписку овец, как наказал Жечаго, и повернули домой. В Дагунохабль пришли поздно вечером. Ни дымка, ни огонька в ауле. Даже собаки не брехали.

Не понравилась эта подозрительная напряженная тишина Хатаму. Почему так тихо? Почему на западе не видно фронтового зарева, не слышно канонады, бомбежки?

Старики разошлись по домам, побрел на свою опустевшую овчарню и Хатам. Раскрыты ворота загона, настезь двери опустевших кошар. Никогда Хатам не боялся тишины и темноты, а тут зияющие дверные проемы ему показались похожими на разрытые могилы. Вздрыгнул Хатам.

Высоко в небе послышался гул самолетов. Высоко летели, с запада на восток. Думал, сейчас они будут бомбить станцию или райцентр. Нет, пролетели дальше. Почему? По грейдеру, слышно, шли колонны автомобилей. Шли на восток. Странно, непривычно гудели моторы. Чужой это был гул.

На кладбище надрывно кричал сыч.

Зашел Хатам в свою комнатку. Холодно в ней. Не раздеваясь, лег на кровать и уснул тяжелым, тревожным сном. Всю ночь его мучили какие-то кошмарные сны. Снилось, будто отняли у него овец, будто дрался с кем-то, истекая кровью.

Проснулся он на рассвете и долго не мог понять, где находится. Чужими, незнакомыми казались ему и окно, и дверь, и кровать, на которой лежал. Наконец очнулся. Наскоро умылся и пошел к Жечаго. По дороге ругал себя. Вчера надо бы идти прямо к нему и доложить о деле. Зря не пошел. Будет недоволен Жечаго. И правильно.

Хатам постучался в дверь дома.

— Кто там? — послышался испуганный голос Мамырхан.

— Это я, Хатам. Открой, Мамырхан.

— Вы уже вернулись? — Она открыла дверь и впустила Хатама в дом.

— Где Жечаго?

— Нет его. Ушли они с Аскалом. Разве ты с ними не встретился?

— Мы же условились здесь встретиться, — растерянно проговорил Хатам.

Прикрыла поплотнее дверь Мамырхан.

— Ты разве не знаешь?.. Немцы пришли в аул.

— Как?!

— По грейдеру в город прошли танки. Там был бой. Целый день стреляли из пушек. Много немецких самолетов летало. Прямо над самой землей. К вечеру все стихло... И вскоре в аул приехали мотоциклисты. Кто говорит — десять, кто — двадцать. Ехали они вдоль улицы и палили из автоматов. Постояли немного у сельсовета, сорвали красный флаг и повесили свой, со свастикой. Среди них — рассказывают — один разговаривал по-русски. Сказал, завтра приедут новую власть назначать.

— Кому сказал?

— Будто Хаджимосу. И Касей показывался на улице. Разнаряженный. В новых хромовых сапогах, в новой черкеске.

— Мы с Жечаго так и думали. Ну, подождите, сволочи! Не говорили, откуда взялся Касей?

— Из лесу. Там сидел. В землянке где-то. Рассказывает об этом как герой, перед фашистами выслуживается.

— Правду говорят: не все мужчины из тех, кто папаху носит. Вон каким гадом оказался наш красавчик Касей... Что же мне теперь делать?

— Садись поешь.

— Не хочу. До свиданья.

Вышел Хатам на улицу и остановился у ворот: вон беда какая, один остался среди врагов, если б знал, что так получится, пристал бы к какой-нибудь воинской части. Нашел бы, чем помочь фронту, к какому-нибудь делу да сгодился.

Мамырхан вышла из дома и кликнула Хатама:

— Иди-ка сюда. Голова у меня совсем ничего не изображает. Самого главного и не сказала. Жечаго велел тебе оставаться в ауле. Пусть, говорит, найдет себе дело, пусть прикинется простачком и живет, пока я его не позову. Больше ничего не сказал.

— Спасибо, Мамырхан. Все понятно. Получается так, что ярлыгу свою пока мне не время бросать.

Направился Хатам к себе на кошару, решил отлежаться там, обдумать все хорошенько, но как-то само собой случилось, — вышел на улицу, где жили Зурет и Фаина, где жил полюбившийся мальчишка — Владик. Как они там? Что будут делать, как жить станут — ведь в ауле враг!

Ставни окон дома Нарыновых были закрыты.

«Может быть, всю ночь не спали, пусть поспят, другим разом зайду. Поговорим, подумаем...»

Переулком пошел к речке. Засучил брюки, разулся. Бродом перебрался на ту сторону и пошел берегом, берегом, а потом поднялся на косогор, к опушке леса. Оттуда хорошо виден грейдер.

Проехали две подводы. В райцентр поехали. Зачем в такую раннюю пору, по каким делам в такое тревожное время?

Из-за поворота выскочила машина. Хатам сразу увидел — фашистская. Остановилась машина у колодца. Солдаты выпрыгнули из кузова, стали доставать журавлем воду.

Вот они какие, враги. В касках, в серо-зеленой одежде, с засученными рукавами. Не слышно было их разговора, только видно, как они размахивали руками, рассуждали и вроде бы о чем-то спорили.

Глянуть бы им в глаза. Спросить бы, что им на чужой земле нужно?..

Еще все будет: посмотрит он им в глаза, спросит, зачем пришли на советскую землю.

Вскинул Хатам ярлыгу на плечо и пошел в лес. Эх, если бы вместо ярлыги автомат, подумал он и решил — будет у него автомат.

Звякнуло у него в нагрудном кармане пиджака. Орден зазвенел, будто подал о себе сигнал. Надо спрятать орден подальше, чтобы фашисты не отняли. У Жечаго тоже есть орден. Боевой. Где председатель сейчас? Где Аскал?

Эх, пути-дороги, разбежались, разошлись.

Своя земля и не своя. У себя дома, а получается, — не хозяин ты ей. Выглядывай из лесу, прячься, остерегайся.

Да уж нет, пусть фашисты остерегаются. Жечаго не должен надолго пропасть, придет скоро и принесет новости, скажет, что и как надо делать Хатаму, как бороться с врагом.

За невеселыми мыслями не заметил Хатам, что спустился к речке. Вдруг перед ним, словно из-под земли, вырос Касей на коне.

Оторопел Хатам, налился горячим гневом и чуть было не кинулся с ярлыгой на мерзавца.

А Касей ухмылялся и заговорил с издевкой:

— Чего тут бродишь в такую рань? Или не спится?

— Вышел для здоровья подышать свежим воздухом. Непочатым воздухом, как говорят старики.

— Смотри, чабан, не пришлось бы тебе за это здоровье расплачиваться... Где был?!

— Я ведь не спрашиваю, где ты был все это время.

Побагровел Касей, натянул поводья так, что конь захрапел.

Хатам взял тяжелую кизилую ярлыгу наперевес. Глянул исподлобья: мол, попробуй — ты вверху, значит, тебе падать, а не мне.

Вздыбился конь, загремел удилами.

— Не ищи, Касей, дурнее себя, — сказал Хатам, — думаешь, один ты хитрый? Я тоже не носом воду пью... Немцев ходил встречать. Посмотрим, кто лучше сможет прожить в это трудное время.

Теперь уж оторопел Касей, не знал, не то улыбаться, не то хмуриться.

Не появлялись фашисты в Дагунохабле, а их Хаджимос ждал. С нетерпением ждал, каждое утро высматривал. Еще бы! Не терпелось узнать, как отнесется к нему новая власть. Поверит ли, что он лютей враг большевиков, возысит ли его над аульчанами, даст ли силу ему в руки? Что ни говори, а с немцами не побеседуешь запросто, не сразу узнаешь, какие у них планы да замыслы. Одолевали Хаджимоса тревожные думы. Под лежащий камень вода не течет, будешь сидеть в кустах — тебя никто не увидит.

Сегодня долго сидел перед зеркалом Хаджимос — побрился, а потом подстригал, тщательно закручивал усы.

Гремя ключами, открыл сундук и со дна достал дедовскую палку, богато украшенную перламутром и серебром, лучшие свои сапоги со скрипом, черкеску и главные мужские украшения — белую папаху и серебряный пояс с кинжалом в серебряных ножнах.

Вырядился Хаджимос, прошелся перед зеркалом и вышел во двор.

— Пройдись, пройди по аулу, старик, — восхищенно глядя на мужа, сказала Лифаф, — пусть все увидят наконец настоящего Кагазежева, а то уж совсем нас захаяли.

Откашлялся солидно Хаджимос, громыхнул запором и вышел на улицу. Права старуха, эти голодранцы забыли былую славу и силу рода Кагазежевых. Сына и отца загнали в лес и обрадовались, думали, с корнем уничтожили род. Нет уж, смотрите, вот он я. У кого в ауле есть такой кинжал и такая великолепная папаху? А черкеска? Она сшита еще из дореволюционного сукна. Правда, годики подкачали, не та теперь стать у Хаджимоса, не такая легкая, как бывало раньше, походка. Да и усы побелели и голова. Но ничего, у Касея молодость, у Касея стать и сила, а у старика мудрость. Руками Касея и умом Хаджимоса снова возвысится старинный род Кагазежевых. Видел старик вчера, как выезжал на Гнедом Касей, вот так же, празднично наряженный, видел и чуть не прослезился от радости. Э!

Но почему нет никого сегодня на улице, почему никто не попадаете ему навстречу? А-а, попрятались в норах, как мыши, испугались новой власти?! Ничего, долго не просидите, задохнетесь. Все равно придется вам жить по-новому. Вернее, по старинным обычаям предков. Научитесь уважать богатство, научитесь смирению и робости, а то пообнаглели, никакого сладу нет с голодранцами. Откроем мечеть, разделим колхозную землю между крестьянами, руки нам с Касеем целовать будете. Перед Аллахом, рассуждал Хаджимос, все люди равны, но между собою они не могут быть равными. Это Советская власть выдумала такое — государством управлять должны все. Всем принадлежит все. Глупость это. Государством должны управлять избранные, люди благородных кровей.

Около магазина, в тени под деревом, сидели на лавочке два старика. Обрадовался им Хаджимос, смягчилось его сердце: не надо на людей сердиться, что прячутся они сейчас по домам, боятся выходить. Ничего не поделаешь, так устроена жизнь: чем дальше ты живешь от суеты, тем спокойнее. Не ходи гулять в бурю — посиди в своем уголке, пережди непогоду, и благословен будешь.

— Рад вас видеть в добром здравии,— поздоровался Хаджимос со стариками.— Хорошо, что вы остались в ауле, а то ведь некоторые безумцы побросали свои очаги и удрали в лес, в горы.

Проговорил он эти слова не без горечи, а потом, пренебрегая старинным обычаем не садиться в присутствии старших по возрасту, сел рядом на лавочке.

— Зря ты нам эти слова говоришь, Кагазежев. Скажи их сначала себе. Мы раньше тебя вышли на улицу, а ты все сидишь, закрывшись, в своем доме. Напугали тебя, наверно, пришельцы.

Усмехнулся Хаджимос, в глазах его блеснула искорка недовольства и яда:

— Не тебе бы говорить обо мне такие слова, Татух. Когда ты запрягся в ярмо и пахал колхозную землю, единственный, кто не покорился безбожникам, большевикам — это я... Или неправда пролилась из уст моих, старики? Молчите — значит, правда... Не хмурьтесь, это я просто так сказал. Ради шутки.

— Плохая это шутка, Хаджимос. Горькая она. Но что мы, маленькие люди, могли сделать против большевистской громады? Только умереть в Сибири? — оправдывался Татух.

— А я? — не без гордости спросил Хаджимос.

— Ты... Мы разве тебе ровня? — сказал другой старик.— У тебя кость покрепче и норы покруче.

— Спасибо,— без особого нажима поблагодарил Хаджимос. Помолчал, а потом спросил: — Что же будем делать, старики, как жить? С чего начнем новую жизнь?

Татух почесал затылок:

— Думаю, пока тепло, пока есть время до осеннего сева, надо бы возратить нам наши земли, которые отобрал колхоз. Да вот не знаю, как отнесутся к этому новые власти.

— Думаю... Хорошо отнесутся. Но сначала надо все хорошенько разузнать. Есть у нас кому заниматься этими делами. Есть молодые, грамотные ребята, — намекая на Касея, сказал Кагазежев.— А у нас с вами есть наши стариковские дела. Вот этими делами и займемся, чтобы не сидеть сложа руки.

Хотел он прямо сказать, что надо открыть мечеть, но воздержался. Вот соберется аульская сходка, тогда и скажет перед всем миром, и потом уж, сколько бы ни прошло времени, а в ауле все будут говорить: это было, когда Кагазежев предложил открыть мечеть. Или и того лучше: это было в год, когда Кагазежев открыл мечеть.

## 2

В глухом горном лесу обосновался в землянках Жечаго со своими товарищами. Пятнадцать человек, сам шестнадцатый.

Подпольный райком партии этому маленькому отряду, вооруженному винтовками и гранатами, приказал вести разведку. Ни в коем случае себя не обнаруживать, в стычки с врагом не вступать — только наблюдать за передвижением войск, за расположением частей и баз снабжения. Связь с большим партизанским отрядом поддерживал один Жечаго, только он и знал месторасположение отряда.

Месяца два назад Жечаго вызвали в райком партии и послали вместе с работником леспромхоза Семеном Коротенко в горы, чтобы там они выбрали глухое место укрыть человек пятнадцать. Теперь оказалось, что Жечаго выбирал для себя.

Небольшое ущелье упиралось в высокую скалистую гору. Скала — справа, и скала — слева. Вела сюда едва приметная тропа, по которой могли пройти только навьюченные лошади да пешеходы. Была и еще одна, потайная тропка на тот случай, если отряд обнаружат.

Август был на исходе. Погода стояла отличная, но в любой день, в любой час могли хлынуть проливные осенние дожди. Здесь, в горах, они начинались раньше, чем на равнине. Пришлось поспешить с землянками. Двое суток работали почти без отдыха, а потом часов десять, спали беспробудно.

Три дня назад в аул послали Аскала, чтобы он тайком разузнал о делах в Дагунохабле. Жечаго считал, что Аскалу хватит для этого двух дней. Сегодня на исходе четвертый, а Аскала все нет. Тревожился Жечаго. На всякий случай выставил километра в четырех дозорного — мало ли что могло случиться с Аскалом. Парень-то он надежный, но... война есть война.

Семен Коротенко готовил на треноге обед — варил суп. В просторном дупле старого дуба стоял радиоприемник. Все ждали передачи последних известий, сводки Совинформбюро.

Жечаго лежал на брезенте, разостланном у входа в землянку, и все прислушивался, не раздастся ли топот лошадей, не появится ли Аскал с дозорным на поляне.

Семен с засученными рукавами, в клеенчатом переднике, с черпаком в руках подошел и сел на брезент рядом с Жечаго:

— Не тужи, командир, просто парень заплутал, вот и все. Всего лишь один раз он приезжал сюда, мог и с пути сбиться.

— Если бы так,— вздохнул Жечаго.

— Так и будет. Аскал парень бойкий и не дурак — не попадетсЯ... Э, да ты послушай... щегол поет. Видишь, какое у меня слово легкое.

Вскоре в кустах послышался треск.

На поляну верхом выехал Аскал с теленком на руках, а следом — дозорный гнал корову.

Вздохнул облегченно Жечаго, в усах спрятал улыбку. Поднялся навстречу Аскалу:

— Вы полюбуйтесь на этого бойца партизанского отряда! Его посылали с боевым заданием, а он, видите ли, занялся скотоводством. Что это за самоуправство?!

— Никакое не скотоводство,— бормотал виновато Аскал,— я уже выехал из аула, как меня перехватила на лугу Кутас. Говорит, корова чья-то приبلудилась, мне, говорит, она ни к чему, а вам в дело.

— Кому это вам? Неужели ты ей проболтался? — насторожившись, спросил строго Жечаго.

— Нет, не проболтался. Я тоже у нее спросил: кому это вам? Сказал, что уезжаю на восток. А она ответила: я и говорю про восток. Нашим на востоке пригодится, сказала. Вот я и мучился с теленком...

— Молодец. Кутас молодец. Докладывай о выполнении задания.

Аскал стал по стойке «смирно» перед Жечаго и доложил:

— За день перед моим приездом, как мне докладывал Хатам, фашисты приезжали второй раз. С полицаями приезжали. Полицаи из райцентра, наши...

— Хороши наши,— захохотал Коротенко.

Аскал смутился, а потом нашелся и поправился:

— Сволочи из наших. Изменники... Старостой Дагунохабля немцы назначили Хаджимоса, а старшим полицаем Касея. Татух теперь эфенди. Ходит по дворам, уговаривает аульчан ремонтировать старую мечеть. Мало кто соглашается, больше отмалчиваются.

— Так. Ясно. Спасибо, Аскал, за выполнение первого боевого задания. И за корову с теленком спасибо, но чтоб это было первый и последний раз. Понимаю тебя, но что было бы, если бы нам приказали вчера выступить? Кого бы здесь нашел? Короче говоря, задание надо выполнять точно и в срок. Ты свое задание выполнил точно, хорошо, а со сроком тебя подвела корова.

— Теленок. Махонький, намучился я с ним. Он ведь по дороге родился. Я роды принимал...

— Вот это да! — сказал Семен. — Теперь у нас есть своя повивальная бабка. — И захохотал, вслед за ним все рассмеялись.

— Да, ситуация. Но впредь смотри у меня. Так и до трибунала недалеко. Война не любит шуток... А что с пшеницей, с кукурузой? Кто убирает, куда девают зерно? — продолжал расспрашивать Жечаго.

— Плохо убирают. Почти никто не ходит. Зерно сыпают в колхозные амбары. Командует Хаджимос.

— Та-а-ак. Дорвались Кагазежевы до власти. У, сколько ждал этого дня Хаджимос, но ничего, недолго ему радоваться. Я виноват, я упустил тогда Касея. Теперь бы уж он получил свои девять граммов свинца.

Теленок пристроился и сосал разбухшее вымя. Сосал жадно, молоко катилось по его губам, падало на зеленую траву. Смотрели на пегого теленка партизаны и улыбались.

— Эй, люди, а кто же будет доить корову? — обеспокоенно спросил Аскал. — Я ведь не умею.

— Не волнуйся, — сказал Семен, — с этим делом я управлюсь.

### 3

Хаджимос отказался от своего Серого, которого запрягал в скрипучую телегу лесхоза. Из оставшихся в колхозе лошадей он выбрал Вороного, племенного скакуна. От линейки, на которой ездил Жечаго, тоже отказался:

— Я еще не так стар, чтобы ездить в телегах. Скакун пока мне в самый раз.

Конечно, если всадник да еще с доброй плетью в руках, то к нему и уважения больше. Да всадник-то и на людей смотрит сверху, ему они лучше видны.

Сел Хаджимос на скакуна и помолодел. Плечи распрямились, усы напористее стали.

Чуть свет — Хаджимос уже на коне, красовался на улицах Дагунохабля, важно здоровался со встречными.

Приезжал в управу и садился за письменный стол, все ждал посетителей. Никто не являлся к Хаджимосу. А тут еще с уборкой вышла закавыка. Немцы приказали закончить уборку пшеницы, убрать кукурузу, а в поле никто не хочет выходить. Хаджимос уговорил было одного старика, чтобы тот собрал стариков, женщин и детей на работу, но ничего из этого не получилось.

Вскоре в Дагунохабль приехал бургомистр и майор с пятью мотоциклистами. Приказал Хаджимосу собрать сходку.

Майор, поднявшись на высокое крыльцо, сказал аульчанам, что хлеб, ими же посеянный, грешно оставлять на зиму в поле. Если они настоящие крестьяне, а он в этом не сомневается, то завтра же все выйдут в поле и уберут урожай до последнего зерна. Не только взрослые, но и дети должны пойти на уборку. А если... некоторые не поймут его, майора, не захотят работать, то с ними придется поступить по суровым законам военного времени.

В управе майор сказал Хаджимосу:

— Ты есть старый индюк. Красифо одевайтесь умеешь, работать руками и мозгами не умеешь.

Потом он перешел на немецкий язык и через переводчика сказал Хаджимосу, что если тот не наведет порядок у себя в ауле, то и к нему, как к саботажнику, будет применен закон военного времени. Энергичней, энергичней надо работать, сказал майор и показал кулаками, как именно...

Касей дома сказал отцу:

— Я ведь в школе учил немецкий, немного понимаю. Майор назвал тебя грязной свиньей, только переводчик этого не перевел.

— Ты сам свинья! — вскипел Хаджимос. — Майор человек культурный, велел не переводить, а ты рад оскорбить отца! Да что ты понимаешь в немецком языке?

Думал Хаджимос, будет главой общины, станут уважать его люди. А если уж не уважать, то хотя бы бояться. А вышло другое. С утра до вечера он ругается, как самый последний пес, с бабами, со стариками, даже детишкам

дает подзатыльники, выгоняя на работу. Выгонит кое-как в поле, и там от них все равно нет толку. Целыми днями, в адскую жару могут стоять сложа руки. Или сделают так, что надо все переделывать снова.

Не боятся Хаджимоса, презирают его. Не таясь, люди осуждали и проклинали Хаджимоса.

— Я свой век, считай, прожила, каких только людей не видела,— говорила Гуца старушке-соседке,— но такого жестокого и бессовестного человека, как Хаджимос, отроду не бывало. Сорок лет его знаю, а доброго слова ни разу не слышала. А что сейчас, сейчас с ним творится! Зверь зверем. Рассказывают, недавно так порол, так порол подростка Хабрауковых плетью, что тот, бедный, едва домой добрался. А на работу все равно парень не ходит.

Старуха горестно вздыхала:

— Тебя еще на свете не было, когда я уже знала Кагазежевых. Весь их род такой, корень, похоже, гнилой да зловредный. Будь их воля — они траву и ту вытоптали бы, только бы им самим богатеть да людьми попирать. Теперь вот снова. Ладно, тогда молодым был, горячим, неразумным, но сейчас ведь дураку пора помирать. Неужели думает, что немцы вечно будут на нашей земле? Дурак, дурак и есть. А придут наши сыновья да мужья? Что с этими Кагазежевными будет?

— Не думает он над этим,— ответила ей Гуца,— чует свой близкий конец и заливается злобой.— Ему, конечно, близкий конец, а Касей? О сыне-то почему не думает... Всадник показался. Никак, Хаджимос? Он и есть. Ой, я спрячусь в дом.

Подлетел к двору Данашевых Хаджимос, резко остановил взмыленного коня, ждал, что подойдет к калитке Гуца, ведь слышала топот коня, но, ей хоть бы что! Напевно звала кур, сыпала им зерно.

— Эй, Гуца! Или не слышишь? — позвал Хаджимос.

Оглянулась:

— Это ты, Хаджимос? Не узнала, говорят, богатым будешь. Заходи в дом. Как поживаете, как там Лифаф? Как-то, видела ее издали.

Распахнула калитку Гуца, добром встречает Кагазежева. Ему тоже надо ей как-то ответить помягче, хотя рассерженным подъехал к калитке.

— Спасибо. Живем ничего. Здоровы, не жалуемся. А как твоё здоровье?

— Болею я, Хаджимос,— старость не радость. То ноги крутило на погоду, то руки судорогой по ночам сводило, но как выздоровлю, буду ходить исправно, не заставлю такого пожилого человека дважды приезжать и говорить одно и то же.

«Посмотри на эту дуру,— подумал Хаджимос,— что с нею произошло? Как шелковая стала»,— улыбнулся снисходительно:

— Я так и знал, с тобою мороки не будет. Значит, завтра на кукурузу,— дал коню шпоры и ускакал.

Гуца смотрела ему вслед и тихонько приговаривала:

— Дождешься, дождешься меня в поле. Голова раньше твоя совсем облысеет, чем я выйду.

А Хаджимос тем временем приближался к своему дому.

Двери открыты, значит, Касей дома, подумал он, старуха всегда сидит запершись.

Поставил коня в конюшню, вошел в сени и только приоткрыл двери в дом — в носшибануло самогонным перегаром.

«Опять пришел пьяным, поганец»,— вскипел Хаджимос.

Давно он заметил, что Касей пристрастился к водке. Утром уезжал к бургомистру, напивался с ним и возвращался домой... Нет, Гнедой возвращался домой и привозил в седле бесчувственного Касея. А бывало и так, что помощник бургомистра привозил его на линейке, можно сказать, без признаков жизни.

Сперва Хаджимосу это нравилось: как-никак сын водил дружбу с первым лицом района, с самим господином бургомистром. Но однажды Хаджимос был по делам в райцентре и случайно узнал, что Касей третий день пил у каких-то незнакомых людей, а вовсе не у бургомистра. Что ж, он и раньше попивал, значит, раньше и надо было

отцу смотреть за сыном, раньше обрубить этот поганый сук, а теперь чего уж!

И почему он пьет, что творится в сердце и голове его сына?

Говорят, водка загубила. Чепуха. Водка не причина, водкой кончается беда. Водка конец, а не начало. Просмотрел Хаджимос начало беды в сыне, проморгал. Но самое страшное — и сейчас Хаджимос не знает, почему сын стал пьяницей.

Вошел Хаджимос в дом.

Касей лежал на кровати. У изголовья стоял тазик с водой, похоже, Лифаф мыла голову, прикладывала холодные компрессы к сердцу.

— Мерзавец! — прогремел Хаджимос и ринулся к сыну. Лифаф преградила ему путь. Он с силой отбросил жену и начал хлестать сына плетью. Тот только мычал и, казалось, ничего не чувствовал, а потом вскочил, выхватил из кобуры пистолет, но узнал отца, взвыл от боли и бросился на кровать. Зажал руками голову, тихонько застонал.

Хаджимос отобрал у Касея пистолет.

— Собаками рожденный, пороть тебя надо!

Лифаф сидела у стола и плакала.

— Чего ты реवेशь, дура?!

— Зачем его так сильно бить?..

— Замолчи. Подумаешь, огрел пару раз, надо прочистить мозги господину полицаю. Не реви, сказал. Теперь поздно жалеть его. Где он пил? Не говорил тебе? С кем?

— Не знаю. Привезли на линейке, внесли в дом.

— Загубят, загубят проклятые пьяницы новую власть.

— Помолчи, старик, помолчи, не то беда придет в наш дом.

#### 4

Перестоял, высох подсолнух, тяжелые семечки сыпались на землю, чуть ветерок подует. Перестоял подсолнух, а убирать некому. И куда только люди деваются? Лишь заалеет заря, в ауле уже ни души. Ездит Хаджимос, хлопает дверьми в домах, да толку от этого никакого.

Ходят в поле только Зурет, Фаина и несколько девушек. Они так рассудили — Фаина жена коммуниста, у Зурет брат был летчиком, у других девушек братья тоже дрались с фашистами, значит, надо как-то отвлекать от себя внимание, делать вид, что они усердно работают. Кроме этого, — они знали, вернее, догадывались, — где-то поблизости партизаны, может, будут искать встречи. Да и работать они приспособились хитро. Скажем, подсолнух так убирают, что семечки все больше на землю летят...

Кончилось лето. По вечерам и по утрам уже слышно дыхание осени. Все чаще стала являться Ошхамахо, ярче и четче вырисовывались ее вершины на небе, теряющем летнюю яркость. Гряда гор, уходившая от Ошхамахо на юго-восток, казалась Зурет выше, чем раньше, и неприступнее. Теперь эта гряда стала крепостью на пути фашистов.

Начался перелет птиц. Девушки часто смотрели им вслед, и сердца их сжимались от тоски и зависти.

— А в общем, правильно, — сказала как-то Фаина, — нечего им здесь делать, пусть улетают, а весной прилетят вместе с нашими летчиками, вернуться с победой. Не верите?

— Верю, но...

— Безо всяких но. Так будет.

Осмотрелась Зурет — не видно Хаджимоса.

— Отдохнем, девочки, а потом потрясем хорошенько подсолнухи и пойдем домой.

Прилегла на сухую землю Зурет, закинула голову, закрыла глаза. Где теперь Аскер, как он там, вспоминает ли ее?

Не успела помечтать — явился Хаджимос. Пришлось трясти подсолнухи до заката солнца. Когда выходили на дорогу, Хаджимос окликнул их:

— Завтра выходите пораньше. Приедут нас проверять. Будет сам господин майор. Не подведите.

Девушки молча закивали.

Жалко, что Кутас с ними не была, она бы ответила.

Кутас тоже выходила в поле, а теперь перестала. Почему? Может быть, ей разрешил Хаджимос? Все-таки родственница.

Подождали Зурет с Фаиной несколько дней, а сегодня решили зайти к ней и все узнать.

Кутас встретила их с радостью.

— Спасибо, что не забыли свою бедную подругу. Проходите, садитесь. Вы даже не знаете, как я вам рада. Садитесь. Сестра у меня в гостях.

Лифаф сидела в нарядной шали, в новых ботинках. Зурет и Фаина тоже сели.

— Хорошо сделали, что пришли,— подала голос Лифаф.— Кутас тяжело заболела, потому и не ходит больше с вами в поле.

— Эй, сестрица, ты что выдумала? Какая я больная? Ты еще наговоришь, я и в самом деле захвораю.

— Помолчи уж! — прикрикнула старшая сестра.— Ох, тоскливо одной лежать в постели, когда тебе неможется. По себе знаю. Белый свет не мил, а зайдет кто-нибудь — и на сердце посветлеет, болезнь отступает... Совсем наша Кутас извелась. Сердце у нее заболело. Жаба грудная.

— Перестань, Лифаф! — рассердилась на сестру Кутас.— Чего ты заладила — больна, больна. Совсем я не больна, вымыла голову — вот и прилегла.

Фаина и Зурет улыбнулись.

— Аллах меня наказал такой сумасшедшей сестрой,— возмутилась Лифаф,— я к ней со всею душой, а она позорит меня перед людьми, бесстыдница. Раз так — пойду я домой, только ты хорошенько подумай, о чем я тебе говорила. Понятно?

— Понятно, сестрица, понятно, но, наверно, ничего из этого дела не выйдет. Так и передай моему зятю.

— Замолчи, дура! Не смей так со мною разговаривать! И попомни: тебе это так просто не пройдет. Одумайся. Время вон какое страшное, а ты все брыкаешься.

— До свиданья, до свиданья, сестра,— вконец рассердившись, встала Кутас и, легонько подталкивая к двери, выпроводила Лифаф.

— Третий день меня Хаджимос донимает,— заговорила Кутас с подругами,— уговаривает сесть на трактор. Просит, чтобы я и Фаину уговорила. Пришло время сева озимых, а на лошаденках, которые остались в колхозе, много

не вспашешь, не посеешь. Я ему сказала, что на трактор не пойду и Фаину уговаривать не буду. Сказалась больной. Грудная жаба у меня.

Рассмеялась Кутас. Засмеялась и Зурет.

Фаина закусила губу и молчала.

— Что с тобой, подружка? Ты испугалась моего зятя? Да я ему глаза повыцарапаю.

— Ему, возможно, и выцарапаешь. А немцам? Хаджимос только прихвостень. Ты играешь с огнем, Кутас.

— Э! Уж не прикажешь ли садиться мне на трактор?

— Не прикажу. Но и так нельзя, как ты. Немцы вздернут тебя за саботаж.

— Да.— Кутас испугалась не на шутку.— Что же делать?

— Ты была у тракторов? — спросила Фаина.

— Нет. Они заперты в мастерских. Если б я туда попала, повыбросила бы карбюраторы, еще кое-что...

— А я не выбросила. Я спрятала все.

— Как спрятала? — не веря Фаине, спросила Кутас.

— А так и спрятала, карбюраторы, магнето снимали мы с Марией и спрятали. Они нам будущей весной пригодятся. Ведь наши весной вернутся,— сказала Фаина.

— Обязательно вернутся. Когда же вы успели и почему молчали? — спрашивала изумленная Кутас.

— В тот день, когда немцы только показались на грейдере. Жечаго нас надоумил. А молчали... война.

— Милая ты моя... Аллах, мой Аллах, как хорошо все получилось,— снова повеселела Кутас.— Теперь я пойду к Хаджимосу, скажу, что согласна на трактор сесть.

— Только будь осторожна, Кутас. Садись, все хорошенько обсудим. Тот, кто принимает своего врага за глупца, тот сам глупец,— сказала Фаина.

## 5

Шел и шел бесконечный дождь. Холодный, резкий, он барабанил в стекла домов, немилосердно сек лица, гонимый бешеным северным ветром. Тучи метались над лесом, скрыв горы, обложив со всех четырех сторон небо.

Свистел ветер в оголенных, гнувшихся чуть не до самой земли деревьях, выл в печных трубах, выдувал тепло.

На крыше сельской управы ветер загнул лист железа, и тот угрожающе гремел, грохотал, будто гром.

Болела у Касея голова, а тут еще этот проклятый лист железа. Ух, лодыри, железо прибить не могут, все лодыри. И как не развалился, на ком держался колхоз при таких работничках. Впрочем... тогда все по-другому было. К черту их всех, надоели! Не об этом сейчас надо думать.

Вчера Касей встретился с Зурет. Давно с нею не виделся, с тех самых пор, как призвали в армию. Не знал, как она отнесется к его новой должности, к тому, что он дезертировал. Ничего, поздоровалась, ответила на приветствие. Славная, ах, какая она славная девушка, а он, Касей,— пентюх. Смотрел на нее, разинув рот, не мог ничего путного ей сказать.

Встал Касей из-за письменного стола, прошелся. Постою у окна. Ветер трепал куст высохшего бурьяна под окном. Был этот куст схож с птицей, которая отчаянно била крыльями и никак не могла взлететь. Стонали стекла под напором ветра и хлесткого дождя.

Худо Касею.

Отец сам просил тетку Кутас сесть на трактор, просил, чтобы она уговорила и остальных женщин. А когда услышал, что даже Зурет согласилась работать, сказал: «Это лучшая девушка нашего аула».

Касей всегда так думал о Зурет, а теперь — тем более.

Раньше-то отец проклинал трактористок. Почему же теперь не считает это дело позорным для женщины? Работать, правда, женщинам так и не удалось — пропали куда-то какие-то части.

Нехорошо Касею, совсем худо.

Подошел он к шкафу, достал бутылку немецкого шнапса и выпил стакан. Теперь это для него стало нормой. И от закуски почти совсем отучился. Понюхал кусочек хлеба и опять отошел к окну. Все-таки почему никто не идет в управу? Дождь? Но раньше-то как раз и собиралось в сельсовете много мужчин в дождливую погоду — в поле-то делать нечего. Не любят аульчане управу. Приходят только

по делу, да и то как-то торопливо, поговорят — и сразу же ходу. Трое полицейских и те являются, только когда их вызовешь. Да и на фронте стало что-то странное происходить. Немцы все говорят о победах, а ни с места. Не могут пройти через перевалы, не могут взять Сталинград. Касей точно знает — есть в ауле один радиоприемник, утаили его от немецких властей, по вечерам к нему собирается много народу. И что интересно, никто ему об этом не доносит. А сам он почему не отберет приемник, почему не сообщит немцам? Даже отцу не говорит. Почему? И без того хватает Касею лиха, такие узлы завязаны, не развяжешь. Затягивается петля... Не убежал бы Касей из армии, мог бы домой вернуться с орденами, с почетом. Но могли его там и ухлопать. Что ж,— смерть боли не причиняет, она избавляет как от славы, так и от позора. Лежал бы Касей где-нибудь в Белоруссии и не страшился бы советского трибунала. Топчутся немцы под Сталинградом, застряли на перевалах, не слышно их разговоров о Москве.

Хорошо было вчера Касею. Очень худо сегодня.

О конце войны, о советском трибунале Касей старается не думать, только когда напивается, сверлят ему голову эти мысли. Не надо бы ему пить, эх, не надо!

Он подошел к шкафу. Поколебался немного. Вспомнил о рубцах на спине от отцовской плети. Наплевать. Запутал отец Касея, и сам, видно, запутался. Теперь ничего не вернешь.

Выпил еще Касей и решил пойти прогуляться по аулу. Пусть проветрит его мозги шальной ветер, промоет холодный дождь.

В коридоре столкнулся с полицейским. Увидел тот Касея и вытянулся в струнку.

— Не тянись так, а то лопнешь. Что там с твоим пистолетом? Был на мельнице?

— Был. Мальчишки украли, больше некому.

— Допрашивал мальчишек?

— Да. Молчат.

— Приведи их, я сам допрошу.

Мальчишкам лет по двенадцать. Вошли они и встали у дверей как вкопанные. Исподлобья смотрели на Касея.

«Плохо мое дело,— подумал он,— ничего они мне не скажут. Может, и я не сказал бы...»

— Здравствуйте, джигиты! — громко и по возможности приветливее поздоровался он с мальчишками.

Они пробормотали что-то невнятное.

Касей стал им терпеливо объяснять, что война — дело взрослых, а не детей. Пистолет, который они взяли,— очень опасная штука. И не только для них, но и для всех аульчан. Ведь ребята не знают, как с ним обращаться, могут натворить беды. Если они настоящие мужчины, то поняли его и поступят по-мужски: пусть принесут пистолет в управу и бросят под крыльцо или во двор Кагазежевых — как им удобно. И уж если они действительно мужественные пусть принесут и отдадут прямо в руки ему или деду Хаджимосу. По своему усмотрению.

— Принесете? — спросил Касей.

— Нет,— ответил самый маленький ростом, но, похоже, заводила среди всех троих.

— Как? Почему?! — разъярился Касей. Все его уговоры пропали впустую.— Я прикажу вас запороть плетками! Я вас!..

— Мы не брали,— снова ответил за всех маленький.

— Вон! Вышвырни их на дождь! — крикнул Касей полицейскому.— И сам убирайся!

Теперь уж без раздумий хватанул еще стопку шнапса и решил ехать домой.

То ли ветер был такой сильный, то ли дождь мешал, то ли водка, но он долго не мог попасть левою ногою в стремя, а попав, еле-еле поднялся в седло.

Лифаф еще издали поняла, что Касей опять пьяный. Встретила его у калитки, помогла сойти, а точнее, стащила его с Гнедого.

— Мальчик мой, ты опять на ногах не стоишь,— запричитала Лифаф.

— Не пьян я, вовсе не пьян. Чутьочку выпил, и все.

— Бесстыдник. Еще и глупости говоришь. Не знаю, как тебя конь не потерял дорогой,— она в спину подталкивала к дому.— Убьет тебя отец, убьет до смерти.

— А он дома? Да пусть хотя бы и дома, не боюсь его. Не ребенок же я. Мужчина. Понимаете вы хотя бы это? А?.. Только бы бил и бил, а что душа у меня горит — ему до этого никакого дела нет. Какой же он отец?

— Замолчи! Что ты мелешь!

— Не мелю. Правду говорю. Да и ты, нан, разве знаешь, как горит у меня душа, как болит сердце?

— Обидел тебя кто-нибудь, сынок? Скажи мне, и я его!..

— Сам я себя обидел, нан. Но тебе этого не понять,— сказал Касей и заплакал пьяными слезами.

Усадила сына за стол Лифаф, засуетилась у печи. Понимала мать, что давно пора Касею жениться, видела, как он поглядывал на Зурет, слышала, как он во сне несколько раз произносил ее имя. Ах, скверная девчонка, чего она парню голову крутит. Аскал пробовал тогда с нею вести дело, Кутас принималась — ничего у них не вышло. Похоже, надо матери самой браться за дело, а то еще, чего доброго, пропадет сын.

— Ладно, не убивайся, сынок. Не одного тебя водит за нос эта скверная девчонка. И чем гордится-то, чем? Ведь красота Аллахом дается, и ты здесь ни при чем, глупая. Нарыновы все такие — красивые гордецы.

— О чем ты, нан? — положил ложку.— При чем тут Нарыновы?..

— Так что же, сынок?

— Как тебе растолковать, какие слова сказать, чтобы ты поняла мою душу... Не знаю.

— Ты скажи, мать все поймет. Если не умом, то сердцем. Скажи.

— Пойми, нан, страшно мне с людьми встречаться. Вижу, была бы их воля — тут же меня бы прикончили. Даже мальчишки сейчас в управе именно так на меня смотрели.

Лифаф молитвенно сложила руки на груди и просила у Аллаха милости для своего сына.

Когда утром Касей уходил на службу, Хаджимос сказал ему:

— Ты будешь сегодня в управе? Зайду к тебе.

— До обеда буду, потом уеду в район. Какое у тебя ко мне дело? Сейчас нельзя сказать?

— Нет. Приду в управу.

— Как хочешь, — удивленно сказал Касей, постоял немного в нерешительности и ушел.

Хаджимос перед зеркалом подстригал усы. За последнюю неделю он весь как-то сгорбился, лицо побледнело, заострилось. Ничего не поделаешь, носит, как собака, такая беспокойная служба. И конечно же, годы у него не те. Каждое серьезное дело, каждая стычка с аульчанами оставляет морщины, прибавляет седины.

Лифаф возилась у печи:

— Старик, ты уже два дня не разговариваешь со мною. Может быть, я тебя обидела чем?

— Это тебе показалось, старуха. Никакой обиды у меня на тебя нет. Устаю немного. Не сердись. Я пошел. Если меня будут спрашивать, скажи, пусть ищут на полях.

«Что за тайна опять у Хаджимоса?» — все думала и думала Лифаф.

Над этим же вопросом ломал себе голову в управе Касей. Вчера отец был в районе у бургомистра. Возможно, там ему сообщили какую-нибудь новость? Что за новость? Добрая или дурная?

Болела голова, дрожали руки и ноги у Касея. Надо бы опохмелиться, но он боялся — скоро придет отец.

Постучал кто-то в дверь. Даже не постучал, а как-то осторожно царапнул.

— Войди, кто там?

Приоткрылась дверь. В образовавшуюся щель просунулась голова эфенди Татуха с жиденькой бороденкой.

«Наверно, опять насчет железа, — досадливо подумал Касей, — где взять этого самого железа, чтобы покрыть мечеть?»

— Входи, Татух, входи, — встал навстречу эфенди Касей, — кажется, тебя что-то беспокоит? Как идут дела?

— Аллах над нами, вы всегда с нами, чего нам беспокоиться? — садясь к столу, сказал Татух. — Вот только железа нет, чтобы покрыть мечеть. Найдем с вашей помощью — и все будет в порядке.

— Мы все дети Аллаха, — в тон эфенди ответил Касей, — все наши заботы о мечети его, но где взять железо — просто ума не приложу.

— Ты же говорил, вроде бургомистр обещал помочь. В районе есть, наверно, железо...

— В Крыму и шелк есть, да у нас его нет... Послушай, Татух, а если покрыть мечеть соломой или камышом? У меня на примете есть очень хороший камыш. И мастера я знаю хорошего. Покроет — одно загляденье будет. А когда найдем железо, тогда можно и перекрыть. Временно накроем камышом.

— Сын мой, разве можно мечеть Аллаха крыть камышом? Свои дома кроем железом, а мечеть Аллаха...

Татух сложил руки на груди, поднял глаза, смотрел на потолок, словно ждал грома.

— Нельзя, сын мой, крыть камышом мечеть, вечный дом наш. Если ты хочешь послушать, я скажу тебе, где можно взять железо.

— Скажи.

— Снять со школы, там почти новое железо.

Перестал Касей барабанить пальцами по столу. Встал, подошел к окну. Дремал аул, раскисал в осенней слякоти.

Вспомнил Касей, как лихо работал на турнике, как собиралась почти вся школа, чтобы посмотреть, как он «крутит солнце». Касей видел Зурет, ребят и учителей, и ему казалось, что он летит на каком-то невиданном самолете, летит над землей и улыбается людям...

Так ясно все это Касей увидел, что совсем позабыл об эфенди, о мечети...

Покашлял Татух сухоньким, трескучим кашлем, напомнил о себе, вернул Касея на землю.

Рвал ветер под окном куст сухого бурьяна. И опять Касею почудилось, что куст тот — птица, которая не могла

взлететь, хотя изо всех сил била крылами. Отчаянно била, будто обезумела.

— Ты думаешь, эфенди, школа нам уже не нужна? — спросил Касей, по-прежнему глядя в окно.

— А зачем она? Если кто хочет учиться, пусть учатся Корану, а то, я смотрю, адыги стали совсем забывать Аллаха.

— Насчет Аллаха ты, наверно, прав, но Коран можно изучать и в школе,— сказал Касей, поворачиваясь лицом к Татуху.

— Что ты! Если раскрыть Коран в доме, в котором хулили бога, то произойдет страшная беда. Это будет самый большой грех нашего аула. Лучше еще раз обратиться к господину майору. Немцы, хоть они и не мусульмане, все же верят в бога. Майор должен нам помочь.

Помолчал Касей, подумал, затем сказал:

— Хорошо, я попробую.

Эфенди поспешно ушел.

Касей все стоял у окна. Что-то долго нет отца. Чем он занят? Опять с кем-нибудь ругается, а может быть, орудует плетью?

Злится Хаджимос на Лифаф, на Касея, на Кутас. На всех злится. Выходит, и ему не сладко. Похудел, осунулся, глаза потускнели и, кажется, опустели. Никогда Касей не видел своего отца таким. Никогда не думал, что он может быть столь злым и жестоким. В первые дни он был веселым, даже счастливым, а теперь вот...

С шумом широко распахнулась дверь. Вошел Хаджимос. Сбросил брезентовый плащ на диванчик. Большими шагами прошелся по комнате мимо Касея.

— Вот по какому делу пришел я к тебе... Не нравится мне, как работает наша община. Очень не нравится. При большевиках люди работали намного лучше. Мы должны заставить наших сельчан работать как раньше. Как при большевиках.

— Люди знают, что все у них заберут немцы, поэтому и не работают. На трудодни-то немцы не платят, — ответил Касей.

— Сейчас война! — возвысил голос Хаджимос. — Военное время не терпит болтовни!

— Чего ты от меня-то хочешь? Не знаю я, как их заставить работать.

— Надо припугнуть хорошенько!

— Припугнуть? — удивился Касей. — Ты думаешь, испуганные работают лучше?

— Лучше, хуже, но работают, а эти даже не хотят выходить на работу!

— Я не умею пугать людей, не умею,— сухо, еле скрывая свой гнев, сказал Касей.

— Я тебя научу. Быстро научишься.— Хаджимос хлестнул себя плетью по голенищу.— Ты совсем обленился, не нашел паршивого пистолета.

— А что я должен был делать, если мальчишки не сознаются? Не пытаться же их!

— Молчи уж. Ты не хочешь пытаться, так тебя будут. Не хочешь работать, уходи. Выходит, не такому дураку, как ты, предназначена эта должность.

Касей метнул взгляд на шкаф — ах, глотнуть бы огненной водицы.

— Для начала надо заставить работать тракторную бригаду. Подожди, не перебивай. У меня есть сведения, что Кутас знает, кто снимал и куда спрятал карбюраторы и магнето с тракторов.

— Кто?

— Эх ты, пряткий какой! Кто? Если бы я знал, уж будь уверен, что тракторы работали бы. Посеяли бы озимые полностью и вовремя... Завтра позовешь в управу Кутас, сначала поговоришь с нею по-хорошему, а если заупрямится, не скажет, где карбюраторы, посадишь ее в амбар. Арестуешь.

— Не надейся, отец,— упрямо и твердо сказал Касей.

— Почему? Потому что она твоя тетка?

— Нет. Просто не буду, и все.

— А-а! — взвился Хаджимос.— Тогда выходит, ты заодно с Жечаго? Так, что ли?

— Я ни с кем. Мне неизвестно, с кем лучше!.. Один против всего аула не попрешь. Ты видишь, что происходит

на фронте? Не надо было мне тебя слушать, пусть бы лучше убили.

Побледнел Хаджимос:

— На меня, на родного отца все хочешь свалить? Спасибо, сынок. Но не думай, что ты так просто отвертишься: будешь повиноваться мне, или я обо всем расскажу бургомистру. Не посмотрю, что ты мой сын. Понял?! И ты знаешь мой характер!..

Ушел Хаджимос и так хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка.

Касей тут же кинулся к шкафу и налил стопку.

## 7

Больше месяца не виделись Жечаго и Хатам, наконец на овчарне сегодня встретились. Несколько раз назначал Жечаго чабану встречу и не приходил — такова уж партизанская жизнь, не знаешь, что с тобою будет через полчаса.

Встретились, обнялись.

— Садись, Жечаго, садись. Не знал, что ты придешь, приготовил бы ужин.

— Ужин в нашем деле далеко не самое главное, кое-что есть поважнее, — пошутил Жечаго. — Возьми-ка пистолет. Мы оружием, благодаря немцам, уже разбогатели.

— Спасибо, но у меня есть.

— Откуда?

— Мальчишки на мельнице у полицейского сперли и мне принесли.

— И ты не надавал им оплеух? Ведь они могли надевать беды. Да сам будь осторожен. У Мамырхан, говорят, два раза был обыск?

— Ищут тебя. Почему ты не заберешь ее в горы?

— Нельзя. Нас шестнадцать человек да шестнадцать жен — это уже не боевой отряд, а табор. Так что случилось с Фаиной? Мне Аскал говорил...

— Да, я передавал тебе. К ней стал захаживать Хаджимос. Совсем старый хрыч охамел.

— И вы не знаете, что с ним делать? Надо было сказать Лифаф.

— Говорили. Плачет, бедная, а сделать с ним ничего не может. Хаджимос пригрозил Фаине, сказал, если она не уступит, он арестует ее как жену комиссара и выдаст немцам. Мы решили, что пришла пора спрятать ее.

— Где же она?

— Здесь, у меня укрывается.

— А мальчишка?

— Тоже здесь.

— Давай их быстренько веди к лесу, а я послежу за аулом — время вечернее, все дома. Давай... Подожди. С тракторами получилось отлично, но у нас есть сведения, что кто-то видел Фаину с Марией, когда они снимали карбюраторы. Последи за этим за всем и держи нас в курсе дела. Сам будь проще, покладистей. Хорошо работай... Ну и... за Мамырхан присматривай. В случае чего — сразу уводи в лес.

— Не беспокойся. Все будет хорошо. Пока я жив, твоя семья, считай, в безопасности.

Проводил Хатам Жечаго с Фаиной и Владиком — будто ноша с плеч: несколько последних ночей он почти не смыкал глаз, стерег Фаину, сидел в огороде, пока Фаина с Владиком спали. И пистолет был у него в кармане — на всякий случай.

Теперь можно самому немного поспать.

Вышел из комнатухи Хатам, когда солнце было уже высоко над горами. В это-то время и подскакал Хаджимос к кошаре. Был он сердит и хмур, беспокойно сидел на коне:

— От сна распух, бездельник! С сегодняшнего дня пойдешь в кузницу молотобойцем!

Улыбнулся Хатам, пожал плечами:

— Разве говорил тебе, что не пойду! Почему ты так сердился? Сейчас прямо и пойду в кузницу.

Огрел коня Хаджимос, ускакал. Хатам смотрел ему вслед и смеялся:

— Что, старый дуралей, отжениховался? Должно быть, потому и зол, что узнал о побеге Фаины. Догоняй, ищи ветра в поле!

А вечером Хатаму пришлось повстречаться с другим Кагазежевым. После работы зашел к Зурет, чтобы рассказать о Фаине. Не успели поговорить, как в дом ворвался Касей с плеткой в руках. Увидел Зурет вместе с Хатамом — налился гневом.

— Добрый вечер. Ладненько вы тут посиживаете. А где же Фаина? — заглянул он в одну комнату, в другую, а потом ни с того ни с сего накинулся на Хатама: — Чего ты шляешься сюда? Чего? Твое место на кошаре, а не в девичьей комнате.

Хатама будто ошпарили эти слова. Словно отхлестали его по щекам принародно. Хатам мог бы вышвырнуть из дома этого мерзавца, мог бы измолотить!.. Но он взял себя в руки — вымучил виноватую улыбку.

— А ты почему разрешаешь ему приходить к тебе? — не унимался Касей.

И Зурет могла бы дать пощечину Касею, могла плюнуть в лицо, но сдержалась.

— Садись, — она подала стул Касею, — зачем так сердиться? Он ведь пришел ко мне по работе. Хатам теперь в кузнице работает. Садись, гостем будешь.

Улыбнулась ласково Зурет — и растаял Касей.

— В самом деле, чего это я разорался. Нервы, будто струны, натянуты... Говорят, земля вертится — это люди на земле кружатся, вертятся... Ты хороший человек, Хатам, и не думай, что я по пьянке говорю. Выпил я самую малость. Хороший ты человек, завидую я тебе. Только не пойму, почему ты не уходишь из аула к Жечаго?

Насторожились Хатам и Зурет.

— А как уйдешь к Жечаго? — сказал Хатам. — Он ведь на той стороне фронта...

— Значит, это ты знаешь? — перебил Хатама Касей.

— Не знаю. Просто так говорю. А где же ему быть? Нет, Касей, не мое это дело война. Ты верно сказал, мое место на кошаре. Чабан я, и только для этого и рожден, да вот нет больше у меня овец.

— Недавно один человек пришел ко мне и говорит: чего это у вас Хатам на свободе, он же орденосец. Дурак,

сказал я ему, Хатам получил орден за труд, а тебе за безделье я прикажу всыпать десяток плеток... Так где же Фаина? Знаю. Знаю, что мой отец... наговорил ей гадостей, пригрозил. Скажи ей, Зурет, пускай не боится. Никому не позволю обидеть ее, даже если этим обидчиком окажется мой отец.

— Спасибо, Касей, я всегда говорила, что ты добрый человек, — поблагодарила Зурет.

— Нет, Зурет, добра я никому еще не сделал. Пошли, Хатам, поговорить нам надо.

За плетнем Касей сказал Хатаму:

— Что хочешь для тебя сделаю, только помоги мне... помоги жениться на Зурет. Не ходи к ней, не любит она тебя.

— О чем ты говоришь, как тебе не стыдно? Я даже мысли не держу. Сестра она мне — не больше. А насчет тебя... она ведь невеста Данашева Аскера.

— Зачем ты это говоришь? У хорошей девушки муж один, а поклонников много. Зурет должна стать моей женой. Я ни перед чем не остановлюсь. Слышишь, ни перед чем!

— Не горячись, Касей. В таких делах нужен трезвый ум, а то как бы глупостей не наделать, за которые потом жизнью не расплатишься.

## 8

— Чтоб тебя громом расшибло, — ругалась Кутас, когда полицейский провожал ее в амбар.

— Заходи, ведьма, чтоб Аллах твой язык длинный вырвал и на плетне сушить повесил, — руганью ответил и полицейский, запирая тяжелую дверь амбара на огромный замок.

— Кутас, никак это ты? — послышался из темноты голос Гуцы.

— Гуца? Вот это да! И ты здесь? Очень хорошо, мне веселее будет. Где ты тут? Я совсем ничего не вижу в этой кромешной тьме.

— Сейчас привыкнешь и все увидишь. Сюда, сюда, на соломку, новая власть позаботилась, чтобы нам было мягко.

— Чтoб ее черти с квасом съели и этой мягкой соломой закусили.

В углу Кутас разглядела двух мальчишек:

— Детей тоже, ах, проклятые варвары!..

Опустилась на солому рядом с Гуцой Кутас, отдышалась немножко, а потом спросила:

— Тебя-то за что упекли?

— За ботаж.

Кутас громко рассмеялась. Мальчишки — тоже.

— Наверно, за саботаж? Надо было ходить на работу.

— Сгори они вместе со своей работой. Я большая женщина.

— А ты, сын Жечаго, за что сюда попал со своим другом?

— Тоже не ходили на работу.

Стала серьезной Кутас. Подумала, зря мальчишка так поступил, надо бы ему хоть для виду ходить на работу, а то ведь недолго и беду накликать. Сын коммуниста, председателя. Куда же это Мамырхан смотрела?

— Выпороть бы тебя надо, чтоб ходил и хорошенько работал. Куда только мать твоя глядела?

— Она не знала, думала, я работаю. А мы убежали с приятелем в лес.

Да, подумала Кутас, с этим не сладишь, похоже, в отца пошел. Совсем ведь мальчишка, но уже понимает, что к чему. А Касей... Больно стало Кутас на сердце. Больно, потому что гнева на Кагазежевых у нее уже не хватило. А тут, как соль на открытую рану, Гуца со своими словами:

— Не знаю, Кутас, может, ты и обидишься на меня, но хочется мне сказать, сидя с тобою вместе на мягкой соломе, что у зятя твоего нет никакой совести, не уважает законы наших предков. Эти мальчишки если дети, то нельзя их сажать в амбар, а если мужчинами их считает, зачем же впихнул в один амбар с женщинами? Бесстыдник!

— Верно ты говоришь, — ответила ей Кутас, — но больше не зять Хаджимос мне. Я слышать о нем не хочу. О себе

не пекусь — пусть сажает в амбар, пусть немцам сдаст, пусть что хочет, хам, то и делает, мне сестру мою жалко. Не день, не год — всю жизнь издевался над нею... Просто выродок какой-то. Эх, Фаина немного промахнулась, если бы он ко мне, я бы ему такое сделала, что он до самой гробовой доски шараялся от юбки.

— Гадкий, гадкий человек Хаджимос Кагазежев. Сына своего тоже испортил.

— Права ты, Гуца. Хорошим парнем был Касей, да загубил его Хаджимос. Вернутся наши — и конец Хаджимосу, туда ему и дорога, а молодого парня зачем загубил, кровопийца? Если Касей узнает, что я в амбаре, он этого не потерпит и освободит.

— Как знать, — возразила Гуца, — может, не без его ведома и посадили тебя.

— Нет, не верю. Касей все же не Хаджимос.

— Верись не верись, а сидим же.

И сидели.

Мальчишки забились в дальний угол, подальше от женщин, чтобы им не мешать и самим быть свободнее.

Долго тянется день в амбаре. О чем только не говорили женщины. Вспомнили и похвалили Жечаго и Хатама. Вспомнили Фаину — где она теперь с Владиком? Пошептались о том, что вроде бы у Жечаго собрался сильный отряд в горах, недавно они напали на немецкий обоз и захватили много оружия. И наконец Кутас сказала, что вторая жена бросила ее бывшего мужа.

Гуца подмигнула:

— Теперь не зевай, Кутас. Придет он с войны, раскрывай шире ворота, приглашай к себе.

Не хотелось шутить Кутас:

— Узнала я эту новость и, знаешь, Гуца, жалко мне его стало. Хороший он человек, а не повезло ему в жизни, то я ему — дура прямая — попалась, теперь вот эта... Понимаешь, вернется он домой с войны, у всех людей радость, а ему слезы. Я плохая была для него, а эта — совсем стерва. Она, видите ли, без мужика жить не может. Я сколько лет живу одна, только языком мелю. Разве хоть кто-нибудь у ауле сможет указать на меня пальцем?

— Э-э, Кутас, а разве я мало лет прожила одна? Разве не находились охотники провести ночь со мной? Хватало, хватало, но я никогда себе не позволяла этого... Попомни мое слово: вернется твой бывший муж с войны — к тебе придет.

Совсем Кутас понизила голос, еле слышно зашептала:

— Так и быть, скажу. Тебе одной скажу. До прихода немцев писал он мне два раза. Ты думаешь, он не знал, как вела себя его жена? Все знал и написал мне об этом. И намекнул, что хочет ко мне вернуться. Я уж было собралась ответить ему, что буду ждать его, да вот пришли проклятые немцы. И где он теперь, жив ли? Если бы он только вернулся ко мне! Да хранит Аллах его, хранит Аллах и твоего сына Аскера.

День клонился к вечеру, это было видно по узкой полоске света, по тоненькому солнечному лучу, проникавшему через щель.

— Ну вот и прошел день. Славно мы с тобой отдохнули. Первый раз за всю жизнь я так хорошо отдыхалась, — сказала Гуца.

— И наговорились вдоволь, отвели душу. Вот только куры наши остались не кормленными.

За дверью амбара послышался сердитый голос Касей:

— Сколько раз я тебе говорил, чтоб без моего ведома никого в амбар не сажал.

— Хаджимос приказал, — возражал полицейский. Громыкнул засов, запахнулась дверь, и свет закатного солнца залил амбар.

— Видишь, Гуца, говорила я, Касей не допустит теткингого позора. Это все Хаджимос вытворяет, — шепнула Гуца Кутас.

— Кто там еще? Выходи! — прикрикнул Касей. Из угла вышли мальчишки.

— Все по домам отправляйтесь! А ты, — повернулся Касей к полицейскому, — запомни: без моего приказа никого не арестовывать, а то я вас самих пересажаю.

Ни днем ни ночью не находил Касей себе покоя. Белый свет был ему не мил и все люди противны. Единственной его радостью на земле осталась Зурет. Ему казалось: женись он сегодня на ней — и завтра улягутся все его беды. На другой же день ушел бы он из управы, стал бы жить в сторонке, тихо...

Солнце садилось, облагрив небо, как говорили в старину, кровью своих лучей. По здешним приметам такой закат сулил неделю хорошей погоды.

Касей возвращался верхом из соседнего аула. Зачем он туда ездил? Да так просто. Невмоготу стало сидеть в управе. Вскочил в седло, понесся аллюром по полю, по лесной тропинке. Гнедой будто чувствовал беспокойное настроение своего хозяина и летел легко, без понуканий. Летел так, словно и ему был очень приятен посвист встречного ветра, лесная прохлада и сам этот бездумный бег среди лесной и полевой тишины. Долетели они до околицы соседнего аула, а обратно пошли уже легкой рысью.

Верно говорили мудрые люди, думал Касей, что нет ничего страшнее, чем пасть на колени перед собственной совестью. Понял эту мудрость он не сегодня, а в лесу, когда дезертировал из армии. Правда, сначала эта мысль была очень зыбкой, казалась сомнительной, а теперь в своем непоправимом промахе он был уверен твердо. Одна ошибка часто влечет за собой и другую: когда гнались за ним от дома Кутас, надо бы на другой же день прийти в райвоенкомат с повинной. Может, еще и простили бы — отправили бы на фронт в штрафную роту. Надо было так сделать, да не смог, струсил.

Да, все его беды начались со злосчастной травы. Послушался он отца, побоялся перечить. Оказалось, что не ногу калечил, а совесть. Эх, если бы можно было исправить свою ошибку! Касей, не задумываясь сейчас, пошел бы с Жечаго. Вот кто истинно мудрый человек.

Мудрый и храбрый.

...Отборную кубанскую пшеницу немцы ссыпали на элеваторе в отдельный склад и поставили усиленную

охрану из полицейских, а на днях подали вагоны, чтобы погрузить ее и вывезти в Германию. Вскрыли склад, а он оказался пустым. Нетронутыми были замки, пломбы, целехоньким, нигде не поврежденным оказался высокий забор, а пшеница исчезла. В полу склада были просверлены дыры, через которые стекла пшеница в канализационные люки.

Отработанная техническая вода здесь сбрасывалась в небольшую карстовую пещерку, выходившую в речку. Этим и воспользовались партизаны.

Майор, когда ему доложил об этом бургомистр, позеленел от злости и кричал:

— Ты величайший ротозей! У тебя из-под носа, среди бела дня воруют золотую пшеницу, а ты ходишь надутым индюком и ничего не делаешь! Ты ротозей и хам! Партизаны, наверно, служат у тебя в полиции, работают на элеваторе. Я сожгу весь этот дикарский поселок, превращу его в груды пепла!

И потом майор потребовал ликвидировать партизан, «выдрать их с корнем»...

А вчера бургомистр сказал Касею, что он выследит партизан Ужибова и Жечаго, выследит и переловит, как куропаток.

Дурак, что он знает о Жечаго, о горах? А Жечаго-то здешние леса и горы знает лучше собственного сада. Иди, погоняйся за ним. Бургомистр и Касея звал поохотиться за Жечаго, говорил, что немцы дадут солдат. Дурак этот бургомистр. Если бы Касею удалось нащупать тропинку, которая ведет к Жечаго, он сам ушел бы в отряд, отдался бы в руки партизанам, пусть хоть расстреляют его — все равно и это не жизнь... А надо бы, надо предупредить партизан о замыслах немцев. Но как, через кого? Возможно, Хатам знает к ним тропинку? Если и знает, разве покажет Касею? Заросла, провалами провалилась тропинка, по которой Касей мог бы вернуться к своим, прийти к ним, хотя бы за смертью. А может быть, еще все как-нибудь обойдется? Может быть, судьба повернется как-нибудь иначе? У, сколько у нее всяких вывертов.

Зурет опять вспомнилась. Всякий раз его горькие размышления, бесплодные поиски спасительной тропинки

кончались мыслями о Зурет. Хватит, сегодня же он пойдет к ней и решит все. Пойдет и скажет, что не может жить без нее.

Касей пришпорил коня.

Выскочил на опушку леса и увидел на берегу речки Хатама. Странное дело, чего это он с ярлыгой, ведь у него давно уже нет овец, давно он работает в кузнице?

Подскакал Касей к Хатаму:

— Здравствуй, Хатам, что ты здесь делаешь?

— Да так, смотрю на закат. Хороший закат, добрую погоду предвещает.

— Я тоже так считаю.

Спешился Касей, привязал повод к луке седла и пустил коня пастись, а сам сел на камень:

— Я не помешаю тебе, может, ты ждешь здесь кого-нибудь?

— Никого не жду... Посмотри, Касей, на ту сторону, на старую иву. Там когда-то была хорошая заводь. Помнишь, как мы там ныряли?

— Помню, помню, — с тоской отозвался Касей. — Купались мы здесь с Сафером. Какой хороший был парень — и нет его. Многих уже нет парней. А я вот живу. Пью водку, на коне разъезжаю. А на душе погано. Знаю, как люди меня презирают.

— Раз уж ты заговорил со мною об этом, Касей, то я тебе прямо скажу. Ты сам виноват в своем сраме.

Вскочил Касей в седло, поднял Гнедого на дыбы и крикнул:

— Передай Жечаго, что за ним начинается охота. Бургомистр взялся его выследить, а потом дадут ему немцы солдат, чтобы уничтожить отряд. Верите мне или нет, но говорю я правду.

Хатаму было тяжело. «Верите или не верите?» По душевной доброте ему хотелось сказать Касею — вернись, скажи, чем помочь тебе, может, ты еще не потерял последнюю совесть? Но он не имел права этого сделать. Не имел права рисковать судьбами многих своих товарищей. Да и кто он такой, чтобы судить или прощать изменника?

Тяжело было Хатаму, а Касею — легче, потому что пусть хоть всего лишь одному человеку, но он все-таки

сбросил часть тяжелого груза. Может, Хатам и не связан с партизанами, а все-таки Касей сделал первый шаг навстречу людям, которых предал. Да, предал, изменил, теперь уж нечего бояться этих слов. Других все равно не подыщешь.

Поставил Касей Гнедого в конюшне управы, зашел в свой кабинет, покосился на шкаф, где стояла водка, и решил не пить. Посидел, подождал, пока стемнело, и отправился к Зурет, выпив немного для храбрости.

Увидела Зурет Касея и побледнела. Убрала в угол мельничку, на которой молола кукурузу, пригласила Касея сесть, хотя не должна бы этого делать — к одинокой девушке вечером парень не должен бы приходиться без товарища.

Касей сел и прямо, что называется, начал с ходу:

— Я пришел узнать наконец, что ты думаешь о нашем с тобою деле? — Водка не помогла, говорил он неровно, запинаясь. — Больше я ждать не могу, люди и так уж смеются надо мной.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь?

— Зачем ты так? Тебе давно все понятно. Назначь день нашей свадьбы.

— Прошу тебя, оставим этот разговор. Такое время, такая война, а ты... люди воюют, погибают, а мы будем свадьбу играть.

— Я не хочу этого слышать, я устал... я не могу жить без тебя.

Зурет строго взглянула на Касея:

— Почему ты пришел ко мне один, пьяный? Ты хочешь опозорить меня перед всем аулом? Только помни — я одинокая, но у меня найдутся защитники.

Налился гневом Касей, поднялся со стула.

— Значит — так? Смотри, Зурет, я поступлю, как мне велит честь мужчины.

— Ты не сделаешь этого. Не посмеешь. — Зурет стала бледнее, ее глаза наполнились слезами. — А если ты и сделаешь это, то потом горько пожалеешь о своем безумном поступке.

После дождей наступили осенние дни с утренними заморозками, с инеем на крышах, с ледком на лужицах.

Шли дни, а Касей все медлил, тянул время. С утра решится, а как дело до вечера — передумает. Помнит, как сказала Зурет: «У меня найдутся защитники». Кто они, эти защитники? Кто?

И вот наконец решился Касей.

К концу дня в управу прискакал полицейский:

— Все в порядке. Зурет сегодня на работе.

Касей трезв, но все равно что пьян. Пьян от тревоги, от ожидания. Что ей стоит сказать — «согласна»? И станет Касей счастливым человеком. А если не скажет этого короткого и желанного слова? Если найдутся у нее защитники? Не-ет, он не отдаст ее никому.

Заехали к полицейскому, выпили по стопочке и поскакали в поле, где женщины работали на уборке свеклы.

Дождались, когда женщины стали расходиться по домам и Зурет осталась только с двумя девушками. Взяли галоп, кинулись наперерез. Догнали. Вздрыбили лошадей...

Зурет сообразить ничего не успела, как очутилась в цепких руках Касея. Подруги, перепугавшись, зашлись в истошном крике и бросились бежать. Зурет потеряла сознание. Мертвенно-бледной, почти бездыханной, ее и привез Касей к тетке.

Кутас услышала топот коней, а потом отчаянный крик Зурет, выскочила во двор.

— Шире открывай двери, Кутас, мы с добром в твой дом. Встречай свою невестку, — сказал полицейский, помогая Касею снимать с коня Зурет.

— Что вы натворили, поганцы, что вы сделали с девушкой?! — испуганно закричала Кутас и кинулась к Зурет. Оттолкнула мужчин и обняла ее. — Всю кофточку на ней изорвали, до смерти перепугали. Звери проклятые, звери.

— Не хо-о-чу! — истошно и надрывно закричала и Зурет, забиравшись на груди у Кутас в рыдании.

— Я не дам тебя в обиду. Заходи в мой дом. Это мой дом, а не Касея, — успокаивая рыдавшую девушку, говорила Кутас.

Касей пошел следом. В доме он сказал:

— Успокойся, Зурет. У тебя теперь уже не спрашивают, хочешь ты быть моей женой или нет. Ты будешь моей женой. Сегодня. Было время, я спрашивал тебя, хотел сделать как лучше, а ты оскорбила меня. Я тебя предупреждал.

Зурет перестала рыдать. Только вздрагивали ее плечи, но вскоре и это прошло. Она освободилась от объятий Кутас, села на стул и, вызываясь глядя на Касея, сказала:

— Хорошо. Раз уж так случилось, я согласна.

Всплеснула руками Кутас и растерялась, не знала, что делать. Касей насторожился: уж больно странно смотрела на него Зурет.

— Да, согласна,— твердо повторила она,— но при одном условии.

— Говори, какое условие? — подался к Зурет Касей, надежда блеснула в его взгляде.

— Сейчас, при всех дай слово, что простишь мне мой грех, который случился до тебя...

— Что?! — закричал Касей и отскочил, будто ошпаренный.

— Зурет, девочка, зачем ты наговариваешь на себя? — заплакав, спросила Кутас.

— Нет, я не наговариваю,— настойчиво проговорила Зурет.

— Кто?! Кто этот мерзавец?! Я убью его! Уж не придурок ли Хатам? — совсем взъярился Касей.

— Зачем спрашивать, если знаешь,— ответила Зурет и встала.

Кутас собою загородила Зурет:

— В этом доме хозяйка я. Никто не посмеет прикоснуться к Зурет. Уходите отсюда!..

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Касей выскочил на улицу, взлетел на Гнедого и дал ему шпоры. Тот с места взял галоп, перескочил через плетень и понесся вдоль улицы. Остановился около управы.

Спрыгнул с коня и, шагая через две ступеньки на третью, поднялся по крыльцу. Зашел к себе в кабинет и напрямиком к шкафу. Достал графин с самогоном, налил полный стакан и залпом выпил.

Вышел на крыльцо, увидел полицейского.

— Заходи-и! — закричал Касей и потащил его в комнату.

Налил до краев стакан самогона и подал полицейскому:

— Пей! До дна, чтобы ни капли не осталось. Вместе опозорились, вместе и позор заливать будем. Все разделим поровну... Никто еще в нашем ауле так не позорился.— Касей снова потянулся к стакану.— За что мне такой позор? За что?! Ты можешь мне сказать? — Касей обхватил голову руками, облокотился на стол и раскачивался, словно у него помутился рассудок.— Эта гулящая девка грозила мне, а я не поверил ей. Надо было сначала все хорошенько разузнать, а уж потом...

Полицейский тоже быстро захмелел. Посоловели его глаза, размякли, обвисли губы:

— Неправильно мы поступили с этой паскудой Нарыновых. Надо бы поспать с нею несколько ночей, а потом выпроводить вон. С треском выгнать.

— Не-е-ет,— тянул Касей,— я не только ночь, а и часу не хочу быть с тою, которая грелась на груди кривомордого дурака Хатама... А где он, где этот подлец?! — Касей вскочил, оглядывая комнату безумными глазами, будто Хатам мог быть где-то здесь, в управе.— Едем сейчас же к нему, я прикончу его!..

Когда они, качаясь в седлах, прискакали на овчарню, там было темно.

— Хатам, собакой рожденный, а ну, выходи! — закричал Касей.

— Сдох он, что ли?

— Кому сказали, выходи, скотина! — орал Касей, но ему никто не отвечал. Тогда он выхватил из кобуры пистолет и стал палить в окно.

В ауле залаяли с подвывом собаки.

Хатам вышел из лесу с вязанкой дров и услышал стрельбу на овчарне. Снял с плеча вязанку, положил на

землю, а сам спрятался на всякий случай за дерево. Что за стрельба? Кто стрелял? Теперь если стреляют, то не в мишень целятся, а в человека. Стихла пальба. Затопали кони. Два всадника — определил Хатам. Двинулись они к аулу.

Еще сильнее залаяли, завыли собаки.

Может быть, приходил кто-нибудь от Жечаго на овчарню и попал в засаду? Нет, не должно бы. Хатам передал партизанам слова Касея о замысле бургомистра. Правду или неправду, а Жечаго будет осторожен.

Стихло все — и топот, и лай собак.

Постоял Хатам некоторое время в раздумье и решил, что в любом случае ему, конечно, надо идти к себе на овчарню. Взвалил вязанку на плечо и пошел. Ближе, ближе овчарня. Хатам до боли напрягал свое зрение и слух — ничего подозрительного. Только когда подошел совсем близко, увидел, что стекла окошка его комнатухи выбиты, дверь настезь раскрыта.

Достал пистолет, взвел и осторожно двинулся: может быть, и его там ждут, может, засада? Никого в хибаре. Закрыв окно подушкой, старым полушубком. Посидел, подумал и решил затопить печку. Пока разводил огонь, понял, что стреляли в окошко, значит, по Хатаму. Думали, что он дома, и палили. Палить-то просто в окно не будут. Чепуха какая-то получалась.

Утром Хатам напился чаю и отправился в аул. Взял еще одну обойму патронов к пистолету — и прямо в кузницу. Там его встретил старик Надоков. Он уже возился у огня, закладывал в горн железо. Увидел Хатама, пристально посмотрел на него, словно о чем-то спрашивал.

Наконец Надоков заговорил:

— Вчера перед вечером Кагазежев Касей украл дочь Нарыновых. Ты слышал об этом?

— Нет. Как он посмел? — оторопело спросил Хатам.

— Вот так и посмел... Украл он ее, привез в дом к тетке Кутас и тут же ушел.

— Она прогнала его? — обрадовался Хатам.

— Нет, — мрачно сказал кузнец, — сам ушел. Она призналась ему, что до этого была с... Ты вроде бы виновен во всем.

— Кто это сказал?! Может, Касей! — не сдержался и закричал от обиды Хатам.

— Валлахи, точно не знаю, но говорят, будто сама Зурет и сказала. Поэтому и ушел Касей.

— Та-а-ак,— тяжело вздохнул Хатам и присел у наковальни, — что же там произошло? Зурет сказала неправду. Уж я-то это знаю.

— Я всегда считал тебя порядочным человеком. Ты не можешь солгать, я верю тебе.

Ах ты ишак безмозглый, думал о себе Хатам, надо бы вчера пойти к Зурет, а теперь, а теперь... Такая беда обрушилась на ее слабенькие девичьи плечи. Зачем она покрыла себя таким позором? Что натворил этот мерзавец Касей?! Ведь говорил же ему Хатам, предупреждал, чтобы тот не горячился, а он... все-таки сидит в Касее что-то зверское, кагазежевское, от Хаджимоса унаследованное. Не был и не будет Касей человеком.

— Теперь я знаю, кто стрелял вчера в мое окно, — сказал Хатам.

— Не ходи ты сегодня в управу, никуда не ходи, а то мало ли что. Совести у них нет. Пьянствуют, делают в ауле что хотят... Ничего, настанет день, наши дети вернутся, поставят этих подлецов на колени. Не горячись только, Хатам, чтобы не наделать себе беды. Я понимаю, как тебе тяжело, но крепись.

— Спасибо, отец, на добром слове.

## 2

Не было дня, чтобы не думал Хаджимос, как упечь Хатама, как подобрать к нему ключики. Ведь связан Хатам, обязательно связан с Жечаго, но как доказать это? Как?

Хаджимос опустил на коврик для молитвы — подошло время полуденного намаза. Только стал лицом к югу, только стал просить Аллаха о защите его семьи, о ниспослании на врагов карающего огня, скрипнула дверь. Касей вошел и стал рыться в сундуке. Отец метнул в него недовольный взгляд, нахмурился. Молитва была испорчена.

Он поспешно проговорил последние слова, огладил ладонями свое лицо:

— Чем болтаться где-то в священный час, лучше опустился бы рядом со мною да помолился. У тебя тоже есть о чем просить Аллаха.

Касей насмешливо улыбнулся, но ничего не ответил.

Отец, заметил усмешку сына, нахмурился еще больше:

— Чего ты смеешься, бесстыдник. Аллаха забыли, потому и шарахает вас из стороны в сторону.

Касей опять промолчал. Вытащил из сундука носки и пошел из комнаты. У дверей оглянулся:

— Отец, я все собираюсь у тебя спросить: почему ты не ходишь молиться в мечеть? Там ведь все правоверные молятся и сам эфенди Татух. Зачем мечеть отстраивал, если не хочешь туда ходить?

— Ты тоже ее строил. Не так ли? — проговорил Хаджимос. — Чего же ты молчишь?

— Строил. По должности положено, вот и строил.

— По должности? Ах ты богохульник! Молчал бы уж лучше, не вводил бы Аллаха в гнев.

— А чего Ему на меня гневаться? Я не самый худший из Его рабов.

— Молчи. — Встал Хаджимос, повесил на стенку коврик.

— Молчу. А ты на мой вопрос так и не ответил.

— Дерзок становишься, Касей, и не сегодня я это заметил. Смотри, я твой отец перед Аллахом и перед людьми. Не навлеки мой гнев, он будет страшным. А на вопрос твой отвечу: я предпочитаю оставаться с Аллахом один на один, а не стоять среди разного сброда. Но раз в день все-таки бываю в мечети.

— Перед Аллахом, как ты мне говорил, все равны, значит, ты должен поступать так, как поступают все, а не выделяться, не возвышаться над ними. Возвысить человека может только сам Аллах.

— Верно, перед Аллахом все равны, но ты забыл другое из того, что я тебе говорил, — между собою они неравны и быть равными не могут.

— Почему?

— Да потому!.. Разве ты можешь себя сравнить с Хатамом? Кстати, надо нам с ним что-то делать.

— А что с ним сделаешь? К нему не придерешься — он работает.

— Ну и что? Мы тоже работаем, дело совсем не в этом. Помни, за врага надо приниматься раньше, чем он примется за тебя.

— Что за него приниматься? Если захочу, так он костей своих не соберет.

В комнату вошла Лифаф, прислушалась к разговору мужчин.

— Долго ты за него принимаешься, — возразил Касею отец, — смотри, как бы не опоздать.

— Чьи это вы кости собираетесь закапывать? — спросила Лифаф.

— Хатама, — ответил Касей, выходя из комнаты.

— Нашли о ком говорить, стоит ли о такую падаль язык поганить, — с презрением сказала Лифаф.

Осеннее солнце едва выглянуло из-за горизонта розовым своим краешком, когда Хаджимос выехал верхом со двора. Пустынно в ауле, будто в нем все вымерло. Собак и тех не слышно. Постоял Хаджимос посередине улицы, прислушиваясь к печальной тишине, вздохнул безрадостно и тронулся рысцой к речке, решил напоить коня.

Пока пил конь, Хаджимос смотрел на почти уже нагой лес и думал о Жечаго. Где он спрячется со своими парнями? Взрывают партизаны мосты, устраивают налеты на немецкие транспорты, отбирают у них пшеницу. Но кто эти партизаны? Отряд Жечаго или какой-нибудь другой? Может быть, и другой, но Хаджимосу всюду мерещится Жечаго. Чудился иногда даже в темных углах конюшни, коровника. Не думал Хаджимос о поражении немцев, старался не думать, а эти мысли в голову лезли сами, точили сердце. Застряли немцы на перевалах, увязли на Волге. А что же будет, если немцы не наберут силу? Что будет с Кагазежевными? Лучше об этом не думать.

Уже давно конь напился воды, позванивал удилами, а Хаджимос все находился в каком-то оцепенении.

Женщина подошла, загремела ведрами — только тогда Хаджимос натянул поводья, тронул коня.

Хотя бы на чабане хотелось Хаджимосу сорвать свою злость. Но как это сделать?

Конечно, размышлял он, если донести на Хатама немцам, сказать, что он связан с партизанами, немцы расстреляют его, но разве Жечаго не сумеет за эту смерть отомстить Кагазежевым? Еще как отомстит. Это и удерживало Хаджимосу раньше. А сейчас, после случая с Зурет, и вовсе нельзя тронуть Хатама, не позволял обычай. Нет, придется избавляться от этого мерзкого человека тихонько. Что-нибудь да придумается.

### 3

После того вечера, когда Касей умыкнул Зурет и тут же бросил ее, в ауле говорили разное. Молва росла, как снежный ком, пущенный по мокрому снегу с горки. Но если ком снега катится вниз по прямой, то ком молвы совершал такие зигзаги, что все только диву давались.

Сначала все дружно не верили, будто скромный Хатам мог совратить одинокую, беззащитную девушку. А потом ком молвы никому не известно каким образом и с какого места сделал зигзаг. Сначала негромко, но затем все громче и громче стали поговаривать, вот, мол, тебе и тихоня этот Хатам. Обманул бедную девчонку, потешился и бросил на позор перед всем аулом. И это в такое-то трудное время. Воистину стал петь свадебные песни на похоронах. А Зурет? Первой невестой аула, самой достойной и скромной девушкой называли ее, а на поверку что вышло? Приплели сюда и Фаину.

Раньше говорили — повезло одинокой Зурет. Живут как сестры. Теперь другое завели: вот, мол, городская женщина, чему она хорошему может научить сельскую девушку? Научила ее глупостям — да и ушла от нее.

Доставалось и Гуце. Ведь она была много лет подругой матери Зурет, значит, на правах старшей и должна была следить за девушкой, опекать ее и наставлять на путь истинный. И не только в этом дело — все знали, что Зурет невеста Аскера. Что теперь скажет Аскер, когда вернется с войны? Что он скажет матери своей, которая не уберегла

беззащитную девушку, что он скажет Зурет, которой посылал свои письма, писал чаще, чем матери?

Ах, молва, ты, как волна морская, то вздыбишься хребтом, вскипишь пеною, ударишься о камень времени, схлынешь — и нет тебя, а в людской памяти, в сердцах людских остаются рубцы.

Сидела Гуца на крыльце и горевала, потому что в ответе за беду Зурет считала себя одну. Называла себя старой дурой.

— Гуца, а Гуца,— позвала ее через плетень соседка.— Знаешь, я тебе скажу, Гуца, хорошо, что Касей привез Зурет к тетке, хоть Кутас ее защитила. Если бы не она, говорят, Кагазежевы совсем бы искалечили бедную девочку... Еще я тебе расскажу вот что,— говорят, Касей гонялся за Хатамом с пистолетом, но тот будто скрылся в лесу. И правильно сделал: когда у дурака оружие да власть, нет ничего страшнее.

Гуца молчала.

Увидела соседка, что совсем расстроила Гуцу, пожалела о сказанном, скрылась.

А Гуца поднялась и пошла к Зурет.

...Много, много лет тому назад Гуца с мужем поселилась в этом доме. С первого дня подружились Данашевы с Нарыновыми, и, конечно, за долгие годы всякое у них случалось — жизнь такая штука, всякое бывало. Приходилось Гуце переступать порог Нарыновых с болью в сердце, с тяжестью, но такой тяжести, как теперь, за все эти годы ей испытать ни разу не приходилось. Что она скажет несчастной девочке, где найдет слова утешения? Как Гуца будет смотреть в глаза Зурет, если сама чувствует свою вину перед нею?

Все верно, все так, но идти надо. Не дочь ей Зурет, не нареченная невеста сына, всего лишь соседка, но идти надо, потому что они родственники по совести.

Шла не прямой дорогой, а переулком, потом тропинкой по задам, пряталась от досужих глаз, от сплетен.

Ставни у Нарыновых были закрыты.

Вошла Гуца во двор, и повеяло на нее запустением — ни птицы, ни скотины, только сухой бурьян шелестел под

ветром. Не подумаешь, что здесь живет человек. Дверь в дом раскрыта настежь. Что бы это значило? Стукнуло тревогой сердце. Сыро, холодно в доме. Сквозь щели падал скудный свет.

На кровати, укутанная в ватное одеяло, лежала Зурет. Только видны ее заплаканные, опухшие глаза.

— Зурет, а Зурет, почему так темно у тебя?

Всхлипнула Зурет, отвернулась к стене и зарыдала. Присела Гуца на краешек кровати и стала гладить Зурет, будто маленькую девочку, по волосам. Рыдала Зурет. И Гуца не сдержалась, всплакнула украдкой. Стала укорять себя, что сразу не пришла к девочке. Кто-кто, а уж она-то должна была прийти первой, не выжидать, не раздумывать.

На спинке кровати Гуца заметила шаль Кутас. Значит, она бывает здесь. Вот молодец, вот, у кого надо учиться добру. Если уж говорить по правде, то Кутас должна бы держать сторону Касея, а она не побоялась гнева старшей сестры, Хаджимоса и ходит к Зурет.

— Ладно, Зурет, поплакала и хватит. Слезами горю не поможешь. Не с тебя начали адыги умыкать девушек, раньше всегда так поступали мужчины, которым не везло в любви. Хорошо сделала, что не осталась с ним. Э-э, еще выйдешь замуж, еще такого себе парня отхватишь, что все девчонки позавидуют... Ты ела сегодня что-нибудь?

— Кутас накормила, — едва слышно ответила Зурет, — спасибо ей.

— Я так и подумала, увидела ее шаль на кровати. Вставай, девочка. Я пойду открою ставни. Посидим немного, поговорим.

Открыла ставни Гуца, принесла из сарая дрова. Зурет встала, ополоснула лицо, причесалась.

— Вот и молодец, — сказала ей Гуца, — пропади они пропадом, эти Кагазежевы. Сейчас затоплю печь...

Вскоре пришла и Кутас, как всегда веселая, подвижная. Быстренько намолочила на мельничке кукурузной крупы.

— Молодец, Зурет, что встала, хватит слезы лить, слишком много чести этому дураку Касею. Ставь воду. Сейчас ужин приготовим. Я тут принесла цыпленка — быстренько сделаем четлибж.

Зурет поставила на печь чугунок, вымыла сковородку. Все делала словно во сне и терзалась: как ей быть дальше, не сказать ли правду Кутас и Гуце? Особенно Гуце хотелось сказать, чтобы о Зурет она плохо не думала. И Кутас надо бы знать — она так сердечно относится к ней, будто родная. Но как это все будет? Кутас может и обидеться за обман, ей-то Касей племянник, раньше хотела Кутас, чтобы Зурет стала женой Касея. Как тут сказать?

И Гуце признаться боязно. Вдруг она, защищая Зурет, и уронит где-нибудь неосторожное слово, вдруг Касей узнает правду? Что будет тогда?

Об Аскере Зурет тоже думала. Если он вернется, она расскажет ему, как пришлось ей бороться за их любовь, и он все поймет. Но это будет потом, потом, а как сейчас пережить эту ложь, этот позор перед всем аулом? И с Хагамом как быть? Вдруг он скажет людям, что Зурет на себя наговорила? Что будет тогда? Что?..

#### 4

Хаджимос заболел. Сказал Лифаф, что простудился, и она лечила его сушеной малиной, прикладывала горячую соль к пояснице. В самом же деле занемог он по другой причине — его потрясла неудачная женитьба Касея. Вроде бы это последнее звено в цепи неудач Кагазежевых. Думалось раньше, что с приходом новой власти ждет их, Кагазежевых, почет, да ничего не вышло. И вот теперь еще с этой женитьбой позор.

Лифаф, правда, не унывала, только обливала грязью Зурет, проклинала ее покойную мать. Верно, говорила она, с Кагазежевыми поступили некрасиво, такого и врагу своему не пожелаешь, но, что делать, на все воля Аллаха. Все равно, мол, Кагазежевы как были чистыми, будто молоком омытые, так и остались чистыми. Они с добрым сердцем ждали свадебного дня, хотели устроить веселье, да все испортила грязная потаскушка, опозорившая весь род красавиц Нарыновых... Дура она, конечно, у них ли не жилось бы ей с таким парнем?

— Вот настолечко меня это не трогает, — успокаивала Лифаф мужа. — Эта грязная девчонка ногтя нашего

Касея не стоит. И хорошо, что мы с помощью Аллаха избежали этакой грязи. А она, даже если в молоке выкупается, все равно останется грязной... Найдем Касею достойную жену.

— Теперь, видишь ли, Зурет такая и сякая, — ворчал Хаджимос, — а кто еще недавно говорил: дочь Нарыновых самая красивая, самая умная, нет ее трудолюбивее. Задурили вы со своею сестрицей парню голову, а теперь еще и виноватого ищете. Мало того, Кутас не о беде Касея печется, а ухаживает за потаскушкой. Недаром я тогда приказал бросить ее в амбар. Пусть бы посидела, может быть, и поумнела, а Касей — выпускать ее скорее. Выпустил на свою голову...

До сих пор не может Хаджимос простить этого сыну, думала Лифаф, слушая мужа. И правильно. Совсем Касей отбилась от рук, родителей не слушает. Уж очень умным стал. Правильно ты, старик, говоришь, тысячу раз правильно. Говори, говори, я слушаю... Всю жизнь я прожила с тобою, чего только мы не испытали за эти долгие годы, но Аллах всегда был к нам милостив, все козни врагов наших разбивал. И с Фаиной все устроил, как надо. Обворожила тебя городская змея своими бровями, свела с ума, но Аллах разбил ее чары. А Кутас? Дура Кутас, но куда мне деть ее? Одна у меня сестра. Одна во всем белом свете. Она — часть моей крови, моего тела. Не сердись на нее, Хаджимос, пощади ее, баба, она баба и есть. На трактор села — ты ее тогда очень ругал, а теперь вот рад был бы, если б Кутас запустила свою адскую машину и стала на ней работать. Видишь, у тебя тоже не всегда концы с концами сходятся. А еще я тебе сказала бы: присмотришься к кузнецу Надокову, что-то не чисто там, собрались вокруг него старики, шевелят своими рыжими от табака усами, водят какие-то непонятные разговоры. А главное — Хатам все время там крутится. И, по-моему, он верховодит, хотя и молодой. Присмотреться бы тебе надо...

Выговорился Хаджимос, умолк, уткнувшись в подушку.

— Правильно ты, старик, сделал, что бросил ее в амбар. Пусть бы посидела, не слиняла бы, а смотришь, и поумнела бы немного. Я тоже говорила Касею, что зря он выпустил

свою тетку, но разве с ним сговоришься? Будь с ним поосторожнее, не то он совсем разболтается. А Зурет эта!.. Ух, мерзавка! Хочешь, я сейчас же пойду и подожду их дом?! — вдруг вскипела Лифаф, губы у нее посинели.

Усмехнулся Хаджимос:

— Что случилось, старуха? Ты только говорила, будто тебе наплевать на Зурет, и вдруг такое?

— Э-ой! Разве можно не думать о позоре, который постиг нас? Разве можно простить Нарыновым такое оскорбление? А тут еще эта дура Кутас! Встречу и при людях выдеру ей волосы... Еще, старик, не знаю, как поступиться, но все равно я должна тебе сказать. Если не тебе, кому же?

— Э-э, понесла! Ты можешь говорить без этих дурацких выкрутасов? Говори прямо, в чем дело?

— Мне шепнули, — понизила голос Лифаф, — что дочь Нарыновых обманула нас.

— Как обманула?

— Говорят, выдумала она про Хатама. Все выдумала мерзкая девчонка, да я и сама...

— Замолчи! — в ярости закричал Хаджимос и вскочил.

— Лежи, старик, разве можно...

— Молчи! Если это правда, завтра же упеку ее в Германию.

— Зачем же так горячиться, зачем? — испугалась Лифаф. — Не посылай в Германию, пусть лучше Касей на ней женится...

— Ты что, обалдела! — заорал Хаджимос. — Если еще раз ты скажешь эту гадость, убью. И тебя, и твою сестру! Вы что, совсем решили опозорить род Кагазежевых?!

— Молчу, молчу. Пусть шайтан вырвет мой поганый язык!

— Уймись ты! — сел к столу Хаджимос, отдышался и уже спокойно спросил: — Кто это тебе говорил?

— На сепараторе когда была, там и слышала. А уж коли женщины говорят, то это неспроста.

— Э, проклятый язык твой! Дай спокойно подумать.

В сенях послышались шаги.

— Тише, парень наш идет, — испуганно сказала Лифаф.

Едва только переступил порог Касей, мать и отец услышали запах спиртного. Не пьян был Касей, но заметно выпивши.

После позорного случая с Зурет Хаджимос не ругает сына за водку — парню и без того плохо. Промолчал и на этот раз, только опустил голову, нахмурился.

Похудел Касей, ввалились глаза, нос стал острым и длинным. И раньше-то Касей не был особенно разговорчивым, а теперь и вовсе слова из него не выдавишь. Вошел в дом молча, вымыл руки, сел за стол. Похлебал немного супу, отодвинул миску. Сидел понурившись.

— Ну, и что же ты скажешь, отец? — наконец спросил Касей, будто они до этого о чем-то разговаривали.

— А чего говорить, чего говорить? — вскинулась Лифаф.— Наговорились уже.

Хаджимос взмахнул рукой,— дескать заткнись! Обратился к сыну:

— Мы с тобой, сынок, запряжены в одну повозку, должны вместе тянуть ее на гору, а получается — тянем в разные стороны. Не всех людей удача ласкает. Видно, я тоже принадлежу к числу неудачников. Все мои помыслы в тебя были вложены, думал, ты поднимешься на вершину, а я на старости лет моих полюбуюсь тобой... Ничего не вышло, ох, ни-че-го. Опозорил ты наш род. Глаза бы закрыть мне... и куда ноги понесут, сорваться в бездонную пропасть...

— Неверно говоришь, отец. Не я один во всем виноват. У нас с матерью есть и на тебя жалобы. Так я говорю, нан?

— Ты меня оставь в покое! — замахала обеими руками Лифаф.— Не вмешивай меня в мужские дела.

— Видишь, мать правильно говорит, у нее, оказывается, свои дела. Получается, мы все трое тянем в три разные стороны. Помнишь, ты выпорол меня плетью?

— Еще как выпорю, если не перестанешь позорить мои седины! — вдруг загремел Хаджимос и снял со стены плеть.

У сына тоже кровью налились глаза, но лицо стало бледным как полотно, губы посинели:

— Если так, то я не позволю даже пальцем себя тронуть!

— Ах ты! Сучий сын! Да я тебя...

Замахнулся Хаджимос на Касея плетью, но тот вырвал ее, швырнул прочь, а потом взял отца за грудки, приподнял немного и поставил на пол.

Взвела от страха Лифаф.

Стал Хаджимос белее снега, почувствовал могучую силу Касея и задохнулся от своего бессилия, хватал ртом воздух.

— Теперь ты понял, отец, что к чему? — грозно спросил Касей.— Только посмей поднять на меня руку.

— Замолчи! — истошно закричала Лифаф.— Замолчи, или я прокляну тебя!

— Проклинай! — ответил ей Касей и вышел из дому.

## 5

О том, что произошло между Кагазежевными, никто в ауле не знал, хотя Касей несколько дней не заходил в свой дом, напивался и ночевал в управе.

Все эти дни было спокойно в ауле, потому что Хаджимос отсиживался дома. А потом все пошло по-старому. Хаджимос даже стал злее — чаще пускал в ход плетку, выталкивал в спину тех, кто не хотел или не мог идти на работу.

Аульчане говорили:

— Сыну в любви не повезло, а мы, выходит, виноваты. Дурной это знак для Кагазежевых.

При муже Лифаф поддерживала его, поддакивала ему, а уйдет он из дома, начинала ругать. Конечно, это он виноват во всем — разве плохо жилось им при большевиках? Вон какой лес был в его распоряжении, каждый день Хаджимос приносил из него свежую копейку. И с людьми не собачился так, как сейчас. Это до чего же дойти надо, чтобы бить своих земляков? Нет покоя в доме, все шатается под ногами, все зыбкое. Да разве и можно было поверить, что такую огромную страну разобьет какая-то Германия? Э, сколько уже раз пробовали, и ничего не получалось, не получится и теперь. Это уже видно. А Хаджимос, эх, Хаджимос, и зачем он все это затеял? Сейчас нет покоя

в доме, а что будет, когда придут обратно большевики? Даже страшно подумать. Ей-то что, она баба, никаких должностей при немцах не занимает, а что будет с мужчинами, пусть думает Хаджимос, он заварил эту кашу, он пусть и расхлебывает.

Но Хаджимосу пока хватало других забот — мокли под дождями остатки неубранной кукурузы, кисла в земле свекла, чуть ли не каждый день бургомистр присылал Хаджимосу угрожающие циркуляры, а людей не заставишь, да и дожди не дают выйти в поле. Зябь тоже не пахана. Один трактор удалось-таки запустить, нашли для него карбюратор и генератор, но и до утра не дожил мотор — искалечили ночью на полевом стане. Говорят, поломали люди Жечаго. Выходит, эти самые люди однажды могут прийти и «поломать» самого Хаджимоса? Наверно, могут, если из затеи бургомистра ничего не вышло, немцы так и не дали солдат — есть, видно, дела поважнее.

Сегодня стояла неплохая погода, на кукурузу удалось выгнать человек двадцать, с того дальнего поля и возвращался Хаджимос. Обычно он ездил на поля с полицейским, а сегодня решил поехать один и теперь пожалел об этом: что-то в каждой ложбинке ему чудились партизаны Жечаго, а про лес уж и говорить нечего — вместо того чтобы поехать кратчайшим путем по опушке леса, Хаджимос подался полем вкруговую.

Выехал он на грейдер и увидел всадника. Холодком пробежал у Хаджимоса страх по спине, как-то противно заняло сердце: кто бы это мог быть? На днях двое верховых заезжали — один русский, другой адыг. Пспрашивали, нет ли в ауле немцев, когда они появлялись в последний раз, зачем, — и уехали... Прямо среди бела дня, и ничего с ними не сделаешь.

Кто этот всадник? Достал Хаджимос пистолет, взвел, поставил на предохранитель и положил обратно в кобуру. Застегивать кобуру не стал.

Э, да никак это Касей? Он. Но почему едет из райцентра трезвым? Странно. Касей, только увидел отца, прибавил ходу и проскакал мимо.

Хаджимос остановил своего коня, крикнул что было сил:

— Стой! Остановись сейчас же!

Касей остановился, повернул коня, но к отцу не подъезжал, стоял, смотрел выжидающе.

Между отцом и сыном было шагов семь-восемь.

— Где был? — не то спросил, не то обругал сына Хаджимос.

— У того, кому ты на меня пожаловался.

— «Жаловался», — презрительно ухмыльнулся Хаджимос. — Остолоп. Лучше бы спросил о матери.

— Что с наной?! Я вчера ее видел, была здорова.

— Так то вчера.

Касей не стал больше говорить с отцом, резко повернувшись, понесся к аулу.

Отъехал с полкилометра и понял, что вспомнил отец о матери, наверное, для того, чтобы заставить его приехать домой, ведь он вчера видел ее совершенно здоровой. Перевел коня на легкую рысь... Ну, ладно, думал он, пусть отец сказал бургомистру, что Касей много пьет, что не хочет выгонять на работу аульчан и всякое такое, пусть. Но зачем же было говорить о связи Хатама с партизанами? Да еще донес, что, мол, и Касею это известно. Что ж, Хаджимос Кагазежев, то мы, как ты говорил, тянули общую семейную телегу в разные стороны, а теперь, по-моему, мы стараемся спихнуть друг друга в пропасть. Ты захотел меня спихнуть, но ведь и я не буду покорно стоять и ждать. Как ты захотел, так оно и будет.

Сейчас Касею надо было разобраться с Зурет: правду она ему сказала или ценою срама решила избавиться от его любви? Об этом поговаривают в ауле. Неужели она так сильно любит Аскера, неужели ради него пошла на такой позор?

А что? Может, и так. Аскер герой, летчик, а Касей — изменник, немецкий прихвостень, зачем он ей нужен? От этой мысли вскипала у Касея ненависть к отцу, ведь по его милости он стал сначала дезертиром, а потом и изменником. И зачем только он поднял шум, когда Зурет сказала ему о своем условии? Зачем? Разве большая любовь не

стоит этой глупости, придуманной сотни лет назад? Да и все бы выяснилось тут же! Вел себя хуже дикаря, а ведь недавно учился в школе, был в комсомоле. Все это было, было, было...

А что будет?

Вчера сбежали два полица. Один из них хорошо знал горные тропы и, говорят, ушел с товарищем через перевал в Грузию. Надеются, что там их не знают, надеются сойти за честных советских людей. Если бы Зурет согласилась с ним уйти через перевал! Он доказал бы, что стоит ее любви, если надо — и умер бы. Согласилась бы — кончились бы его беды, которые он с помощью отца взвалил себе на плечи. Но как к этому подступиться? С чего начать? Пойти к Хатаму, поговорить с ним об этом? Прямо сказать: хочу, мол, перебраться к своим вместе с Зурет. Что на это ответит Хатам? Может сказать — помогу. И поможет, но отведет в трибунал, избавится от Касея, а сам женится на Зурет.

Нет, не стоит ходить к Хатаму с этим делом. Сам найдет дорогу через перевал, а там назовет другую фамилию, расскажет, как над ним издевались немцы... Нет, и это никуда не годится — из одной грязи лезть в другую. Лучше все выложить начистоту, а там будь что будет. Главное, увидела бы его Зурет хоть раз честным...

Выход есть, но при одном условии — надо узнать, правду она сказала о себе или все придумала? Если правду, тогда можно с нею говорить о перевале, а если неправду? Значит, она сильно любит Аскера, во имя этой любви покрыла себя позором? Тогда Касею нечего и думать о перевале, тогда... хоть головой в пропасть.

## 6

Первое время после ссоры с отцом Касей жил в управе, а потом явился к Кутас. Она встретила его хмуро, но в дом пустила, готовила ему и кормила.

Частенько теперь к сестре навещалась Лифаф. Ходила она тайно — рано утром или поздно вечером, когда

Касей спал. Придет, принесет что-нибудь из любимой еды сына, посидит, повздыхает и уйдет.

Обычно Касей любил утром поспать, а сегодня проснулся рано, едва стало подниматься солнце. Услышал, как хлопнула дверь, ведущая с улицы.

— Спит еще? — послышался шепот матери. — Аллах мой милостивый, как я по мальчику соскучилась. Ночами не сплю, все вижу его больным. Нет моих сил. Спросила у Хаджимоса, а он не велит к тебе ходить, страшно ругает меня за это.

— Что ему надо, чего не хватает старому идолу? Всех бы он ругал да поучал, а сам-то, сам — со всем аулом пересобачился, с сыном рассорился. Что он себе думает?

— Не знаю, не знаю, сестра. Тоже ночами не спит, все вздыхает да стонет во сне.

— Меньше бы лез в чужие дела, сидел бы по-стариковски в почетном углу и помалкивал.

— Я тоже так думаю. Зачем ему надо было выслуживаться у немцев? Зачем Касею жизнь молодую испортил? Вот уйдут немцы, что нам делать, куда бежать?

— Теперь хватаешься за голову, а когда я говорила тебе, твоему Хаджимосу, так душой безмозглой меня обзывали...

— Хоть ты не донимай меня, пожалей мое больное сердце. Все вижу, все знаю, каюсь, да только пользы от этого никакой. Ох, беда моя горькая, а теперь Хаджимос еще что-то новое затевает... Скажу я тебе по-родственному, только ты никому ни слова. Велел овцу зарезать и все мясо завялить. Велел сыру наделать побольше. Видно, в дорогу собрался.

— Так-так, пятки уже смазывает. А куда и с кем побегит? Уж не с немцами ли? Э-эх, старый олух, дожил, что землю родную, могилы предков оставить придется... А тебе с Касеем, думаю, надо сидеть дома. Ты вообще тут ни при чем, а Касей не Хаджимос. Это все знают. Пусть рассудит его наша Советская власть — она накажет, она же и помилует.

— Правда, истинная правда, но как это сделать, Хаджимос ведь...

— Когда наши погонят немцев, когда начнут удирать немецкие прихвостни, спрячьтесь с Касеем.

— Послушай, Кутас, сходи и посмотри, спит Касей или нет? Если спит, я на него хоть разок взгляну, все на душе легче будет.

— Если бы не спал, вышел бы теперь. Иди посмотри. Услышал эти слова Касей и притворился спящим.

Лифаф приоткрыла дверь и долго, долго смотрела на сына. Наконец затворилась дверь.

Вот они какие дела, подумал Касей. Надо сегодня же съездить в райцентр и все хорошенько разузнать. Если уж отец начал собираться в дорогу, значит, что-нибудь прослышал. Завтра же он поедет в райцентр, а сейчас ему надо все довести до точки с Зурет.

В полдень Касей прискакал к кузнице. Был он, что называется, в доску пьян. Хотел для храбрости выпить рюмочку, но рюмочкой не обошлось.

Подскакал к кузнице и повелительно крикнул:

— Хатам, а Хатам, иди-ка сюда!

Из кузницы вышел старик Надоков:

— Что с тобой, Касей? На тебе лица нет. Случилась беда какая?

— Не твое дело. Где Хатам?

— Зачем тебе понадобился Хатам? Ты бы лучше поехал домой и отдохнул. Плохо выглядишь.

— Не твое дело! Где Хатам?

— Ты же вызывал его в управу, туда он и пошел.

— Не было его в управе, потому я сам сюда и прискакал. Где он?

Старик пожал плечами:

— Не знаю. Поезжай домой, Касей. Аллахом прошу, поезжай.

— Молчи, старый!..

Касей поскакал к овчарне.

— Быть беде, быть беде,— сказал вслед Касею кузнец.

Хатам услышал топот коня, накинул на плечи телогрейку и вышел во двор:

— А-а, Касей, заходи, гостем будешь.

— Ты почему не явился в управу, ведь я велел тебе?!

— Я собирался прийти, да задержался немного.

— Ладно! Хочу задать тебе один вопрос.

— Я рад ответить на все твои вопросы, но сначала зайди в мой дом,— как можно приветливее сказал Хатам, видя, что Касей не в себе.

— Нечего мне делать в твоём доме! Отвечай: правда или неправда то, что мне сказала о тебе Зурет?

— Это уже совсем не мужской разговор. Да еще на улице. Зайди в дом, если хочешь поговорить по-мужски,— открыл дверь Хатам в комнатушку.

— Ты так? Тогда получай, гад!

Хатам оглянулся, увидел, что Касей выхватил из кобуры пистолет, и кинулся к дереву. Касей настиг его выстрелом и ранил в левое плечо.

Через мгновение выстрелил и Хатам.

Касей медленно сполз с седла.

Гнедой захрапел, ударил копытом и взвился на дыбы...

Выпал из рук Касея пистолет.

Хатам подбежал к нему, приподнял:

— Прости, я не хотел, я...

— Ты оказался мужчиной,— сказал Касей, а потом удивленно и как-то по-детски спросил: — Неужели я умираю...

Гнедой носился по загону, храпел, гневно ржал, косясь испуганным глазом на мертвого хозяина.

## 7

В отряде Жечега знали в тот же день о том, что произошло в ауле. Дня три ждали Хатама — ведь должен он прийти в отряд, некуда ему больше деваться.

Искали его партизаны у знакомых в соседних аулах, по лесу.

Чуть ли не вся полиция прискакала на конях из райцентра и под командой Хаджимоса рыскала по Дагунохоблю, по полевым станам и кошарам, по балкам и перелескам, но не могла найти пастуха.

Рана Хатама оказалась легкой — пуля пробила мякоть, не задев костей плеча.

Когда увидел Хатам, что мертв Касей, испугался, как пугается человек, сотворивший смерть себе подобному. Испугался самой смерти. Смотрел в дуло пистолета, будто еще не верил, что мгновенным движением одного лишь пальца он выпустил отсюда неумолимую смерть.

Наконец очнулся Хатам. Прихватив с собою еды, кинулся в лес.

Может быть, час или два шел он лесом, едва приметными тропками — подальше от овчарни.

Когда кинулся от кошары, когда шел, обливаясь потом и задыхаясь, все повторял то про себя, то вслух:

— Прости меня, Касей, я не хотел...

...Вытер он рукавом со лба пот, прислонился спиной к грабу и почувствовал что-то неладное. Оглянулся и увидел — дерево, к которому он прислонился, было ранено, — из его ствола, наверно снарядным осколком, вырвало большой кусок. Посмотрел Хатам и печально улыбнулся:

— Э-э, и тебе досталось, но ничего, заживут наши раны.

И опять повторил:

— Прости, Касей, я не хотел...

И потом вдруг удивленно спросил:

— Разве не хотел?

Конечно, он всю жизнь только и делал, что принимал в свои ладони новую и новую жизнь. Принимал ягнят, кормил, пестовал их, лечил, лечил, если болели, и, случалось, отогревал теплом своего тела. Он любовался, как всходили хлеба, расцветали ромашки и колокольчики. Он любил рождение жизни, а смерть...

Но что было бы, если б не промахнулся Касей? Что было бы с этими деревьями, с полями и лугами, если б навсегда остались на родной земле фашисты, если б вечно правили аульчанами Хаджимос и Касей?

Что?

А как жили бы Зурет и Фаина? Да и он сам, Жечаго, Семен разве вынесли бы это рабство?

Разве Хатам не хотел смерти врагам Советской власти, врагам Родины. И жил он все это время в мире с Касеем

не только из жалости к нему, а потому что так велел Жечаго, так велело грозное время.

Рассудил таким образом Хатам, и его мучения по поводу того, что он убил в человеке жизнь, стали немного стихать. Немного. Он знал, что совсем из него эта печаль не уйдет.

Рану Хатам перевязал куском разорванной рубахи. Сначала рана его не беспокоила, а потом рука начала тягелеть и заболела. Он оторвал еще полоску от рубахи, завязал узлом на шее, подвесил руку. Полегче стало. Пить захотелось. Стал осматриваться и понял, что шел совсем не теми тропками, которые ведут к отряду Жечаго, шел совсем в другую сторону. Километров на пятнадцать отклонился. Пошел обратно, глядя на горы. Набрел наконец на ручей, напился, полежал на прохладном бережку и двинулся дальше. Еле брел, рука все сильнее болела, и ноги тяжелели...

Видишь ли, жалко ему было Касея.

А Сафера Нарынова не жалко, а тех партизан, которых убили, парней, что каждый день гибнут на фронте, не жалко?

Жалко.

Но Касея совсем по-другому жалко. Пропал человек, глупо умер. Жалко, что он сбился с дороги, запутался и погиб от пули, а мог бы стать отличным парнем. Все Хаджимос, все его кулацкая натура, ненависть ко всему советскому. Он давно толкал своего сына в пропасть.

Чего это вдруг расвирепел сегодня Касей? Он ведь так хорошо разговаривал с Хатамом, однажды рассказал даже о планах бургомистра... Наверно, тоже узнал об армии Паулюса, которая окружена под Сталинградом. Больше двадцати лучших фашистских дивизий обречены там на гибель. Советская Армия наступает на запад.

Под Москвой в прошлом году немцам хорошо дали, а под Сталинградом и вовсе. Скоро наши возьмут и Ростов. А возьмут наши Ростов, драпанут фашисты, а их прихвостням куда деться? Тут не только расвирепеешь, голову потеряешь.

Снег пошел. Давно ему пора лечь на землю, но он что-то запоздал, и вот сегодня, когда Хатам в лесу, пошел. Густой, пушистый.

Хатам стал искать место, где можно заночевать. Набрел на давно нехоженную тропинку, решил, что куда-нибудь она должна привести. Может быть, к лесной сторожке или к стогу сена на поляне. Но привела она его к землянке. Вход в нее зарос крапивой в рост человека. Дверь на ржавых петлях с трудом и пронзительным визгом открылась, из землянки ударило затхлым воздухом.

Посидел Хатам у раскрытой двери, дал землянке немного проветриться, а потом, пригнувшись, вошел. В землянке было не так сыро, как ему сперва показалось. У печурки лежала охапка дров, смолянка для разведения огня.

Кто же тут жил? Уж не Касей ли, когда дезертировал? Вот так штука, вот так судьба-злодейка, как только она не смеется над человеком.

Развел огонь, закурил, прилег на топчан и увидел в головах выглядывавшую из-под сена шапку.

Да это Касея треух! Один такой был во всем ауле. Вот так штука.

Не надо было оставаться в этой землянке, но делать нечего — снег валил и валил, ноги совсем у Хатама ослабли, и самого начинало знобить.

Бросил он в печку треух Касея, посмотрел, как его охватило жадное пламя... Вот и все, подумал, конец...

По землянке стало быстро распространяться приятное тепло и сморило Хатама. Закрыв глаза и уснул.

Утром осмотрел рану — кровь уже не сочилась. И рука вроде бы легче стала. Пожевал холодного мяса с лепешкой, выйдя из землянки, схватил снежку, как это делал когда-то в детстве, и пошел.

Похрустывал под ногами снежок, голубело вверху небо. Идти было намного легче, чем вчера. К обеду Хатам был уже в том ущелье, где расположился отряд Жечаго.

Снегу за ночь выпало почти по колено. Он лежал шапками на ветвях елок и пихт, укрыл дороги и тропы.

Пошел Хатам к валуну, от которого круто в горы начиналась тропа к партизанам. Снег здесь лежал нетронутым, будто печать, запрещающая двигаться дальше.

Затревожилось сердце, заныла рана. Может быть, отряд ушел в другое место, а может быть...

Долго стоял Хатам, прислушиваясь к тишине, всматриваясь в дальние и ближние вершины гор, надеясь уловить там хоть малейший признак присутствия человека. Все мертво. Что же делать? Возвращаться? Нельзя.

Хатам решил идти вперед, найти стоянку отряда, а там уж и подумать, что делать дальше. Может быть, даже там и остаться временно.

Побрел по глубокому снегу, не переставая до рези в глазах всматриваться в заснеженный лес, прислушиваться к сторожкой тишине.

— Стой, кто идет?! — раздалось откуда-то сверху.

— От дяди Гусарука! — хмелея от радости, выкрикнул пароль Хатам.

Сверху, из-за куста, занесенного снегом, на Хатама, можно сказать, свалились двое партизан. Один из них был Аскал:

— Хатам, родной ты наш, как я рад тебя видеть! — Как твоя рука? Мы все уже знаем.

Обрадовался и Хатам. Еще бы не обрадоваться!

— Чепуха, заживет, как на собаке. Здравствуйте, ребята. А где Жечаго, где Семен?

— Ждут тебя в лагере.

## 8

Когда привезли домой мертвого Касея, Лифаф, увидев его бледное лицо, кровь на синих губах, вскрикнула и потеряла сознание.

Два дня она лежала в бессмысленности. Доктор, которого Хаджимос пригласил из райцентра, опасался за здоровье Лифаф, боялся, что она не переживет нервного потрясения и умрет, не приходя в себя.

Выжила-таки Лифаф, но, как потом говорила, лучше бы ей умереть. Да и жить-то, зачем ей жить? Чтобы есть

да пить, чтобы смотреть, как на радость другим всходит солнце, расцветают цветы? Чего ждать? Смерти? Так лучше уж сразу. Зачем ей жить? Чтобы в каждом углу дома, на конюшне, на улице чудился ей Касей, его голос, чтобы виделся каждую ночь его упрекающий взгляд? Невмоготу было думать, что сын ушел из родительского дома, обиженный отцом, а вернулся домой мертвым. Да и она, Лифаф, дура, не посмела послушаться Хаджимоса и не разговаривала с Касеем, боялась повидаться с ним, чтобы не вызвать гнев мужа. Срам, срам и грех им с Хаджимосом великий. Не углядели сына, не уберегли единственную свою радость.

Плохо, совсем плохо было с Лифаф, словно бы умом она тронулась. В доме одна боялась оставаться, все ей чудился голос Касея, все он звал ее тихонько, просил прийти к себе.

Выходила она на улицу и сидела на скамейке, смотрела под ноги, раскачивалась под каким-то невидимым ветром. Стыли руки на морозе, стыли ноги, но она этого не замечала. Сидела, пока не появлялась сестра и не уводила ее в дом.

Кутас теперь почти все время бывала в доме Кагазевых. Боялась, как бы Лифаф не сделала над собою чего дурного. И по хозяйству управлялась, и еду готовила. Приходила днем, чтобы не встречаться с Хаджимосом, не разговаривать с ним, не видеть его, похожего на побитую, но еще злую собаку. Кажется, вот-вот тебя растерзает.

Как-то утром Кутас сказала:

— Ты давно уже ходишь нечесаная. Иди, я расчешу твои волосы.

Села Кутас на кровать Лифаф.

— Ты совсем побелела, сестра,— сказала, расчесывая жиденькие волосы Лифаф.

— А как мне не побелеть? Всю жизнь я провела в тревогах да в слезах. Всю жизнь Хаджимос помыкал мною как хотел.

— Правда твоя. Но и то правда, что сама ты дала ему волю. Ведь при Советской власти можно бы его и укоротить.

— Можно бы, да не сумела. Помню, первый раз я ему по какому-то пустяку возразила, он меня так отлупил, что я три дня на улицу не выходила. Потом попробовала еще раз возразить — еще хуже досталось. Бросить бы его надо, но разве в то время можно было об этом думать? Что ты! Почеши мне темечко, сестра, а тогда уж и себе-решь все в косицу. Аллах мой, Аллах, и зачем Ты послал поперек нашей дороги этого проклятого Хатама. Накажи его, согни в дугу, чтобы он не видел неба,— причитала Лифаф.

— Зря ты так. Зря для него просишь такой тяжелой кары. Ведь не Хатам пришел к Касею в дом, а наоборот, не Хатам хотел его убить, а он Хатама из-за своей неудачи с Зурет...

— Замолчи, Кутас,— застонала Лифаф,— ради Аллаха, замолчи. Так это или не так, никто не знает, а что пуля Хатама убила моего сына, знают все. Если полицияма удалось бы поймать трижды проклятого чабана, я велела бы его тело разрубить на куски и отдать собакам!

Закрыла глаза и вздрогнула Кутас, услышав слова сестры. Чуть не столкнула ее голову со своих коленей. Удержалась, потому что понимала боль материнского сердца. Только и прошептала:

— Аллах ему судья, а не мы с тобою.

Подули с северо-запада ветры и принесли буранную погоду. Переметало дороги, засыпало снегом дворы, так что утром с трудом открывали аульчане свои двери, брели, одолевая сугробы, к коровникам, к сараям за дровами.

А с востока ветер войны пригнал свои бури — огненные, шквалистые.

Светило иногда солнце, но не грело, и как раз в этот год была очень кстати народная поговорка — мол, не теплом, а кровью обливает землю солнце.

Еще не было слышно советских пушек и наступавших танков, но аульчане уже знали, что они грохочут, идут на запад, что недолго осталось ждать своих. Притих аул под перекрестным бураном. Только дымились трубы домов,

изредка пробежит кто-нибудь к речке за водой. И фашистов давненько не видно в Дагунохабле.

В тот памятный день из управы прискакал полицейский и сказал Хаджимосу, что ему надо немедленно явиться. Был полицейский какой-то всполошенный и растерянный. Хаджимос не стал ни о чем спрашивать, все понял. А Лифаф забеспокоилась:

— Что там такое случилось?.. Или ты не слышишь меня, Хаджимос? Я спрашиваю, что произошло, почему этот человек да и ты?..

— Потерпи, старуха, поеду узнаю, тогда уж и скажу. Сам ничего еще не знаю... Из дому пока не уходи. Жди меня.

Ускакал Хаджимос, и по тому, как он торопился, Лифаф и сама уж догадалась — большая беда идет в их дом, а может, и сама смерть.

Вскоре после того как ускакал Хаджимос, прибежала Кутас. Была она взволнованной, радостной:

— Ты слышала, Лифаф, немцы отступают! Бегут, поганцы!

— Чему же ты радуешься? Ждешь не дождешься нашей гибели?

Спохватилась Кутас:

— Конечно, кому радость, а кому... Да тебе-то, чего тебе бояться? Ты-то ни в каких грязных делах не замешана, а Хаджимос сам все затеял, сам пусть и отвечает перед Советской властью.

— Так упекут же его в Сибирь, а то и расстреляют. Слышно, расстреливают таких, как он.

— Что заслужил, то и получит,— сухо сказала Кутас. Заплакала Лифаф:

— Жалко его, мы столько лет вместе прожили. Муж он мне перед людьми и перед Аллахом.

На улице послышался гул. Он быстро нарастал.

Сестры выскочили во двор.

На проезжей дороге аула показалась колонна автомобилей, танков, двигались гражданские повозки.

— Вон они, хаджимосы других аулов едут. Бегут. Куда, кому они там нужны? — злорадствовала Кутас.

Лифаф раньше не доводилось видеть танков и таких громадных пушек.

— Да неужели же все это на человека? — Она молитвенно сложила руки.

Из переулка показался на коне Хаджимос. Женщины заторопились в дом. Хаджимос о важном деле не станет говорить на улице.

Зашли. Ждали-ждали, а Хаджимоса нет. Выглянула в окно Лифаф, выглянула в другое — нигде не видно Хаджимоса.

— Куда же запропастился старик? Только что был у двора. А-а, вон он. Чего он там мечется? Смотри, с кем-то разговаривает.

— Видно, расспрашивает, чем лучше пятки смазывать,— засмеялась Кутас.

— Перестань, сестра, как тебе не стыдно?

Вошел Хаджимос. Лица на нем не было — бледный, в глазах растерянность и ярость. Увидел Кутас, скривился в усмешке:

— Ну, что, красная трактористка, дождалась своего дня?

— А ты своей ночи? — ответила она ему едко.

Он замахнулся на нее плеткой, но почему-то вдруг опустил.

Кутас засмеялась:

— Чего же ты испугался? Ударь напоследок, дорогой зятек.

— Вон из дома моего, собака! — закричал Хаджимос и, схватившись за сердце, тяжело опустился на стул.

Лифаф замахала руками на Кутас, мол, перестань! Кутас отошла к окну:

— Жил бы ты здесь один, и на аркане меня сюда не затащили бы, но здесь моя родная сестра. Я и не подумаю спрашивать у тебя разрешения быть с нею.

Хаджимос поднялся, сделал вид, что не слышал последних слов Кутас, и сказал жене:

— Собирайся в дорогу. В дальнюю дорогу. Я пойду готовить телегу.

Советская Армия и партизаны гнали фашистов с Северного Кавказа. Из города через Дагунохабль врагам было две дороги. Долиной — это самый короткий путь — или, переправившись через речку, по шоссе, ведущему прямо в Ростов. По долине хорошо ездить только летом, в другие времена года там ни пройти и ни проехать. Лучше всего, конечно, переправиться через речку, а там — по шоссе. Но через речку здесь моста не было. Каждую весну быстрая река любой мост сносила, а в войну наводить мост заново никто не хотел.

Аскал, посланный со своим товарищем в разведку, рассказал в отряде, что фашисты сосредоточили у Дагунохабля несколько саперных рот и начали сооружать у водяной мельницы деревянный мост, для которого много леса забрали в колхозе, рубят и в лесу. И еще одну весть принес Аскал — перед уходом враги собираются взорвать мельницу.

Выслушал донесение Жечаго и задумался. Вступать в бой с немцами он не мог. Два десятка партизан против сотен фашистских солдат не пошлешь. О бое и думать не приходилось, хотя и Семен, и Аскал, и другие предлагали совершить внезапный налет.

— Нет, — сказал Жечаго, — наше оружие — хитрость. Как помешать им построить мост, я уже знаю, а как не позволить взорвать мельницу, надо всем нам хорошенько думать... Мельницу надо сохранить во что бы то ни стало. Придут наши — тут же соберем поспрятанное зерно. Знаете, как нужен хлеб фронту. С мостом поступим так. Воды в речке сейчас много. Километрах в семи повыше того места, где враг наводит мост, начнем и мы свое сооружение — деревья, которые над водой, подпилим, чтобы потом, когда это понадобится нам, можно было свалить их, остальную работу сделает сама река.

— Ну, здорово ты придумал, Жечаго! — рассмеялся Аскал. — Я видел однажды, как бревна, принесенные откуда-то рекой, прямо-таки срезали мост.

— В лагере остаются только Фаина с Владиком и Коротенко, все остальные пойдут со мной, — распорядился Жечаго. — Думаю, мы успеем в срок с немцами.

Два дня сооружали вражеские саперы мост.

Два дня подпиливали лес партизаны.

Наконец Аскал донес, что мост готов.

Валить лес решено было затемно, чтобы к утру деревья были на месте.

Когда бесшумно подплывшие ивы, вязы скопились у опор моста и стали потрескивать ветвями, немцы ничего толком не поняли. А деревья, гонимые могучим течением, все напирали и напирали на опоры. Наконец опоры не выдержали.

Прибежавшие по тревоге саперы увидели уже только остатки свай, торчавшие из воды.

Партизаны в это время сидели, затаившись, неподалеку от моста. Как потом говорил Жечаго, им никогда не доводилось слышать более приятной музыки, чем треск деревянных свай.

Часа три фашисты искали партизан в округе, стреляли для острстки.

Стихла стрельба, гасли огни в ауле.

Вражеские машины и танки разворачивались, уходили к шоссе.

Мельница была под угрозой, вот-вот ее могли взорвать, а Жечаго так ничего пока и не придумал. Решил действовать по принципу: посмотрим на месте. В аул захватил с собой Хатама и Аскала, а остальным партизанам приказал возвращаться в лагерь, ни в какие стычки с врагом не вступать.

— Думаю так: попробуем взять Хаджимоса, с ним проникнуть на мельницу, разобратсья во всем и действовать в зависимости от обстановки, — рассуждал Жечаго по дороге, — план крайне рискованный, но другого предложить не могу. Если есть другие предложения, давайте!

— Надо было всех ребят нам с собою брать, что мы сделаем втроем? — усомнился Аскал.

— Нет, — возразил Жечаго, — втроем мы тайком проникнем куда угодно, а вся наша ватага была бы только

помехой. В бой мы ввязываться не можем — людей у нас маловато. Хитрость — больше нам ничто не поможет.

Стояла полночь. В ауле темно. Только сквозь щели закрытых ставень дома Кагазежевых сочился свет.

Зашли партизаны со стороны огорода, тихонько подкрались к дому. Жечаго заглянул в щель — в комнате находилась одна Лифаф, складывала в мешок вяленые бараньи ребра. Хаджимоса не видно, значит, в управе. Спрятались за оградой, стали ждать Хаджимоса.

Наконец Хаджимос показался из-за угла. Как только он недалеко от дома перевел коня с рыси на шаг, все трое пошли наперерез.

— Эй, кто тут?! — тревожно спросил Хаджимос.

— Не шуми,— негромко, но властно сказал Хатам,— слезай с коня. И тихо!

Хатам стащил Хаджимоса с седла, Аскал выхватил из его кобуры пистолет.

— Что вы задумали? Что? — задыхаясь, старался вырваться Хаджимос.

— Ты узнал нас? — спросил Жечаго.

Хаджимос согласно закивал.

— Вот и хорошо. Что мы задумали, узнаешь позже, а сейчас идем с нами. И без шума, спокойно, а то ведь ты человек уже старый.

— Старый, слабый, правда твоя, Жечаго.

Огородами повели Хаджимоса к мельнице. Пока шли аулом, Хаджимос был вроде спокоен, а едва вышли на луг, перепугался. Шагал медленнее, заплетались ноги. Вдруг совсем остановился.

— Не могу... больше идти. Сердце... Аллахом прошу, скажите, куда вы меня ведете? Молоком ваших матерей заклинаю, именем детей ваших, пощадите меня. Послушай, Жечаго, я ведь не тронул твоего сына, жену, не донес на них, хотя знал, что ты партизан. Не делай мне плохого,— канючил Хаджимос.— Вы сейчас во гневе, сгоряча и прикончить можете.

— Судить и наказывать тебя будет Советская власть,— строго сказал Жечаго.— Передохни немного, и пойдешь с нами на мельницу.

Когда пришли наши войска, в Дагунохабле радости не было конца. И заснеженные поля, и дальние горы, и темневший на холмах лес, и дома в ауле, даже цвет неба стал иным. А о людях уж и говорить нечего — теперь они не говорили вполголоса, как при фашистах, не скрывались в сараях и на задворках. В колхозе сразу же взялись за работу — Жечаго собирал припрятанное при отступлении зерно мельнице, спасенной партизанами, хватало работы. Трактористки под руководством Кутас возились с тракторами, которые, уходя, покалечили немцы. Весной сорок третьего года пришлось начать пахоту на быках. Пустовала только овчарня. Не было в колхозе овец. Хатам пропал в кузнице.

Вернулась в аул Фаина с сыном. Зурет, как увидела ее у сельсовета, бросилась будто к любимой родной сестре. Обнялись они, как водится, всплакнули.

— Что ж мы тут стоим? Пойдем домой,— сказала Зурет,— без вас истосковался дом, а о себе я уж и не говорю. Думала: не дождусь вашего возвращения. Пойдем, Владик, пойдем, мой маленький.

Вернулась в Дагунохабль Советская власть, и Зурет теперь с нетерпением ждала писем от Аскера. На второй же день освобождения она послала ему письмо, но ответа на него пока не получила. Ладно бы просто ответа не было, могла и подождать Зурет, но ее беспокоила Гуца. Вдруг стала относиться к ней сдержанно и даже холодновато. Может быть, Гуца в глубине души не верила Зурет? Может быть, написала ему об истории с Касеем? Но ведь Гуца вроде тоже не получала ни одного письма.

Однажды вечером, придя с работы, Зурет возилась во дворе и, как всегда, поглядывала в ту сторону, откуда обычно показывалась почтальонша Фатима. Она шла по другой стороне улицы, а потом пересекла дорогу, направляясь к Нарыновым. Забилося, застучало сердце Зурет, выпустила она ведро из рук, побежала навстречу.

— Фаина дома?  
Зря билось сердце.  
— Нет, за водой пошла.  
— Счастливая, опять ей письмо от мужа. Передай, пожалуйста, поздравь с доброй вестью.  
— Спасибо. Передам,— взяла дрожащей рукой письмо Зурет, хотела закрыть калитку, но Фатима не уходила. Оглянулась по сторонам и шепнула:  
— Ты только не говори никому... Вчера я принесла Гуце письмо от Аскера.  
— Письмо? От Аскера? — почему-то испугалась Зурет.  
— Да, от Аскера. Очень хорошее письмо, я ей его читала.  
— А почему ты так говоришь, будто это тайна.  
— Гуца просила не рассказывать тебе... У него теперь другой адрес, я записала и, если хочешь, дам тебе.  
— Нет. Не надо. Если Гуце написал, значит, и мне напишет. Подожду... Что он пишет Гуце?  
— Пишет — жив-здоров, немцев гонит всюю. Спрашивает об ауле, об аульских новостях.  
— Спасибо, спасибо. До свиданья.  
Закрывает калитку Зурет и ушла в дом. Упала лицом в подушку и залилась слезами. Почему после смерти матери она не уехала к тетке, зачем осталась в Дагунохабле? Чтобы испытать все эти муки? Надо было уехать, забыть все — Аскера, родной аул.  
Не ответил Аскер, значит, он ей не верит. Как ему объяснить, что она приняла эти муки во имя любви к нему? Это в письме не напишешь.  
— Что с тобой, моя девочка? Ты плачешь? — встревожилась Фаина, входя к Зурет.  
— Да так... Тебе вот опять письмо... Поздравляю. И почтальонша Фатима просила поздравить.  
Фаина прочитала свое письмо.  
Муж писал, что ранен, лежит в госпитале, но скоро выпишется.  
Вечером следующего дня Кутас, Фаина и Зурет возвращались с элеватора, где готовили семена для сева.  
Вечер стоял теплый, и женщины сели отдохнуть под деревом у дороги.

— Посмотрите, девочки,— сказала Фаина,— как хорошо видна Ошхамахо. По вашим приметам будет хорошая погода?

— Да,— ответила Кутас,— целую неделю будет хорошая погода. Вот и сеять начнем.

— Сады зацветут, на лугу — ромашки,— как-то безучастно, будто самой себе сказала Зурет. Помолчала, а потом продолжила: — Но мне это ни к чему.

— Что ты говоришь, Зурет! — удивленно воскликнула Фаина.— Все твои радости еще впереди.

— Какие там радости. Для меня они кончились. Вы заметили, Гуца со мной почти не разговаривает. И Аскер... ей прислал письмо, а мне нет.

— Эй, не вешай нос,— вступила в разговор Кутас.— Молодец Аскер, что первой написал матери. Напишет и тебе.

Зурет вздохнула и с какой-то обреченностью сказала:

— Нет, не напишет... А Гуца напрасно не хочет со мною разговаривать, напрасно сердится, я ведь ни в чем не виновата. Чтобы сохранить верность Аскеру, я и придумала это... про Хатама. Если не верите, спросите у него.

— Э-ой, Зурет, ты думаешь, в тот вечер, когда Касей привез тебя в мой дом, я не догадывалась об этом? Ты правильно поступила. Если Аскер узнает об этом, на руках тебя будет носить за это. Не буду греха таить, скажу тебе правду, Зурет. Я сначала очень хотела, чтобы Касей женился на тебе. В твоё звено на работу стала ходить, думала уговорить тебя, улестить твоё сердце, а когда узнала, что Касей дезертир, решила — не быть этому, не стоит он тебя. Сейчас пойдём к Гуце и все ей хорошенько растолкуем, пусть она воды не мутит.

Зашли женщины к Гуце. Она выслушала жаркую речь Кутас, а потом спокойно ответила, спокойно, но твердо:

— Я не обижаюсь на Зурет. Но скажите, добрые люди, какой матери понравится невестка, о которой столько гадостей говорилось в ауле?.. Пусть не сердится на меня Зурет, но что бы мы ни делали, нам не унять грязной молвы, не смыть эту грязь ничем.

Воскресным утром Хатам проснулся поздно — весеннее солнце уже заглянуло в окошко его халупы, прогулялось по столу, соскользнуло на пол и потом поднялось на кровать, пощекотало щеки, глаза, пригрело большие губы, и они дрогнули...

...Две недели Хатам приходил в кузницу затемно и уходил, когда в распахнутую дверь вползала вечерняя темень. Работали они со стариком Надоковым, что называется, не разгибая спины — починяли плуги, бороны, ремонтировали сеялки — крестьян звало весеннее поле, а крестьяне торопили кузнецов.

Вчера старик сказал Хатаму:

— Нынче харчишки по кузнечной работе жидковаты. Поустал ты малость, но, слава Аллаху, главную работу мы уже сделали, и ты завтра можешь отдохнуть. Поспи хорошенько, а я тут сам покручусь.

— Кончится война, тогда и будем отдыхать,— неуверенно возразил Хатам.

— Ладно-ладно, отдохни денек, посвежее потом работать будешь.

Долго сегодня лежал в постели Хатам, не открывая глаз, долго нежился. Долго вспоминал, когда он так поздно поднимался с постели, и решил, что изредка такое случалось лишь в детстве, если отец, пожалев сладко спавшего мальчишку, один угонял отару.

Долго сегодня нежился в постели Хатам, но, как говорится, лежи не лежи, а все равно вставать надо. И он вскочил, выбежал, как бывало мальчишкой, во двор прямо в трусах, босиком. Вымылся у колодца до пояса. Быстренько побрился и стал одеваться.

...Когда награждали партизан орденами и медалями, полковник приколот к рубашке Хатама партизанскую медаль, а потом сказал своему заместителю:

— Эта старая рубашка не годится под такую славную медаль, выдайте бойцу доброе обмундирование.

И выдали Хатаму диагоналевые галифе, гимнастерку, хромовые сапоги и фуражку. От широкого офицерского

пояса он отказался, потому что ему отец подарил еще дедовский черкесский пояс с серебряным набором работы старинного мастера.

На гимнастерку рядом с орденом «Знак Почета» Хатам приколот партизанскую медаль и одевался в полувоенный костюм только по праздникам.

Оделся он в него и сегодня, хотя и праздника-то всего и было что воскресенье.

Прошелся по комнате, поскрипел сапогами, услышал, как тенькнула медаль, как прозвенел орден, и в него вселилось праздничное настроение.

На завтрак он решил сварить себе калмыцкого чая на молоке, с маслом и черным перцем, но когда стал затапливать печь, дым повалил в комнату.

Улыбнулся Хатам: пришло тепло — и печь не хотела гореть, словно бы выпроваживала своего хозяина в летнюю кухнешку.

«Ладно, обойдусь сегодня и без чаю, вон какая погода славная стоит».

И он впервые, может быть, за всю свою жизнь пошел на луг просто так безо всякого дела. Пошел прогуляться. Внизу недалеко от овчарни виднелось кладбище.

Хатам остановился у куста шиповника и смотрел туда, где за оградой, сложенной из плитняка, виднелись каменные столбики, увенчанные мусульманскими полумесяцами. Где-то там, в этом печальном каменном городе покоились его отец и мать.

На этом же кладбище был похоронен и Касей.

Хатам услышал терпкий, горьковато-сладкий запах зелени шиповника, хотел сорвать зеленый листочек, который только что проклюнулся из почки, но наткнулся на острую колючку, ощутил жгучую боль и увидел, как на его указательном пальце взбухла капля крови.

Он брел по лугу, приминая тяжелыми шагами молодую травку, цветы мать-и-мачехи. Думал, что вот у Касея, человека, предавшего свой народ, есть могила на родной земле, а где похоронен Сафер, где похоронены многие аульчаны, погибшие на фронте?

Вроде бы холодная могила и не имеет ничего общего с тем человеком, который жил на земле, работал, веселился,

а нельзя ему без могилы. Без нее, получается, будто прожил он свой век безродным сиротою.

Сел Хатам под ольхою у ручейка Псенаф. Так называли люди этот ручеек потому, что хоть осенью, хоть весною, хоть в самую слякотную погоду вода в нем была светла и прозрачна. Аульчане если кого хотели похвалить за искренность, чистоту нрава, говорили о нем, мол, он чист и добр, как наш Псенаф.

Бежал ручеек мимо старой вербы, между молоденьких осинок, прыгал с камня на камень, и то вызванивал деревьям, лугу шаловливую песенку, то бормотал, а то и мурлыкал. У дома Нарыновых он впадал в речку, и, если вода в ней была мутной, он разливался светлым полукружием, высвечивал синие камни и желтый песок на дне речки.

У дома Нарыновых впадал в речку Псенаф.

Зурет вся извелась, потому что не было писем от Аскера. Прислал он одно матери и опять ничего не писал, молчал. А война такая штука — утром солдат написал домой письмо, а к обеду его и в живых уже нет.

Нахмурился Хатам. Встал.

Почему он пришел сюда? Зачем?

И понял — он истосковался по своему главному делу: он должен водить овец, лучше его никто в колхозе этого делать не умеет, а в кузнице махать молотом найдутся и другие, любой крепкий мужчина может стать молотобойцем.

Последние недели две Хатама донимала какая-то неясная тревога, будто он делал что-то не так, что-то нехорошее, и вот сейчас он понял, чем тревожился. А Жечаго хоть и мудрый человек, но, должно быть, закружился в большом, почти начисто разоренном хозяйстве и забыл о Хатаме.

Надо идти к Жечаго, надо организовывать овцеферму, решил чабан и зашагал в правление колхоза.

Вошел он в кабинет председателя, и тот удивленно вскинул на него свои мохнатые брови, насторожился: почему это Хатам в праздничном костюме, почему так сердито смотрит?

Не успел Жечаго ничего спросить. Хатам, решительно наступая на каблуки своих скрипучих сапог, подошел вплотную к столу и спросил:

— Ты что хочешь, чтобы я совсем прокоптился в этой чертовой кузне? Ты забыл, кто я такой? Железо пусть кует Надоков, он любит его, а мне!..

— Эй, не шуми так. Что случилось?

— Буду шуметь. Солдатам на фронте один хлеб нужен, да? А разве кусок баранины им лишний будет? А хорошие сапоги, а теплые носки? А?

— Садись и объясни, какая тебя муха укусила.

— Люди воюют, умирают на фронте, а я бездельничаю, машу молотом, вместо того, чтобы водить овец, кормить мясом солдат...

Жечаго вышел из-за стола, взял Хатама за плечи и силой усадил на стул:

— Да разве ж я против фермы? Но где мы возьмем овец?

— Где?! Надо ехать на Ставрополье, покупать овец в колхозах, у хозяев. Если хочешь, я наворую ягнят для своей фермы!..

— Э-э-э, понесло тебя. Тормози! И дай мне хоть одно слово сказать. Нам сейчас нужно сеять хлеб, а у нас не хватает лошадей, придется пахать на коровах. Надо доставать сортовые семена. И плуги, которые ты сейчас ремонтируешь, нам нужнее всего. Вот отсеемся и...

— Тогда будет поздно, мы потеряем целый год.

— Но, Хатам, я ничего другого тебе предложить не могу.

— Не можешь?! Тогда я поеду в райком, дойду до самого Ужибова.

Хатам решительно встал, чтобы уйти, и, когда обернулся, увидел Зурет, сидевшую тут же в кабинете.

Она смотрела на него во все глаза, она откровенно улыбалась ему, хотя и залилась краской застенчивости.

— Добрый день, Зурет, — сказал растерявшийся Хатам. Он тоже покраснел и почти выбежал из кабинета.

— Ты не знаешь, Зурет, что произошло с нашим другом?

Она пожала плечами, покраснела еще больше и едва слышно сказала:

— Он стал каким-то другим человеком, он...

— Правду ты сказала — стал другим. Мы-то знали его как нелюдя. И он был нелюдем, потому что с детства жил один, а сейчас, когда побыл в партизанском отряде, пожил среди нас, пробудился от своего тягостного сна одиночества. А ты видела, как ему идет военная форма? Просто орел!

Зурет согласно кивала головой.

Утром следующего дня Жечаго поехал в райцентр — надо было добывать хомуты, колеса для телег и многое другое.

Зашел он в кабинет первого секретаря райкома партии и остановился поодаль от стола, ждал, когда Ужибов увидит его и пригласит сесть.

Поседел, изрядно постарел Хазрет за два года войны. Полгода он пробыл в горах, руководил партизанскими группами района. Не только руководил, но и сам участвовал в налетах на фашистские транспорты, собственноручно взорвал мост. Хазрету еще не было и пятидесяти, а он выглядел на все шестьдесят. Трудно ему достались два года войны, да и теперь, когда война откатилась на запад, — трудновато. Все хозяйство района разрушено, нет необходимых материалов для строительства, нет запасных частей к тракторам, комбайнам...

— Ты долго будешь молчать? — спросил Хазрет, не поднимая седой головы.

— Но ты, я вижу, занят.

— Оттого, что ты будешь торчать у меня в кабинете до утра, дел у меня не убавится. Давай говори.

— А что говорить, все равно ты скажешь — нет.

— Если знаешь это, зачем пришел?

— Деваться некуда, вот и пришел. И, наверно, приму твой совет, буду торчать в твоём кабинете до утра, до следующего вечера, хоть три дня сряду, а все-таки выпрошу у тебя несколько хомутов и с десяток колес для телег.

Вошла секретарша:

— Там чабан какой-то. Прямо отбиться от него не могу — рвется сюда. Говорит, с Ужибовым партизанили вместе...

— Это Хатам, — усмехнувшись, сказал Жечаго. — Ох и упрямый же человек.

— Если Хатам-молчун рвется сюда, значит, неспроста. Пусть войдет.

— Он был молчуном, а сейчас...

Вошел Хатам. Увидел Жечаго и немного растерялся, но тут же нашелся:

— Хорошо, председатель, что мы пришли сюда вместе, легче уговорить будет Хазрета.

— Давненько я тебя не видел, дорогой. Вроде бы даже соскучился немного, — сказал Ужибов. — Спасибо, что пришел. Садись, и начинайте уговаривать.

— Некогда сидеть, Хазрет, у всех дел много, нечего нам рассиживаться. Мы с Жечаго решили в колхозе восстанавливать овцеферму.

Переглянулись Хазрет с Жечаго, улыбнулись.

— А мне председатель ничего об этом не говорил.

На их улыбки Хатам тоже ответил лукавой улыбкой:

— Председатель стесняется тебя, потому мы и пришли вдвоем.

— Та-ак, застенчивым стал Жечаго. Хорошее дело вы затеяли, но все-таки садись, нельзя важные дела решать на ходу. Та-а-ак. Ферму, значит. А где овец возьмете? — подмигнув Жечаго, сказал Хазрет.

Присел на краешек стула Хатам, снял фуражку с лаковым козырьком, погладил бритую голову.

— Мне сказали, у тебя, Хазрет, есть хороший друг в Ставропольском крайкоме.

— А ты что, собираешь сведения, с кем я дружу?

— Э-э, не друзья мне твои нужны, а тонкорунные ягнята, ярки.

Рассмеялись Хазрет и Жечаго. Хатам сначала растерялся, а потом и сам стал весело смеяться.

— Вчера этот партизан-чабан вот так же ворвался ко мне, — заговорил Жечаго, — схватил, можно сказать, за горло: давай ему ягнят, давай ферму, и все тут. Каких ягнят, говорю, хлеб надо сеять, самим жрать нечего будет,

а не то что ягнят. Отсеемся, тогда и поговорим — так я ему сказал.

Вскочил Хатам:

— А если бы Касей застрелил меня, ты не смог бы сеять, да? Сей себе на здоровье, а я поеду в Ставрополь. И на ферме мне ничего не надо — сам отремонтирую баз, кошару. Пиши, Хазрет, записку, давайте деньги, если не хотите, чтобы я воровал ягнят.

Хазрет положил руки на плечи Хатаму, благодарно посмотрел ему в глаза:

— Напишу записку, позвоню сейчас другу. Найдем деньги. И даже сам Жечаго поедет с тобой по этому очень важному делу. Поедет. Думаю, три-четыре дня колхоз продержится без своего председателя, не развалится и сеять будет, а если развалится, придется другого председателя искать.

Обсудив все хорошенько с Ужибовым, заручившись письмом в Ставрополь, Жечаго и Хатам собрались уходить.

Хазрет спросил у Хатама:

— Мне говорили, ты еще в отряде собирался вступать в партию. Или передумал?

— Передумал, — твердо ответил Хатам.

Хазрет с недоумением взглянул на Хатама, на Жечаго, а чабан между тем продолжил:

— Пока передумал. Понимаешь, Устав надо хорошо изучать, Программу, а я читаю... не очень. Да и если вступлю в партию, надо будет ходить на собрания, на заседания, делать разные партийные дела. Не могу. Разведу овец, отремонтирую ферму, тогда уж...

Обнял Хазрет за плечи Хатама:

— Спасибо тебе. Ты и сейчас уже коммунист. Слышишь, Жечаго, если бы все вот так рассуждали, нам с тобой совсем легко было бы работать.

Достал секретарь райкома из сейфа Устав партии и Программу:

— Бери, чабан, читай, готовься не торопясь. А ты, Жечаго, помоги ему хорошенько разобраться во всех теоретических вопросах. До свиданья, друзья.

— Э, нет, — сказал Жечаго, — я не уйду, пока ты не дашь мне хотя бы пару хомутов и штук восемь колес.

— Ладно, даю!

В тот же день Жечаго с Хатамом были в Ставропольском крайкоме партии. Приняли их очень хорошо, по-братски.

— Завтра переговорим с председателями колхозов, думаю, добудем ягнят.

Жечаго с Хатамом привезли в Дагунохавль не только ягнят, но и взрослых овец — закупили их по пятку, по десятку в колхозах. Там же удалось им добыть хомуты. В свою очередь, Жечаго обещал степным колхозам помочь лесом. Добро за добро.

Хатам постарался, отобрал самых хороших ягнят и добрых племенных маток. Радовался Хатам, будто золотой клад нашел. Наконец-то снова в руках у него ярлыга. Кузнец Надоков говорил, что и у железа есть душа. Наверно, он говорил правду, потому что больше всего любил кузницу. Но Хатам так и не почувствовал душу в железе, сколько ни старался. А ягнята, казалось ему, без него и не вырастут...

Вывел Хатам свою небольшую отару на луг, как до войны бывало. Та же ярлыга в руках, тот же волкодав Мишид, который снова невесть откуда прибежал в овчарню. И луг тот же, и лес, и аул, и далекие горы со снежными вершинами, и добрая гора Ошхамахо.

Оперся, как и раньше, на ярлыгу Хатам и пристально вглядывался в крыши знакомых домов. Вот дом Аскала, Кутас, вот дом Нарыновых, а рядом дом Гуцы.

Нехорошо ведет себя Гуца по отношению к Зурет. Ни с того ни с сего поверила сплетням. Может, это от старости? Говорил с нею Хатам, объяснял, что такую невесткой, как Зурет, Гуца должна гордиться. Ничего не помогло. Уперлась, и баста. Хоть кол на голове теши.

Вчера Хатам написал письмо Аскеру. Взял и рассказал в письме все эти неприятности с Зурет, просил, чтобы Аскер мягко объяснил Гуце, что к чему. Может быть, хоть этот подействует на старуху.

Но почему все-таки Зурет тогда назвала его, Хатама, а не Аскера?

И похолодел Хатам от мысли, которая ему вдруг пришла в голову: а вдруг Зурет... Нет, такого быть не может, разве он ей пара?

### 3

После того как на пятнадцать лет осудили Хаджимоса, Лифаф и Кутас стали ближе друг другу, будто бы вернулись в далекое время, когда жили в родительском доме, под одной крышей. Только теперь у каждой из них была за плечами нелегкая жизнь, годы бурь и страданий.

Грустно, а то и тоскливо жили сестры. Правда, Кутас еще надеялась на возвращение бывшего мужа, ждала от него весточки. А Лифаф все больше молчала. Даже Кутас не знала, что занимает мысли ее старшей сестры.

— Зря вы с Фаиной ходили к Гуце, зря уговаривали. Зурет — срамная девчонка. Такая беда свалилась на нас из-за нее, а ты еще дружишь с ней... Из-за нее погиб мой сын, весь аул нас из-за нее ненавидит, — сказала однажды Лифаф.

— Помолчала бы уж, сестра. Кагазежевы столько горя принесли аулу. Не сердись, сестра, просто вы получили то, что заслужили.

— Если так, — бледнея, злилась Лифаф, — мы им ответим тем же.

— Бедная моя сестра, — с сожалением покачивала головой Кутас, — у тебя нет для людей ничего, кроме злобы, но когда ты говоришь «мы», прошу, Лифаф, не причисляй меня к себе. Да и что ты можешь сделать? Кому тебе мстить, если ты сама во всем виновата. И прошу тебя, не оговаривай Зурет, ей еще жить и жить, а ты уже прожила свое. Молись, проси покоя Касею на том свете, проси у Аллаха прощения за свои грехи.

— Что же я плохого сделала за свою жизнь? Не воровала, не развратничала, — не отступалась Лифаф.

— Когда человек умирает, люди говорят не о том, что плохого он сделал на земле, а что хорошее осталось после него людям. Что ты им оставишь? Думай об этом и молись.

И сестры надолго замолкали.

— А твой пишет тебе? — спрашивала Лифаф, стараясь смягчить сестру.

— Пишет. На днях получила письмецо. Воюет. Трудно ему. Как и всем трудно. Пишет, по аулу соскучился. Встретила его младшего братишку. Он был так добр ко мне. Все улыбался, улыбался и рассказывал, какой хороший у него брат. Неспроста это, ой, неспроста.

— Конечно, лучшей невестки, чем ты, им не найти. Да и он по тебе скучает. Любил, любил он тебя, — вздыхала Лифаф и снова надолго замолкала.

Не летали в небе вражеские самолеты. Не гремели взрывы.

В райцентре, на станции уже сняли бумажные кресты с оконных стекол, а по ночам спокойно зажигали свет.

О войне теперь в ауле напоминали только письма солдат, похоронки да газеты и радио.

Зурет все это время жила и радовалась: Аскер прислал ей письмо вскоре после того, как получила Гуца. Правду сказала тогда Фаина — не забыл Аскер свою Зурет.

Писал Аскер, что у него все в порядке, фашистов Советская Армия гонит и будет гнать до самого Берлина. На боевом счету Аскера — семь сбитых вражеских самолетов.

Написала ему Зурет в ответном письме, что ждет и будет ждать, как и обещала, когда расставались. Все подробно написала о Касее, о своем поступке и о том, что сторонится ее Гуца. О Гуце написала мягко, чтобы не обидеть Аскера.

Отослала письмо Зурет и стала ждать ответа уже на другой день.

Но прошел один день, прошла неделя, месяц прошел, а письма от Аскера не было.

Не получила ни одного письма от сына и Гуца.

Сегодня весь день Зурет работала на элеваторе. Крутила веялку. Почему так долго нет письма от Аскера? Может быть, его часть перебросили на новое место? Но месяц слишком большой срок, и ее одолевали тяжелые мысли. Не поехать ли Зурет прямо к Аскеру? Трудно его найти по номеру полевой почты, но можно. Она поедет в райвоенкомат или в Майкоп, а то и в Краснодар, и там разузнает, как к нему добраться, где искать. Смущало одно, придет к нему и что скажет?

Подняла голову Зурет и встретилась взглядом с Гуцой, которая с другими женщинами работала рядом. Хотелось поговорить с Гуцой, посоветоваться. Но как начать, если Гуца смотрит на нее исподлобья. Да и не знала Зурет, что ответит на ее письмо Аскер. А вдруг и он, как Гуца, отвернется...

Может, посоветоваться с Жечаго? Да неудобно девушке говорить об этом с мужчиной. Скорее всего она поговорит обо всем этом с Фаиной, которая должна знать, как разыскать часть, где служит Аскер, к кому обратиться. Денег у Зурет немного есть. А еще можно продать праздничные туфли и шелковое платье.

Что она скажет Аскеру? Нечего тут раздумывать. Будь что будет.

Он должен понять ее и оценить, как говорила Кутас, ведь она для него все это сделала. А если не поймет, Зурет больше не вернется в аул. Устроится в какой-нибудь госпиталь санитаркой.

Опять подняла голову Зурет и опять встретилась взглядом с Гуцой.

Плохо и у Гуцы на душе. Почему так долго нет весточки от сына? Что ему написала Зурет? Наверно, высказала Аскеру свою обиду, и он рассердился на мать. Возможно. Вспомнилась Гуце и мать Зурет, покойница Фиж. Разве об этом думали подруги, когда были молодыми, когда ждали своих суженых, когда потом растили детишек? Как хорошо дружили Нарыновы и Данашевы, а теперь вот получается, будто Гуца танцует на могиле своей подруги.

— Эй, посторонись, тетя Гуца! — предостерегающе крикнул кудлатый мальчуган, въезжавший на подводе за зерном.

Посторонилась. Мельком еще раз взглянула на Зурет. Болью зашлось ее сердце: бедная девочка, вон как она исстрадалась. Побледнела, похудела, а в красивых глазах столько печали.

Подошла старая Гуца к Зурет:

— Приходи ко мне как-нибудь вечером. Посидели бы, поговорили... Зайдешь?

Зарделась, залилась краской Зурет, опустила глаза:

— Зайду... Сегодня и зайду.

— Вот и хорошо, а то совсем ты заскучала, затосковала. Хоть и с Фаиной вместе заходи.

Не знали ни Зурет, ни Гуца, что в сельсовете уже лежала еще одна похоронка.

#### 4

Разве есть слова, которыми можно бы выразить боль и страдания матери, потерявшей единственного сына? Ничего у нее не осталось в жизни, кроме мучительного ожидания смерти в одиночестве.

Гуца потеряла самое дорогое, и Зурет потеряла самое дорогое.

Когда Зурет прочитала похоронку, у нее потемнело в глазах. Ни одной слезины не уронила — окаменела от боли. Приходили аульчане к Гуце выразить свое соболезнование, а Зурет сидела и смотрела на всех до того спокойно и равнодушно, что Гуца начала было на нее обижаться, — может, Зурет и не любила Аскера?

— Нет, Гуца, нет, — объясняла Кутас, — ей просто очень плохо, я боюсь за нее. Ты видишь, она будто не в себе. Боюсь, как бы она не слегла. Если б она поплакала, было бы легче...

Недели две Фаина и Кутас не оставляли ни на минуту Зурет одну, не отходили от нее и на работе, и дома. Высохла за эти две недели Зурет. Просто не верилось, говорила Фаина, что она еще может ходить на работу.

Что ж, беда бедой, а жизнь жизнью. Для того солнце и всходит каждое утро, чтобы залечивать раны людям.

Постепенно вернулась к жизни Зурет. Появился аппетит. Стала хорошо спать после многих бессонных ночей.

Как-то в воскресенье, затемно, Зурет пешком отправилась с Фаиной на базар в станицу, сменять отруби, немного кукурузной крупы на соль и мыло.

Ночь была ясной. На небе ни облачка — только звезды, яркие крупные звезды.

Смотрела Зурет на небо, словно чувствовала живое тепло Млечного Пути, и думала — не может быть, что Аскер всего этого не видит. Не может, и все тут...

Жив он, сказала себе Зурет, глядя на звездное небо.

Еще не прошли они с Фаиной половины пути, а Зурет уже очень устала.

— Фаина, давай немного отдохнем, а то у меня уже ноги подкашиваются и плечи ноют.

— Не надо было так много брать отрубей, я же тебе говорила, — заметила Фаина, опуская свой мешок на землю.

— Я ведь и тяжелее носила, думала...

— Думала. Слабенькая ты еще, поправишься, тогда и потяжелее поднимешь.

Одна за другой скатились и погасли две звездочки. Немного погода — еще одна.

— Говорят, звезда сгорела — человек умер, — грустно сказала Зурет.

— Говорят. Сколько людей сейчас убивают на фронте, звезды дождем сыпаться должны. На небе теперь бы черным-черно было.

— А все равно, когда падает и сгорает звездочка, так тоскливо на душе. Правда?

— Правда... Отдохнула? Подожди, я помогу тебе поднять мешок на плечи.

Тронулись они в путь, размеренно шагая с мешками. Размеренно и неторопливо потекли мысли Зурет. Вспомнила, что давно не видела Хатама. Как вернулся он с партизанами, зашел к ней один раз, с тех пор и не видела. Только Владик, как раньше, бегаёт к нему на овчарню почти каждый день.

Немного обидно стало Зурет. Получается вроде, что и Хатам сторонится ее, но если не он, то кто же защитит ее от грязных сплетен? Решила, если сегодня или завтра не придет Хатам, сама пойдет к нему. К кому же ей еще идти? Не знает Зурет человека добрее и честнее. Называл он ее сестрой, теперь уж она точно ему сестра. Такая же, как он, одинокая. Всю жизнь сидит он на своей овчарне, будто прикованный, а ведь он еще молодой, мог бы жениться. Непонятно, почему не женится он... Любая девушка пошла бы за него, такой он добрый. И всегда опрятен, чисто выбрит. Не хуже других мужчин.

...Да, беда бедой, а жизнь жизнью.

## 5

Отец Гуцы говаривал — не хозяин тот, у кого нет во дворе своего скота. До войны держала Гуца корову, несколько овец, а сейчас ничего не было. Ушел в училище Аскер, и ей одной не хватало сил ухаживать за скотиной. Осталось семь штук кур да три индюшки.

Всю жизнь она прожила в заботах, а теперь вот по вечерам делать нечего, и кажутся они пустыми и нудными.

Выйдет на улицу, сядет на лавочку — все полечче. Видно, как управляют скотину аульчане, как поднимаются дымки над домами.

А Гуца почти ничего не готовит теперь, потому что и за стол садиться одной — тоскливо. А лавочку у плетня еще Аскер делал. Палец, помнится, молотком зашиб, когда забивал гвоздь, она тогда чуть не заплакала — так жалко было мальчика. И плетень этот плел Аскер. Вчетвером они тогда плели — Сафер, Зурет, Касей...

Встанет Гуца, пройдетя вдоль плетня, потрогает его руками — чуть потеплее на сердце, и снова зайдется оно болью.

Где Аскер погиб, где его могила? Кто закрыл ему глаза перед смертью? Лифаф — та хоть может издали взглянуть на могилу Касея, пусть и умер он недостойно. А ей, Гуце, как пережить все это, где взять силы дотянуть свой век?.. Сафера тоже нет, но Фиж повезло — умерла, ни минуты не мучилась без сына. Повезло? Да нет, какое уж

тут везенье. Была бы жива Фиж, не случилось бы этой беды с Зурет, мать не допустила бы до этого. Надо, надо бы Фиж довести до ума дочь, а там уж и на покой. Редко теперь к Гуце заглядывает Зурет, а ей так хочется приласкать, пожалеть девочку. Что ж, Гуца не в обиде на нее, сама, старая дура, заслужила. Ах, беда, беда, где ты ходила, где бродила, как ты во двор Данашевых забрела? Забрела — да и заблудилась, не можешь найти выхода...

Если со стороны взглянуть, не все так уж плохо у Гуцы. Заходят к ней посидеть пожилые люди, заходят глубокие старики ободрить. Спрашивают, не надо ли чем помочь? И помогают — привезли осоки и покрыли обветшавшую крышу. Жечаго тоже заходит. Давал подводу, чтобы дров привезли, на базар съездить...

Потухла заря. Как почерневшие дрова в печи лежали облака над горизонтом. Стало темнеть. С гор потянуло свежим ветерком.

У соседского плетня показался кто-то. Пригляделась Гуца и узнала Лифаф. Как постарела она. Наказала судьба всех Кагазежевых, а ведь как гарцевали на конях. Нет Касея, Хаджимос в тюрьме, осталась в ответе за них перед людьми эта высохшая старушка.

— Здравствуй, Гуца.

— Здравствуй, Лифаф. Я тебя не узнала, похоже, богатой будешь.

Засмеялась дребезжащим, старческим смехом Лифаф:

— Все мое богатство прахом да дымом сошло... Иду ночевать к Кутас, да не знаю, пришла ли она с работы?

— Давно пришла.

Присела Лифаф рядом с Гуцой.

Долго они молчали, а потом Лифаф, тяжело вздохнув, сказала:

— Вот так, Гуца, кто знал, что на старости лет останемся мы с тобою бобылками, жалкими старухами. Были у нас сыновья — и нет их у нас. А какие хорошие были ребята.

Вздохнула и Гуца:

— Верно, одни остались. Захворает, некому и кружки воды подать... Прости меня, Лифаф, но своего Касея с моим Аскером ты не равняй, не поминай их вместе.

— Это почему же? — обиделась Лифаф.

— Касей твой, как ни крути, был с немцами, а мой сын погиб за Родину.

— Э, Гуца, что ты? Мы с тобою обе несчастные матери.

— Верно, мы несчастные матери, в этом мы с тобою сестры... Но Касея с моим Аскером ты не равняй, если сошлись бы их тропинки, то Касей твой мог бы и убить моего Аскера.

— Аскер твой тоже мог убить моего Касея.

— Не-е-ет, Лифаф. Если б убил Аскер Касея, то это было бы лишь наказанием за предательство. Ты меня не запутаешь.

Вытерла слезы Лифаф, встала:

— Пойду я... А все ж о покойнике нельзя говорить плохо. Похоже, твой сын с золотой звездой родился во лбу, а мой... несчастный он.

— Не в звезде дело. Мой сын, когда смерть занесла над ним свою косу, не закричал «мама», а умер достойно...

Пошла Лифаф, придерживаясь за плетень, пошатываясь.

Появились первые звезды со стороны востока — крупные, немигающие. Аскер любил рассказывать матери о звездах. Он говорил, будто там далеко есть тоже такие же земли, как наша, что там, наверно, живут разумные существа. «Может быть, это и есть тот мир, куда переселяются души умерших?» — подумала Гуца. Значит, она еще встретится с Аскером? И вдруг ей показалось, что она встретится с ним еще здесь, в Дагунохабле. Эта мысль стала крепнуть в ней и не давала покоя. Гуца, уходя в дом, вслух сказала:

— Увижусь я с ним. Увижусь.

## 6

Шла весна сорок четвертого года.

Уже никто не сомневался в нашей победе, но впереди еще было много кровопролитных боев — обреченный на смерть враг сопротивлялся яростно и безумно.

Больше года не было никаких вестей от Аскера, а Зурет все ждала его, называла себя солдаткой, конечно не говоря этого никому, даже Фаине.

Сегодня утром Зурет распахнула окошко, улыбнулась только что взшедшему солнцу, белому облачку, торопливо бежавшему по небу, и услышала скрип старого коромысла Гуцы. Накинула платок на голову и вышла за ворота:

— Доброе утро, Гуца. Давай ведра, я сбегаяю за водой.

— Тебе в поле пора, а я и сама потихоньку схожу,— отказывалась Гуца, хотя ей были и приятны слова девушки.

— Успею и на работу. Давай-давай ведра.

Вскинула коромысло на свое плечо и пошла к речке. Залюбовалась ее походкой Гуца, гибким станом Зурет. Залюбовалась и запечалилась — какая женщина не печалится, глядя на свое давно ушедшее, думая о своей былой молодости.

Фаина услышала разговор и тоже вышла за ворота:

— Как здоровье, Гуца?

— Сегодня немного лучше. Видишь, даже за водой сама собралась, да Зурет не пустила.— Опустилась на лавочку Гуца.— Садись, Фаина, посидим немного... Ноги меня донимают, так крутят, так крутят, такие судороги бывают, хоть криком кричи.

«Сколько сил у этой женщины,— подумала Фаина,— при немцах ни одного дня не была на работе, что ни делал Хаджимос. И орал на нее, бранил последними словами, и в амбар сажал, грозился отвезти в район и отдать под суд за саботаж. Ничего не испугалась Гуца, не сломилась, а сейчас вон как постарела — это смерть Аскера так сильно ее подкосила».

— Потерпи,— успокаивала старую женщину Фаина,— кончится война, поедешь в Пятигорск, вылечат там твои ноги целебной грязью. Еще поработаешь, порадуешься.

Гуца удрученно покачала головой:

— Я уже свое отработала.

— Не говори так. Еще придет к тебе радость, попомни мое слово. Ты песок греешь, паришь в нем ноги, как я тебе говорила?

— Хатам целый воз привез желтого песку. И где только нашел такой чистый да светлый. Парю, когда совсем невтерпеж, но... Дай бог здоровья твоему сыну. На днях забегал ко мне. Такой ласковый, прямо светится весь добротой. Порадовал старуху. Водички принес, дровишек нарубил и все щебетал, щебетал. У меня даже ноги перестало крутить, забылась, видно, боль от радости такой. Дай бог ему здоровья и счастья всяческого.

— На добрых харчах вашего колхоза растет мальчишка хорошо, да уж очень озорной,— сказала Фаина, хотя Владик и вовсе не был озорным, сказала для приличия.

— Не наговаривай зря на мальчика. Если бы у всех были такие дети. А на прошлой неделе заходил, намолол кукурузы. На целый месяц мне хватит. Слышала я, будто ты собираешься уезжать от нас...

...Как пошли советские войска от Сталинграда на запад, каждый день по радио передавали об освобождении советских сел, городов. А вот недавно сообщили об освобождении родного города Фаины. Никому Фаина не говорила, что собирается уезжать домой, только подумала об этом, а люди уже говорят, видно, в ее глазах заметили, видно, почувствовали тоску и радость ее сердца...

— Не знаю даже, как ответить тебе. Родина есть родина, самое красивое место на земле, самое желанное.

— Правда, правда, но все мы так привыкли к тебе, Владика полюбили. Долго будем скучать по вас. Только ты нас не забывай, тебе будет жить на земле душевнее и нам тоже. А вот и Зурет с ведрами. Заходи, Фаина, всегда рада видеть тебя.

Ушла Гуца с Зурет, а Фаина вернулась в дом.

Надо, надо ей возвращаться на родную Украину. Кончатся весенние работы, и укатят они с Владиком. Она бы и сейчас уехала, пешком бы ушла, да нельзя: надо помочь колхозу посеять яровые, ведь она хорошая трактористка и многое сделать может.

Домой, домой.

А что там дома? Пепелища?..

Пепелища. Потому-то и надо туда поторапливаться, там тоже руки трактористки ой как нужны.

Домой, домой.

Думала, не дождется, когда посеет кукурузу на последнем загоне, казалось, что день тот тянулся, может, двадцать, а может, сто часов. А тут еще Владик — он ездил с нею на тракторе, нетерпеливо смотрел ей в глаза и после каждой ездки спрашивал:

— Уже конец, уже едем домой?

Провожать в дальнюю дорогу Фаину и Владика вышел почти весь аул. На подводе, запряженной парой лошадей, за Фаиной приехал Хатам. Он все погрузил, упаковал хорошенько и направил подводу к сельсовету, где ждали их аульчане, ждал Жечаго.

— Дорогая Фаина, — сказал он громко, чтобы все слышали, — два года ты прожила с нами, в самое трудное время для нас, для всей страны. Мы старались, чтобы тебе было хорошо у нас, мы хотели по нашим древним обычаям относиться к тебе как к гостье, а ты хотела быть и стала нашей доброй сестрой, одной из лучших работниц нашего района, и я по поручению райкома партии и райисполкома вручаю тебе Почетную грамоту. Если бы ты была сельской жительницей, мы дали бы тебе коня, но решили, что лучше подарить тебе мешок муки, дать жиров, круп. Большое тебе спасибо за твой труд и за доброе сердце. Если будет трудно, пиши, поможем и словом, и делом, помни, что в маленьком Дагунохабле живут твои большие и верные друзья. Провожая тебя домой, мы как бы отправляем в славный путь нашу победу над проклятыми фашистами.

Женщины вытирали слезы и кланялись Фаине. Она тоже плакала, прощально помахивая белым платочком.

Хатам правил подводой, а Кутас и Зурет поехали провожать свою подругу до самой станции.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Отзвенела весна сорок четвертого года, отшумело страдное лето, пришла дождливая осень — за все это время Хатам, может быть, раза три был в ауле, не больше. То

возился с матками, то принимал окоты, а потом не знал ни дня ни ночи покоя с малыми ягнятами. Летом пас почти удвоившуюся отару и заготавливал в зиму сено, выбирая для своих племенных маток и ярочек самые лучшие травы. Скосил, высушил, сложил в хороший стог. Работал не покладая рук, от темна до темна, чаще всего один, и лишь иногда Жечаго присылал ему в помощь подростков. Не забыл он и себя — запас достаточно на зиму дров. В холода калил докрасна новую чугунную печку, слушал, как завывали ветры в трубе, как они насвистывали в колючих, голых ветках старой акации затейливые песенки.

С той поры как проводили на станции Фаину, Хатам не видел Зурет ни разу.

Ругала его Гуца, что он не заглядывает к Зурет:

— Нехорошо, ой, нехорошо. Совсем одна осталась девочка. Я, больная, старая, ей ни к чему. Да и ходить мне трудно. Фаины нету — одна Кутас. Так она все на работе, на работе. Зря не проведаешь девочку лишний раз, стыдно.

Выл, выл ветер сегодня, стучала ветвями в окно старая акация, словно озябла и просилась в дом погреться.

Когда был загружен работой Хатам, то, бывало, не успеет головой коснуться подушки, как тут же засыпает. Спал беспробудно, крепко до самого утра, а вот сейчас, когда стало посвободнее, пуховая подушка, подаренная Гуцой, кажется жесткой. Болела от нее шея, болела голова, потому что Хатам подолгу не мог уснуть. Донимала его какая-то тревога — раньше он никогда ее не знал. Ныло и ныло сердце, словно бы предчувствуя что-то недоброе. А что? Он не мог понять.

Лежал он и сегодня с открытыми глазами, сплетая и расплетая разные мысли, и вдруг ему почудился какой-то подозрительный шум в кошаре. Накинул на плечи полушубок, вышел на баз.

Лил проливной дождь.

Из будки выбежал волкодав, прижался к ногам хозяина. Хатам прислушался. Только шумел дождь да гудел ветер, посвистывал лихо. Погладил собаку:

— Иди, Мишид, иди спи. Это я так. Пойду погляжу на овец и спать. Иди.

Старый пес за долгие годы хорошо научился понимать своего хозяина, но на этот раз так и не понял, чем обеспокоен тот, почему ночью бродит по базу, когда вроде бы все спокойно, все тихо, только и поспать в самый раз. Взвизгнул Мишид и побрел в будку.

Заглянул Хатам в овчарню и вернулся в дом. Осторожно ступая, чтобы не задеть приболевших ягнят, добрался в потемках до кровати.

Совсем не хотелось спать. Встал Хатам, решил затопить печь — огонь самый лучший собеседник. Заплясали языки пламени в открытой дверце печки, загудел огонь в трубе.

Ягнята проснулись, подняли головы. Им-то чего не спится? Сыты, в тепле. Спали бы себе под песни ветра. Самый маленький белый ягненок подошел, ткнулся в руку Хатаму мокрым носом, дескать, а ты чего не спишь, что это ты выдумал среди ночи разводиться огонь? В доме-то и так тепло.

Хатам погладил его, почесал за ухом. Ягненок положил мордочку на колено Хатаму, закрыл глазенки и затих, задремал стоя.

Э, братец, подумал Хатам, тебе, наверно, тоскливо без мамки... А как же я один, можно сказать, всю жизнь? И печку топлю, и стираю, и еду готовлю, и радуюсь, и тоскую — один-одинешенек... Кутас все мне толкует о женитьбе. Говорит, пора семьей обзаводиться. Конечно, пора, но как к этому подступить? С чего начать?..

Заснул Хатам далеко за полночь, а проснулся, по обыкновению, с рассветом. Выглянул в окно и зажмурился — ярко-белой была вся земля.

Умылся он, оделся и вышел на баз, выпустив впереди себя ягнят. Те ткнулись носами в белый и холодный снег, зажмурились от яркого света, оторопели и вдруг дали стрекача, взбивая копытцами белый снег, заблеяли весело и приветно.

Посветлело на душе и у Хатама.

Тихонько напевая, наложил в кормушки душистого сена, налил в поилки теплой воды и потом выпустил из кошары на баз овец.

Солнце вышло из-за леса, и еще веселее стало на земле.

Поднимались дымки над белыми крышами домов в ауле и таяли в небе. Серебрился, блестел снег на ветвях деревьев.

Вернулся Хатам в комнатку, достал из сундука рубашку, сшитую Фаиной, партизанский треух со звездочкой, хромовые сапоги. Побрился, переоделся и зашагал в аул. Направился к дому Данашевых. Решил — проведает Гуцу и повстречает Зурет.

## 2

К Зурет ходила по вечерам дочь соседки. С месяц ходила по вечерам, а вчера встретила и сказала, что ей ходить к Зурет запретили.

Пришла домой Зурет, упала на подушку и долго плакала: прошло больше года с того проклятого дня, а сплетни так и вьются вокруг Зурет, не утихают.

Выплакала в подушку свою боль, наплакалась всласть Зурет и уснула. Проспала часа два и проснулась в хорошем настроении — вроде и забылась обида. Занялась уборкой в доме и опять, в который раз вспомнилось ей утро, когда выпал первый снег в этом году.

...Хатам пришел в то утро к Гуце. Зурет в окошко видела, как он появился во дворе — необычный какой-то, взволнованный и торжественный. Зурет почему-то тоже вдруг заволновалась. Ей показалось, что вот-вот должно произойти что-то необыкновенное, и оно зависело от Хатама. А он все медлил и медлил. Как-то странно смотрел на нее, вгонял своим взглядом в краску.

Потом она увидела его в окно, когда он вышел колоть дрова.

Без шапки, в одной рубашке, он со звоном раскалывал сухие поленья березы. Работал споро и красиво. До того красиво, что Зурет не могла оторвать от него глаз. И хорошо, что Гуца лежала спиной к окну, а то непременно заметила бы, как Зурет разглядывала Хатама...

Вспомнила Зурет то утро и, как и тогда, зарделась румянцем. Конечно, надо бы Хатаму жениться, да разве есть женщина или девушка, достойная его доброты?..

Показалось, постучали в дверь. Прислушалась. Стук повторился. Кто бы это? Может быть, Хатам?

Испуг и какая-то непонятная радость охватили Зурет.

Накинула платок, вышла в сени:

— Кто там?

— Я. Открывай,— послышался взволнованный голос Кутас.

Что еще случилось?

Открыла Зурет дверь, и вместе с Кутас в сени ворвался снежный вихрь.

— Проходи. Чего это ты? Случилось что?

Кутас отряхнула с пальто снег, обмахнула веником ноги, платок вытряхнула и только потом вошла в комнату.

— Садись к печке. Озябла ты. И рассказывай, что за беда тебя пригнала сюда в такую погоду.

— Не беда пригнала, а бабья дурость,— проговорила Кутас, протягивая озябшие руки над горячей плитой.— Ты же слышала, мой вернулся с войны. Из госпиталя. Письма писал какие хорошие, а сам вот вернулся и носа не кажет. Э-э, все мужики такие.

— Не сердись на него. Ведь на войне был, приехал домой, дай ему хоть отдышаться. У него родственники — всех их надо навестить, всем внимание оказать. Столько ты его ждала, подожди еще денек. Завтра или послезавтра прибежит. Если бы у меня... я бы десять лет ждала.

— Я все глаза проплакала, слез уж нету, а он...

— Перестань ты, перестань. Вот увидишь, придет. И духи принесет — «Красная Москва».

Грустно засмеялась Кутас.

— Говорят, у него вся грудь в орденах. Вот только ранен. Правое колено не разгибается. Осколком снаряда задело. Ты же знаешь, Зурет, ему я даже в мыслях не изменила, но очень боюсь, как бы чего не наплели. Мужчин сейчас мало, а завистливых баб много, такого наговорят.

— Нет, нет! Он хороший, я знаю это по его письмам к тебе. В конце концов пойду да и выложу ему все.

— Спасибо. Может быть, и так обойдется.

Они просидели до полуночи, за разговорами не заметили, как пролетело время. Наконец улеглись в постели, погасили свет. Долго молчали, думали уснуть, а сон все не шел.

— Ты спишь? — наконец не выдержала Кутас.

— Нет.

— Я тоже. Жаль, что уехала Фаина, она сшила бы мне красивое платье. И у меня, хоть на самом доньшке, еще осталась «Красная Москва». Одеться бы в красивое платье, побрызгаться духами и зайти к нему в дом. Неужели не обрадовался бы? Как ты думаешь?

Зурет не ответила.

— Спит бедная девочка.

Но Зурет не спала — думала о Хатаме.

### 3

В ауле долго говорили о том, как на красивой линейке приехал в Дагунохавль муж Кутас и увез ее к себе, в соседний аул. Все были рады этому событию — и женщины и старики. Да и как тут не радоваться? Не все люди умеют исправлять свои ошибки добром да согласием.

Пришла как-то старушка-соседка к Гуце — она каждый день навещала ее — и принесла хорошую новость:

— Люди приехали из аула, говорят, очень хорошо приняли Кутас родственники мужа. Что ж, к доброму человеку и отнеслись по-доброму. Видишь, Гуца, кто же думал, что у Кутас все так складно получится, а получилось. Я и тебе говорю — не теряй надежды, может, и вернется к тебе твой сын. Щедрость Аллаха безгранична.

— Нет, соседка, видно, не дождаться мне сына, не увидеть его ясных глаз,— вздохнула Гуца.

— Не говори так, Гуца, все в воле Аллаха... А что это у тебя духами пахнет, сестра?

— Да так, решила комнату немного освежить.

Посидела и ушла соседка.

Проводила ее Гуца и опять вздохнула. Соврала она ей насчет духов. Не освежала комнату Гуца, это заходила

надушенная Зурет. Как она похорошела. И глаза повеселели. Не обижалась на нее за это Гуца. А чего обижаться, ведь Зурет еще совсем молодая, ей надо думать о будущем. Сколько лет она ждала Аскера, словно жена его законная и верная, а теперь... Если уж и сама Гуца почти не надеется, то Зурет, как говорится, и сам Аллах велел.

Не сердилась Гуца на Зурет, а все же, когда почувствовала запах духов, увидела ее веселые глаза, расстроилась, думала, не справится со своим больным сердцем, разорвется оно от тоски.

Под вечер пришла к Гуце почтальонша. Замерла Гуца — уж не от Аскера ли принесли весточку? Нет. Фаина прислала письмо.

Почтальонша прочитала его Гуце. Фаина писала о том, что живется ей трудно. Город разрушен, и жить ей приходится в подвале, пока отремонтируют их дом. Спрашивала о всех своих знакомых из Дагунохабля и прислала Гуце рецепт растирания для больных ног. А еще писала, что очень скучает по аулу, по всем своим знакомым, и как только выдастся возможность, обязательно приедет в гости. Спрашивала, как дела у Кутас, не вернулся ли ее муж...

Гуце захотелось спросить у почтальонши, не пишет ли Зурет кто-нибудь из мужчин, но она не решилась — нехорошо это. Спросила только, пишет ли и ей Фаина?

— Не одна Фаина пишет ей, — ответила почтальонша, — тетка тоже часто шлет письма, зовет к себе жить.

Почтальонша ушла. Подосадовала Гуца — хотела ее угостить конфетами, которые ей вчера принес Хатам. В такое трудное время это большая редкость, а он достал где-то в городе, искал для больной Гуцы. Спасибо ему, добрый он человек.

#### 4

Что-то неладное творилось с Хатамом в последнее время — он все чаще с тоской по вечерам глядел на аул. То в кино сходить хочется, то тянет на вечеринки с парнями. До того одному тошно, что на овец даже глядеть не

хочется. Нарочно стал пасти отару поближе к дороге, чтобы чаще встречаться с людьми. Кто на работу идет, кто с работы...

Сегодня он тоже был с отарой неподалеку от дороги. Ждал.

Показалась женщина. Кажется, это Зурет. О чем бы с ней заговорить? Причину найти какую? Спросить о здоровье Гуцы и не получала ли она письма от Фаины?

Приободрился и пошел навстречу:

— Здравствуй, Зурет, что это ты сегодня на работу идешь с опозданием? Или проспала?

— Дела были в правлении. Пока зашла туда, а подводы уехали.

— Как там Гуца? — спросил он и вдруг покраснел от неловкости, от того, что они вдвоем вот здесь, в поле.

— Плохо Гуце, — ответила Зурет. — Проклятая болезнь совсем ее замучила... Я пойду... Нехорошо, мы в поле... Одни. Вон люди идут. Пошла я.

И Хатам пошел от дороги. Сделал самокрутку и с жадностью затянулся.

Заметил и Хатам, как похорошела, раздобрела Зурет. Нет во взгляде прежней тоски, глаза живым огнем светятся. И надушена, и одета она вроде бы не для работы — празднично. Для кого она наряжается, для кого духами прыскается? Надо бы разузнать у Аскала. Сегодня же. Сейчас.

— Эй, Мишид! Заворачивай отару! Сюда, сюда! Скорее, скорее!

Заторопил, заторопил Хатам отару к тракторной бригаде. Сейчас он все выяснит, все узнает.

У Хатама в кармане лежала шелковая косынка, купленная на базаре для Зурет. Думал подарить ей при случае, сделать приятное, а теперь эта косынка словно жгла его. Хотел ее выбросить, да решил сначала все хорошенько разузнать у Аскала.

Волкодав торопил отару, покусывал за задние ноги отстающих овец. Выбрасывая вперед ярлыгу, широко шагал Хатам.

Эй, одернул себя Хатам, Зурет ведь уже не работает в тракторной бригаде. Откуда Аскалу знать о делах Зурет?

Он степенный семейный человек, на вечеринки не ходит... Как вернулся из госпиталя — дома да на работе.

Может быть, пойти к Гуце? Может быть, она что-нибудь знает? А Кутас? Э, если бы жила в Дагунохабле Кутас, она все до тонкости знала бы.

— Мишид! Подожди-ка, пусть пасутся, не трогай их. Здесь хорошая травка.

Устыдился своей горячности Хатам — куда, зачем погнал он овец, какое им дело до Зурет, до шелковой косынки? Да и ему, Хатаму, какое дело, для кого засветились вдруг ее красивые глаза?

«Куда ты лезешь, чабан? — сказал он себе. — Не для тебя эта девушка».

Дрожащими от волнения пальцами Хатам сделал еще одну самокрутку и стал снова жадно затягиваться, чтобы чуть-чуть поостыть, успокоиться.

## 5

В один из весенних дней Зурет работала на прополке кукурузы. Вскоре после утреннего чая она услышала какой-то странный, радостный гул. Он доносился со стороны полевого стана и все нарастал. Зурет прислушалась и наконец поняла, что это кричат люди. Только крик был такой сильный, будто на стане собрались люди всей планеты.

Наконец она их увидела. Они бежали мимо, радостные и скорбные, они смеялись и плакали. Старики и старухи отставали от молодых — задыхались, падали на пашню, поднимались и бежали снова...

Зурет почувствовала, поняла: конец страшной войне. Опустилась на землю и заплакала. Крупные горячие ее слезы падали на черные комья земли и, казалось, прожигали их насквозь.

Гул людских голосов все нарастал и нарастал — это со всех концов бескрайнего кукурузного поля к полемому стану стекались хлебобобы. Они обнимались, целовались, плакали, смеялись и кричали. Залилась гармоника, на все

свои голоса пела, плакала и кричала, будто живая. Сторож палил из двустволки.

А Зурет все не могла подняться, не могла успокоиться — рыдала.

Кто-то тронул ее за плечо:

— Пойдем туда, к людям. Пойдем. Не у тебя одной горе. Нет такого дома в ауле, куда бы не заглянула война. Но теперь конец всему — и надо радоваться. Понимаешь, радоваться, что больше не убивают наших детей, мужей. Пойдем.

Женщина помогла подняться Зурет. И они побрели между рядов молоденькой, зеленой кукурузы...

После митинга, который открыл Жечаго на полевым стане, Зурет пошла к Гуце.

К кому же еще ей идти? Может быть, там окажется и Хатам? Его тоже хотела бы видеть Зурет. Ну да, Гуца и Хатам только и остались у нее в этом ауле.

Жечаго? Да, хороший он человек, душевный, но у него целый колхоз на руках.

Только два родных человека есть у Зурет — это Хатам и Гуца. Вот что наделала эта война, будь она проклята.

Гуца стара и больна. Пусть живет до ста лет, но с ее здоровьем... Останется один Хатам.

Шла Зурет к Гуце и не знала, как будет себя вести с нею, как посмотрит в ее глаза.

Гуца встретила ее приветливо:

— А-а, девочка моя пришла. Проходи, садись ко мне поближе... Вот так. Спасибо, что зашла, скучаю я по тебе.

— Гуца, война кончилась, — тихо сказала Зурет. Гуца долго, долго молчала.

— А кто это так хорошо играет на гармонике? — наконец спросила она.

— Не знаю.

— И девушки недавно так весело пели. Сколько лет я такого не слышала. — Гуца взяла руку Зурет и стала ласково гладить ее. — Гуляют люди, веселятся, а мы с тобою остались одни...

Обняла Зурет Гуцу, вздохнула.

— Я все равно буду ждать Аскера,— снова заговорила Гуца, и по щекам ее потекли слезы.— Вернется он или нет, все равно буду ждать, мне больше нечего делать на этом свете.

— Тогда мы будем ждать его вместе,— грустно улыбнулась Зурет.

— Нет, тебе ни к чему это. Женская красота, как плохая краска, быстро линяет, а красивой девушке нужна семья и дети. Иди, Зурет, иди на улицу, погуляй вместе со всеми. А я посплю, устала я.— Гуца с трудом перевернулась на другой бок, легла лицом к стене и затихла.

## 6

— Подожди хоть немного! — раздался за спиной Зурет голос Кутас.— Ну и ходишь же ты быстро. От самого твоего дома иду следом и вот только-только догнала. Да хорошо еще, хоть ты фигуристая, походка у тебя красивая, полюбоваться есть чем.

— Соскучилась я по тебе, Кутас. Иной раз так бывало плохо, что поднялась бы и полетела к тебе. Хоть бы наговорились.

— Да и пришла бы сама, так нет и нет. Загордилась,— пошутила Кутас.

— Ну, как ты там поживаешь? Гляжу, поправилась, посвежела и повеселела.

— Живу, не жалею. Грех жаловаться. Он меня жалеет. Хороший он, хороший, не зря его ждала. В народе правильно говорят — счастлив тот, кто умеет ждать. А как тут ваши трактористы? Соскучилась я уже по всем девчатам, по Аскалу, по своему старому трактору. Побывать бы мне у вас на полевом стане, наварить хорошего супу...

Спыхватилась Кутас, увидела тоску в глазах Зурет и подумала о себе с укором: разболталась, расхвасталась, правду говорят, что счастливый несчастному не товарищ.

— А чего это ты молчишь, Зурет? Как твои дела?

— Все так же. Работаю. Дома по ручке веялки тоскую, а на току не знаю, куда от нее сбежать.

— Не об этом я. Как относятся к тебе фронтовики, пропахшие порохом? Не сватаются?

— Не до них мне...

— Дурачьё! Такую девчонку упускают. Я бы на их месте не дала тебе покоя.

— Да уж покоя они и в самом деле не дают.

Зурет вспомнился вечер на свадьбе у соседей, куда ее пригласили. Не надо бы ей туда ходить, но нельзя не пойти, неприлично, это значит оскорбить соседей... Пока танцевали одни девушки, все шло хорошо, а когда начались общие танцы, парни обходили ее. Зурет сделала вид, будто ничего не замечает, но вот девчонки стали шушукаться, а потом и откровенно посмеиваться, поглядывая на Зурет. Она хотела уйти домой, но тут как раз подошел к ней лихой парень — Балов Болет, от Болета несло самогоном, он покачивался. Надо бы отказать ему, но как это сделать? Как? Отказать — значит опозорить парня, он девушке этого никогда не простит. Правда, как бы ни был пьян Болет, танцевал отменно... Сначала девчонки похихикивали, а когда Болет разошелся и показал себя, когда все увидели, как плавно танцевала Зурет, все умолкли. С того вечера Болет каждый день искал встречи с Зурет. Случалось, на ток, где она работала, Болет привозил по два, по три раза воду, хотя бочка и без того была полной.

Вспомнилось это, и Зурет нахмурилась, слезы обиды навернулись на глаза.

— Не обращай на них внимания,— стала утешать подругу Кутас.— Ты же знаешь, какие есть противные парни. Все у тебя будет хорошо, держи повыше голову и не горюй.

— Я тоже так думаю, но это не всегда получается. Трудно.

— Конечно, трудно, но у тебя другого выхода нет. Падающему помогает упасть, а взлетающему — взлететь.

— Пойдем с нами в поле, Кутас, знаешь как все обрадуются,— вдруг попросила Зурет: ей так захотелось подольше побыть вместе с Кутас.

Поняла ее Кутас, грустно улыбнулась:

— Я бы и сама рада-радешенька пойти, да некогда, мне ведь тоже сегодня на работу. Пока нашла председателя сельсовета, пока все оформили с ним...

— А что ты оформляешь?

— Дом-то мне теперь в Дагунохабле ни к чему, а к вам врач приезжает, негде ему жить — пусть живет в моем доме, не жалко. Только вот с Лифаф мы из-за этого поссорились: кричала, не пушу бесплатно в отцовский дом. Ой, какой же скрягой она под старость стала, просто сил нет. Всему Хаджимос ее успел научить. Ну, до свиданья, Зурет, пора мне идти.

Вроде бы попрощалась Кутас, но не уходила — пытливо поглядывала на Зурет, ждала.

— До свиданья.

— Значит, подруга моя больше мне не доверяет? — наконец проговорила Кутас с обидой.

— Почему ты так думаешь? — обиделась и Зурет.

— Да уж знаю. Жду-жду, когда скажешь о Балове Болете, а ты молчишь. Таишь от меня.

— Не говори мне о нем, прошу тебя. И ничего я от тебя не скрываю. Лучше в петлю головой, чем с ним...

— Вот это верно. Танцор да болтун и первый бездельник. Остерегайся его.

— Не знаю, как отвязаться от него.

— На людях отчитай его как-нибудь, сразу отвяжется.

— Да неудобно как-то.

— Чего уж неудобного! Раз хам, то и с ним надо по-хамски. И другим это будет хорошая наука. Ты уже взрослая, Зурет, и я скажу тебе прямо. В народе говорят, что глазу приятно, то и душе мило. Одна тебе нужна папаха, ее и ищи, выбирай, жди, но и других не гони, обнадеживай шуточками да намеками.

— Ой, что ты говоришь, Кутас! Разве же можно так?! Зачем же обманывать?

— Да разве это обман? Девушка должна выбрать достойнейшего, а сразу как его отличишь?..

— Нет, нет. Я люблю одного, буду любить его вечно и никому не стану кружить голову.

— Хорошие твои слова, моя девочка, да с ними жить плохо,— махнула рукой Кутас.

Обнялись подруги на прощанье и разошлись.

Зурет пошла на ток. Крутила веялку, смотрела, как сливались в сплошной круг крылья в барабане, и думала о словах, которые она сказала Кутас.

Когда говорила их, совершенно не сомневалась в своей правоте, а сейчас все казалось не так. Зурет сказала, что любит одного и будет его вечно любить. Но если Аскер не вернется?.. Теперь уж ясно, что он не вернется. Как ей быть? Значит, надо выбрать другого? Жизнь-то на земле продолжается...

Как быть, как жить ей дальше? Не находила ответа Зурет.

## 7

Все лето Зурет жила в ожидании радостной вести. Если бы у нее спросили, какой радостной вести она ждала, почему, кто обнадежил ее, Зурет, наверно, только пожалала бы плечами. Точнее сказать, она ждала Аскера, но не того, который учился с нею в одной школе, которого провожала в училище, а просто Аскера как свою судьбу. Причем судьбу добрую и неизбежную.

Гуца как-то сказала Зурет, что ей ничего не остается, только ждать возвращения своего сына, вернется он или не вернется, это уже другое дело, она будет ждать, потому что ей больше нечего делать на белом свете.

— А еще говорят, будто ожидание матери воскрешает сына.

— Тогда мы будем его ждать вместе,— грустно улыбнувшись, сказала Зурет.

— Нет, не надо. Женская красота, как плохая краска,— быстро линяет, а женщина без красоты — это горькие слезы. Я говорю тебе эти слова, потому что люблю тебя и желаю всяческого добра. Иди и постарайся больше не спотыкаться, и так уж очень много было камней на твоей дороге.

Сегодня Гуца смогла подняться с постели и выйти на улицу, чтобы посидеть на лавочке у калитки. Теплые дни подняли ее, сухая погода. Сидела она в теплых ноговицах, укутанная пуховым платком, и улыбалась уходящему лету.

Еще убирали поля, днем было знойно, но по вечерам осень уже спускалась с гор. У ног Гуцы прохаживался старый петух со шпорами. Несмотря на старость, ходил он все еще важно, на кур поглядывал свысока и строго.

Достала Гуца из кармана горсть семечек, бросила петуху, но он не тронул их, а стал сзывать кур. Сбежались куры на зов хозяина, а он взлетел на плетень и басовито закураекал, глядя па улицу.

— Совсем из ума выжил, — с укором сказала Гуца петуху, — чего кричишь на улицу? Сначала во двор надо кричать, на счастье хозяйке, а уж потом звать гостей... Что-то долго не идет обедать Хатам. Суп стынет, и жареный сыр простаивает. Наверно, некогда.

Прикрыла глаза Гуца и будто вздремнула немного. С тех пор как перешел к ней жить Хатам, отошла душой, да вот и телом поправляется. Все-таки мужчина в доме.

А что такое счастье для него? Красивая, любящая жена, дети.

Пора бы ему жениться.

И тревожно вдруг стало на душе у Гуцы от этой мысли: если он женится, уйдет в свой дом, тогда ей, Гуце, опять одной век доживать.

И Гуце сейчас есть о ком позаботиться, и ей Хатам помогает, приглядывает за хозяйством. Спасибо Хатаму, пошли ему Аллах счастье.

Но как знать, может быть, он и не уйдет? Пусть здесь живет с женой. Разве у Гуцы плохой дом? И на хорошем месте стоит.

— Валлахи, жарю сегодня какая, — сказал, подходя, Хатам. Снял папаху и сел на лавочку рядом с Гуцой.

— А я уж заждалась тебя. Такой суп вкусный получился, и сыру нажарила. Соседка принесла кружочек. Пойдем, накормлю. Проголодался ты на работе.

Взял Хатам Гуцу под локоть и повел тихонько в дом. Мельком взглянул на дом Нарыновых. Не утерпел, чтобы не взглянуть, хотя знал, что Зурет на работе.

Закрыты в доме ставни. Высокая старая груша у порога уже пожелтела — осень.

Недоволен Хатам Зурет: только заговорит с нею, она становится рассеянной, вроде бы и вовсе не слушает его. Неужели ей непонятно, почему он стал так часто заговаривать с нею? А может, понимает и потому так и ведет себя? Тогда дело плохо. Раньше Хатам ходил один к ней домой, встречался на людях, и она ничего ему не говорила, а теперь вот в поле сказала: «Люди идут, стыдно вот так стоять вдвоем». Ведь неспроста это? И Касею про него сказала, а не про кого-нибудь другого. Тоже неспроста. Конечно, любила Зурет Аскера, но ведь его не вернешь. Если был бы жив, разве Хатам посмел бы думать о Зурет? Скорее бы земля раскололась на части... Но ведь Аскера-то нет. Гуца тоже говорила Зурет, чтобы та не ждала больше ее сына и выходила замуж.

— Что же ты стоишь на пороге, Хатам? — окликнула его Гуца. — О чем ты задумался?

— Так... ни о чем.

Сел за стол, ел нехотя, не давала покоя ему Зурет.

Правильно жена Жечаго Мамырхан говорила ему, что с женщинами надо быть понастойчивей, потому что любят они, чтобы их добивались, а не походя прихватывали. А однажды Мамырхан прямо спросила Хатама, мол, почему бы ему не жениться на Зурет, ведь она такая чудесная девушка и тоже сирота, похоже, сама судьба их сводит. Не зря ведь все это говорила Мамырхан? Конечно, не зря. Люди-то, они все видят...

Решил Хатам сегодня же отдать шелковую косынку Зурет. Отдаст, а там уж будь что будет. Не убьет же она его в конце концов. Сейчас придет Зурет с работы — и он к ней на порог. Благо причина есть. Гуца ему как-то сказала: «У Зурет груши переставают, помог бы ей убрать их».

Сегодня же надо пойти. Другого такого случая не будет.

Дождался часа. Пошел.

Зурет встретила его приветливо. Часа за два они сняли груши. Самые крупные, душистые Зурет отобрала для Гуцы, положила в ведро. Наконец решился Хатам, достал из кармана шелковую косынку.

— Возьми,— словно кого-то пугаясь, проговорил он, протягивая косынку Зурет.

— Что это? — в недоумении спросила она.

— Для тебя купил. Давно купил, все не решался...

Оставил Хатам косынку в руках у Зурет и, забыв ведро с грушами, почти выбежал со двора.

## 8

Конечно, Зурет понимала что к чему, хотя и виду не подала. Давно Зурет заметила, что неравнодушен к ней Хатам. С весны прошлого года заметила. Потому и стала сторониться Хатама. Не хотелось давать ему надежду, а вот как все получилось. Молчал, молчал, теперь сунул косынку и убежал. Зурет ничего и не успела ему сказать. Если бы не убежал, она могла бы повернуть все это на другую дорожку: сказала бы, мол, спасибо, надеюсь, ты подарил мне эту косынку как друг моего брата и Аскера... Не успела сказать. Что же теперь делать?

Косынка жгла ей руку. Зурет положила ее на ведро с грушами. Надумала — отнесет груши, а с ними отдаст и косынку, будто ничего не произошло.

И опять получалось, что она, Зурет, во всем виновата. Надо бы еще прошлой весной сказать Хатаму... объяснить, что он ей как старший брат, которого уважает.

Взяла ведро и, холодея от страха, пошла к Данашевым. Шла и больше всего боялась, чтобы не встретился ей на улице Хатам.

Не встретился.

Зашла в дом, поздоровалась с Гуцой, справилась о ее здоровье.

— Груш вот принесла тебе. Хорошие, спелые,— еле слышно проговорила Зурет и почувствовала, как бросило ее в жар. Хорошо, Гуца ничего этого не заметила.

— Хатам, наверное, ушел на работу? — снова тихо спросила Зурет.

— Ушел...— ответила Гуца.— Сказал, что опаздывает на ферму. Ах, этот негодный Хатам, никак не бережет свое здоровье. Груш-то он хоть у тебя взял?

— Нет... Торопился.

Гуца поднялась с постели, выбрала десяток груш поспелее, достала кусок курицы, лепешку. Завернула все это в полотенце:

— Занеси ему, пожалуйста, а то ведь до утра будет ходить голодным.

Если бы Зурет знала, что все обернется таким образом, она сказала бы, что накормила Хатама... А что теперь делать? Отказать Гуце никак нельзя, ни в коем случае.

Взяла сверток и пошла.

Не помнила, как дошла до фермы. Ныло сердце в какой-то неясной тревоге.

Остановилась у плетня — на базу никого, в кошаре тоже овец не слышно. Может, еще не пришли? Вот и хорошо. Занесет еду, положит вместе с косынкой на стол Хатаму и уйдет. Так будет лучше.

Открыла дверь в комнатушку и остолбенела. За столом сидел Хатам.

Прошла Зурет к столу, положила сверток.

— Это Гуца прислала,— нахмурившись, сказала она.— Почему ты еду не берешь, когда уходишь на работу? Гуца обижается.

— Я... так, забываю. А что? Приду утром — позавтракаю. Садись, Зурет, гостьей будешь.

Не села Зурет. Ушла.

Но косынку забыла отдать Хатаму.

Почти месяц носила с собой эту косынку Зурет. Носила, но не надевала. Наконец решилась надеть.

Долго примеряла ее перед зеркалом: показалось, что она ей к лицу. Достала из шкафа платье, в котором собиралась встречать Аскера, примерила и его, а потом снова убрала в шкаф вместе с косынкой.

Каждый день ходила Зурет к Гуце, но старалась зайти, когда Хатама не было дома, а если случалось, что заставляла его, то выдумывала причину и быстро удалялась.

— Послушай, Зурет, почему ты избегаешь Хатама? Может быть, он обидел тебя? — сказала однажды Гуца.

— Нет.

— Ой, девочка, от меня ничего не скроешь, — вздохнула Гуца. — Садись-ка поближе, поговорим по душам. Раньше была у тебя Кутас старшей подругой, сестрой, а сейчас... я у тебя и сестра, и мать. Смотрю я на тебя, и сердце мое кровью обливается. Девушка ты, а живешь будто солдатка, которая ждет своего мужа с войны. Прости меня, деточка, если можешь, за те скверные слова, которые я сказала тебе когда-то...

— Не надо, Гуца! Я прошу тебя — не надо...

Вытерла слезы Гуца, помолчала — ждала, пока улеглось немного сердце, а потом сказала Зурет:

— Скоро начнется пора осенних свадеб. Не май себя, меня не май — найди себе хорошего человека и выходи замуж. Посмотри-ка, сколько парней вернулось с войны. Один лучше другого.

Вздохнула Зурет, ничего не ответила Гуце.

Одна за другой, а то и сразу по две игрались в ауле свадьбы.

Ждала Зурет, что и к ней заглянут парни, но все они проходили мимо дома Нарыновых. Даже потанцевать на свадьбе ее ни разу не позвали. Видно, прошло ее время. Ни девушка, ни вдова.

Не приходили парни к Зурет, и она плакала от обиды. Плакала и утешала себя, вспоминая короткие встречи с Аскером.

## 9

Вчера пришли последние подводы с семечками подсолнуха — убранные и вспаханные поля остались тосковать до весны, а озимые хлеба будут дремать под снегом.

Закончилась уборочная страда. Полегче немного стало колхозникам и председателю. Реже звонят Жечаго из района, реже вызывают в станицу. Сегодня он даже нашел время заглянуть в клуб на вечер художественной самодеятельности. Зашел как раз в тот момент, когда Зурет в

длинном белом платье и голубом шарфе танцевала исламей<sup>1</sup> с парнем, одетым в белую черкеску с газырями.

Больше четырех лет не видел Жечаго ни концертов, ни спектаклей и теперь сел на скамейку и замер. На минутку ему даже показалось, что он перенесся в какой-то другой мир — может, в мир сказок, а может быть, в мир своей молодости.

Хорошо танцевала Зурет. Если бы Жечаго не знал о трудной судьбе девушки, то понял бы это из ее танца. Трудная у нее судьба, но Зурет не собиралась ей покоряться. И это увидел в танце Жечаго, обрадовался этой непреклонной воле и подумал: она своего добьется, не пропадет, возьмет у жизни долю своего счастья. Зря только не поехала учиться Зурет, когда недавно колхозу выделили место в педагогическом институте. Жечаго ей предложил, а она наотрез отказалась. Говорит, я и без института за четыре года многому научилась. Посылай кто помоложе.

Не досмотрел концерт Жечаго, ушел к себе в контору — надо было подготовить еженедельную сводку для райисполкома. Стучал костяшками счетов, выстраивал цифры в стройные колонки и расплывался в довольной улыбке — хорошо сработало хозяйство за прошлую неделю. И в общем получается хорошо. Добрый урожай зерновых собрали, молока сдали больше плана и шерсти продали государству почти в полтора раза больше положенного — молодец Хатам, и сам работал хорошо и другим помогал, передавал свой богатый опыт...

Грохнула дверь, широко распахнулась, показался Хатам в тулупе, еще в партизанском треухе, с ярлыгой, отполированной руками его отца, а потом и самим Хатамом.

— Вот легок на помине, заходи.

— Да я вроде тихонько бы дверь открывал, а ее ветром подхватило... — хотел было оправдаться Хатам.

— Ничего, заходи, садись. Рассказывай, хорошо ли к зиме подготовился? Она уже не за горами.

— По мне, хоть сегодня пусть приходит, а ты, похоже, плохо подготовился — холодно у тебя в кабинете.

<sup>1</sup> И с л а м е й — национальный танец.

— Я нарочно не топлю, чтобы здесь долго не засиживаться, надо больше бывать с людьми.

— Может, я не ко времени заглянул к тебе?

— Нет-нет. Я всегда рад тебя видеть.

— Шел я мимо клуба, а там музыка всю играет. Праздник, что ли?

— Вечер художественной самодеятельности. Видел, как Зурет танцевала. У, просто чудо!

— Все-таки у тебя дела,— вдруг поднялся Хатам,— не буду тебе мешать.

Не стал Жечаго удерживать Хатама, понял, что ему надо пойти в клуб, увидеть Зурет. Пусть идет, видно, так оно и должно быть.

Знал Жечаго от жены, что Зурет получила недавно посылку от Фаины — было там свадебное платье, белые туфли и газовый шарф.

— Дело, наверно, у них с Хатамом решенное,— сказала Мамырхан,— как это перенесет бедная Гуца? А ведь она сама уговаривает Зурет выходить замуж. Именно за Хатама. Конечно, поплачет старуха, но что же делать. Не вернешь Аскера. Будут жить вместе — Зурет, Хатам и Гуца. Война их сроднила.

Немного обидно было Жечаго, что Хатам ему ничего не говорил о своей женитьбе. Все-таки боевые друзья. Да и вообще, кто в ауле ближе Хатаму, чем Жечаго? Раньше сам так говорил, а вот теперь... скрывает. Может быть, самому спросить? Хоть намеком?

Через часок из клуба вернулся Хатам к Жечаго. Долго молчал, потом заговорил смущенно:

— Понимаешь, я искал Зурет, чтобы услышать от нее последнее слово. Искал и не нашел, а она была в клубе, вот я и... Уже все у нас с нею решилось. Хочу вот тебя спросить...

— Если решилось, чего спрашивать?

— Ты недоволен, Жечаго? Это решили она и я, но если ты не одобришь, свадьбы не будет. Так сказала и Зурет. Чего же ты молчишь, я... мы ждем, что ты нам посоветуешь.

Запустил все семь пальцев в шевелюру Жечаго, облокотился на стол и тоже долго молчал.

Хатам сидел затаив дыхание. Ждал ответа.

Взглянул Жечаго на Хатама, прислушался к тревожному звону холодного дождя, бывшего в оконные стекла, будто от него ждал совета, и спросил:

— Если бы сейчас сюда вошел Аскер, что сделал бы ты? Что сказал бы ему?

Хатам, казалось, не удивился этому вопросу.

— Я обнял бы его по-братски и сказал бы: пойдем к Нарыновым, там ждет тебя Зурет, твоя невеста.

— Вон как! Тогда выходит, Зурет любит двоих или за тебя идет замуж не по любви, а просто потому, что деваться некуда. И тебя это устраивает? Только говори прямо! Как говоришь ты всегда.

— Этого прямо не скажешь.

— Почему?

— Потому что жизнь такая запутанная, Жечаго. Зурет нельзя жить одной, а ждать Аскера — можно состариться.

— Вон ты как говоришь. Я бы на вашем месте все-таки подождал немного.

— Ты что-нибудь знаешь, Жечаго? — встревожился Хатам.— Говори, если что-нибудь слышал об Аскере. Я прошу тебя...

— Ни-че-го я не слышал... Просто как-то не по себе. Лучше немного подождать.

— Тогда кто же определит величину этого самого «немного»? Какое оно? Неделя, месяц, год?

— Не знаю... Да не слушай ты меня. Поступайте, как решили. До свиданья. Подожди-ка! Завтра в десять утра заседание правления колхоза. Мы должны подумать, кого представить к государственным наградам. Лучших из тех, кто не жалел себя в войну.

Хатам вышел на крыльцо.

«...если ты не одобришь, свадьбы не будет».

...В декабре сорок второго года, после того, как зажила его рана, Хатам уходил в отряд Хазрета Ужибова. На перевале через хребет он оступился и долго катился по крутому склону вниз. Даже, почудилось, не по склону и не катился, а словно бы падал вместе со снежной лавиной в пропасть. Потерял сознание и, когда очнулся, попытался встать, но

не смог. Ему показалось, что весь он превратился в бесформенный, рыхлый ком, до предела заполненный ноющей болью.

Хатам закрыл глаза и решил, что умирает. Как-то само собой подумалось, что хорошо бы вот так уснуть и не пробуждаться.

Он замерзал, и когда уж вроде бы совсем угасло его сознание, Хатам услышал, будто его кто-то позвал. Прислушался — голос Зурет. Подумал, откуда тут ей взяться, подумал, почудилось ему. И все-таки решил подняться, а вдруг не почудилось, вдруг здесь Зурет?

С большим трудом открыл глаза, приподнялся и оперся спиной о валун. Перед ним расстилалась долина. Белая, просторная, зовущая.

Сердце вдруг зашло острой болью: на кого же он оставляет поруганную девушку, которая была для него на всей земле единственной?

Хатам почувствовал в своем теле тепло, услышал, как решительнее застучало сердце.

Он поднялся и побрел долиной, чтобы потом, когда придет время, увидеть Зурет, сказать ей о своей любви.

А вот теперь...

Он стоял на крыльце под морозящим, въедливым дождем и, казалось, сгорал от стыда: как он посмел оскорбить свою любовь к Зурет нерешительностью!

— Нет! — громко сказал Хатам. — Я никому и ни за что не отдам свою любовь.

## 10

Завтра Зурет уйдет в дом Аскера.

В дом Аскера женою Хатама. Потому и не могла уснуть всю ночь, только под утро забылась тревожным, неглубоким сном. Будто и вовсе не спала, а просто прикрыла на минутку глаза — слышала, как вздыхал за окном ветер, как сонно пели перед зарею петухи и по-осеннему тоскливо брехали собаки.

Вдруг что-то загрохотало.

Зурет вскочила и подбежала к окну, припала лицом к холодному стеклу и ждала, не повторится ли грохот.

Не повторился.

Она забралась под одеяло и стала думать, что это было? Гроза? Нет, такой поздней осенью не бывает гроз. Может быть, обвал? Может, обвалилась мрачная Горюн-скала? Ну и что? Обвалилась так обвалилась. Но почему всполошилось и потом зашло болью ее сердце, почему ей стало страшно?

Зурет укрылась с головой.

Ярость небесная падает круто...

Что это за слова, откуда они взялись? Она не знала, но про себя повторила их несколько раз, и они испугали ее так же, как и непонятный грохот.

Становилось нечем дышать, Зурет откинула одеяло и увидела, что на улице уже было совсем светло. Как же это? А-а, наверно, она спала, а грохот, странные слова ей просто приснились.

Поднялась Зурет с постели, умылась и пошла к речке за водой. Наполнила ведра, вскинула коромысло на плечо и как-то невольно посмотрела на овчарню. Это овчарня ее мужа, значит, и ее овчарня. Скошенный, дремавший осенней дремой луг ей тоже теперь показался иным, ведь это теперь и ее луг, а не одного Хатама.

Раздался грохот.

Зурет оглянулась — мрачная, острозубая Горюн-скала покоилась, как и прежде, на своем месте, над нею стояло высокое безоблачное небо.

Ярость небесная падает круто...

Э, Зурет, сказала она себе, как бы тебе не расхвораться.

А вечером, когда в ее комнату в сопровождении дружков вошел Хатам, прошелся в своих скрипучих сапогах и сел в углу, она поняла, что этот плечистый, застенчивый мужчина теперь для нее не просто Хатам, а человек, который сделает весь мир совсем иным, чем она видела его до

сегодняшнего дня, он придаст ему новый смысл, окрасит в другие краски, а грохот и странные слова, слышанные ею ночью и утром у реки — это уходила из ее жизни детская сказка, голубая юность, уходила, опалив ее крылья, оставив боль в девичьем сердце.

Свадьбу играли в доме Данашевых. Целую неделю плясали, пели, пили молодое вино, ели пышные пироги из новой пшеницы, обжигались четлибжами.

Тамадою был Жечаго, помогал ему заправлять веселым пиром Аскал.

Свадьба удалась на славу. Все говорили, что такой свадьбы аул еще никогда не видел. Молодые были счастливы, не менее, чем они, была счастлива и Кутас. Пришла сердечная телеграмма от Фаины.

Радовалась и старая Гуца.

Радовалась, но почему-то подолгу сидела у окна и все поглядывала на улицу, где ветер трепал ветви молодой ивы, посаженной четыре года назад Аскером. Вихрилась вдоль улицы метель, на беду путникам затевала свои игрища. Пусть будет так, как распорядилась судьба, думала Гуца, покачивая седой головой. Сегодня, как обычно, она сидела у окна и в конце улицы увидела мужчину в шинели. Присмотрелась и обмерла:

— О Великий Аллах, уж не сын ли это идет?!

— Что случилось? — выскочил из соседней комнаты Хатам.

Подошла к окну и Зурет, пригляделась и сразу узнала Аскера, который, прихрамывая, приближался к своему дому. Похолодела Зурет, едва сдержала отчаянный крик: сегодня в ее жизни случилось непоправимое.

...Ярость небесная падает круто.

Зурет поняла, что еще не все страдания выгорели в ее сердце.

## СОДЕРЖАНИЕ

Метельные годы. Исторический роман. <i>Перевод</i> <i>Евг. Карпова</i> . . . . .	5
---	---

**Исхак Шумафович Машбаш**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

в двадцати томах

**Том XVI**

**Метельные годы**

*Исторический роман*

Редактор **Х. Г. Тлепцерже**  
Корректор **М. Р. Чамокова**  
Компьютерная верстка **Т. А. Косяк**

ИБ № 00

Сдано в набор 00.00.2015. Подписано в печать 00.00.2015. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура шрифта «PetersburgС». Печать офсетная. Усл. п. л. 00,00. Уч.-изд. л. 00,00. Тираж 1000 экз. Заказ 017.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ОАО «Полиграф-Юг», 385000, РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.  
Телефон для справок (88772) 52-23-92.